Людмила
БОЯДЖИЕВА

КУМИРЫ

Истории Великой Любви

Марина Цветаева

Неправильная любовь

SHOUT
SHARE
IT

Annotation

Самая тонкая, самая нежная, самая ранимая и самая жесткая женщина во всей мировой истории — это Марина Цветаева. Гениальный ребенок из хорошей семьи, учеба в Европе, ранние стихи. В 1911 году Цветаева знакомится с Сергеем Эфроном и выходит за него замуж. Какая необычная, яркая, всепонимающая любовь.

Но проходит три года, и Марина встречает поэтессу Софию Парное. Их отношения длились также в течение трех лет. Цветаева возвращается к мужу Сергею Эфрону, пережив «первую катастрофу в своей жизни». А потом — эмиграция, заговор, нищета, болезни, возвращение, самоубийство…

История Цветаевой, история ее любви — это история конца Той России. Прочувствовав ее, вы окунетесь в настроение тех людей и поймете, почему все сложилось именно так.

«Мурлыга! Прости меня, на дальше было бы хуже. Я тяжело больна, это уже не я. Люблю тебя безумно. Пойми, что я больше не могла жить…»

- Людмила Бояджиева
  - От автора
  - Часть первая
    - «Все звезды в твоей горсти!»
    - «…Поэтом обреченная быть…»
    - «Во всем обман и, ах, во всем запрет»
    - «Я жажду сразу всех дорог»
    - «Наконец-то встретила надобного мне…»
    - «Да, в Вечности — жена, не на бумаге»
    - «Душ раскаленных — водопой»
    - «Еще меня любите, за то, что я умру»
    - «Все каторжные страсти слились в одну»
    - «Мой странный, мой прекрасный брат»
    - «Пал без славы орел двуглавый…»
    - «Я в ларчике храню погоны»
    - «Бог, не суди, Ты не был женщиной на земле!»
    - «Что ты любим! любим! любим! — расписываюсь — радугой небесной»
  - Часть вторая
    - «Осколки воровской радости»
    - «Время, ты меня обманешь»

        - «Было тело, хотело жить»
        - «Вскрыла жилы; неостановимо невосстановимо хлещет кровь»
        - «Счастья — в дом! Любви без вымыслов!»
        - «Ибо мимо родилась — времени!»
        - «Дай мне руку — на весь тот свет!»
        - «Нищеты вековая сухомять»
        - «Неподражаемо лжет жизнь»
        - «Пораженная, прямо сраженная в грудь»
        - «Под ладонью слезы, а не дождь»
        - «Мне совершенно все равно, где совершенно одинокой быть»
        - «Можно ли вернуться, в дом, который срыт?»
        - «Россия, моя Россия, зачем так ярко-горишь?»
        - «Той России нету, как и той меня»
        - «Пора-пора-пора творцу вернуть билет»
        - «Твое лицо, твое тепло, твое плечо — куда ушло?»
    - Основные даты жизни и творчества Марины Цветаевой
- notes
    - 1

Людмила Бояджиева
Марина Цветаева. Неправильная любовь

Между любовью и любовью распят мой миг, мой час, мой день, мой год, мой век.

Москва. 20 декабря 1915

Я с вызовом ношу его кольцо! —
Да. В Вечности — жена, не на бумаге. —
Его чрезмерно узкое лицо
Подобно шпаге.
Безмолвен рот его, углами вниз,
Мучительно-великолепны брови.
В его лице трагически слились
Две древних крови.
Он тонок первой тонкостью ветвей.
Его глаза — прекрасно — бесполезны! —
Под крыльями раскинутых бровей —
Две бездны.
В его лице я рыцарству верна, —
Всем вам, кто жил и умирал без страху! —
Такие — в роковые времена —
Слагают стансы — и идут на плаху.

Марина Цветаева

Коктебель, 3 июня 1914

От автора

Союз Марины Цветаевой и Сергея Эфрона — хитрая уловка злого Рока, прячущего когтистую хватку под маской щедрой Феи-дарительницы. И не разобрать: ловушка или дар? На радость или на горе соединились Двое? В этом союзе все «слишком». Как, впрочем, и в самой Марине, в самом Сергее. В самом времени — трагическом изломе истории России. Слишком резко, слишком больно, слишком страшно и чересчур нелепо.

Она — Поэт милостью Божьей, первого ранга ценности. Человек, гибель России и «Лебединого стана» выстрадавший, коммунизм ненавидевший. Вырвалась из Парижа в страшном 39-м, чтобы, пройдя на родине крестный путь унижений и бед, убить себя в сенях чужого деревенского дома. Ушла из жизни в августе 1941-го, в полной мере осознав правоту своего отрицания «большевистского рая». Не услышанная, непонятая.

Он — душа чистейшая, возвышенная — офицер Добровольческой армии советскую Россию полюбил высоко и страстно. Стремясь искупить перед новым строем «вину» белогвардейства, с чистым сердцем и доверием к совершаемому стал агентом ОГПУ. Возвратился из эмиграции в Москву, чтобы быть полезным новому строю. Приняв муки сталинских застенков, он был расстрелян в октябре 1941-го в Орловском централе. Умер непонятым. Понявшим ли?

Союз Цветаевой и Эфрона — пример игры понятий «предательство» и «преданность». Оба — этому миру преданные, были преданы им жестоко и несправедливо. Если вообразить некую высшую инстанцию, определившую отверженность как меру наказания, то Марина и Сергей — такие разные — попали «под приговор» по одной статье: *инакость души.*

Она — за презрительную позу, за непринятие протянутой лапы бытия — радости, веселости, наивной улыбчивости, — обыкновенности. За нецелование детских попок, за неумелость в быту и презрение к вещности мира — пеленкам, кухне, уюту, сытости. С высот горы Поэта она бичевала мир обычности, а он щетинился, скалил зубы и кусал. Преследовал нуждой, голодом, отрешением от тепла и уюта, ранами, ранами… Она назовет свою «болезнь» — болезнь несовместимости с миром обыденности — «безмерность в мире мер». Быт для Поэта — смирительная рубашка, дабы обуздать, в меру втиснуть. Ссадины и синяки, удушье непонятости, борьба за вольное дыхание — удел Марины. Несовместимость внутреннего мира Цветаевой с реальным, ее невписываемость в стандартный овал обыкновенности, здравого

смысла, — операция болезненная, длившаяся всю ее жизнь. «Сплошные острые углы, о которые она расшибалась». Позиция — противостояние всему, что не талант, что не вольность души, спасение личной свободы в «камере-одиночке» — обособленности, замкнутости.

Свой физический недостаток — близорукость — Цветаева сделала изначальным условием отрешенности. От очков отказалась, водрузив между собой и окружающим принцип «в упор не вижу», заменив внимательность зрения чуткостью слуха. Марина всегда одинока, всегда выставлена «на позор»— под алчущие взгляды презираемой толпы. Защита одна — не замечать. Всегда «вне», всегда «над», она гордо несла клеймо отверженности, как плату за дар быть единственной.

Контрапунктом к Марининой обособленности инакость Сергея. Его распахнутость бытию, изначальная доверчивость к людям, обстоятельствам. Он всегда в очках — розовых. Его видение мира так же далеко от здравого смысла, от норм выживания в общности, от уровня бытийного «моря», как и Маринина Гора поэта. Пришелец из страны добрых деяний и чистых помыслов, он витал в *облаках,* не замечая прилипающей к ногам грязи. Детски наивный, виртуозно нелепый, — нешуточное воплощение циркового Пьеро, ухитряющегося бесконечно попадать впросак. Там, в вышине, в разреженном воздухе высоких истин надмирность Сергея и Маринина Гора Одиночества встретились, сомкнулись. Прирожденный боец за права слабого — Марина — угадала в Сергее вечную жертву ненавистного филистерства — корысти, расчета, цинизма. Ее всегдашний порыв спасать родственные души — таких же отверженных, страдающих от своей инакости, оградил Сергея милосердием любви, защитой материнского плеча.

Они узнали друг друга с первого взгляда и мгновенно — с рывка друг к другу, и поклялись в верности. Клятва осталась нерушимой, какие бы козни не строила судьба, испытывая их союз на прочность. Незыблемым было главное: союз двух полюсов инакости, стремящихся к единству. Он коленопреклоненно, как и подобает рыцарю, взирал на Маринину Гору, перед ее даром, ее особостью преклонялся. Она — надмирностью его завороженная — тянула ввысь и, если и не смогла поставить рядом с собой, рук не разжимала.

Часть первая
Россия

«Все звезды в твоей горсти!»

Море и суша вели бесконечный спор: кто кого? Камень или вода? Живое или мертвое? Изменчивое или незыблемое? На границе белесого песчаного берега и морской стихии кипели страсти. Море, упорно, волна за волной, теснило раскаленные выбеленные солнцем камни. Разбившись, волны отползали назад, уволакивая за собой гальку, отплевываясь мелкой моросью радужных брызг. И эти брызги, подхваченные ветром, разносили над раскаленным плато запах иной животворной стихии — рыб, водорослей, синей глубинной прохлады.

Пляж был почти пуст, как и весь обозримый ландшафт — каменисто-ковыльный, сухо-полынный, раскаленный, изживший зелень и цветение. Сгорбленные человеческие фигурки уткнулись носом в песок. Люди с азартом роются в песке: им попадаются камешки, считавшиеся главным богатством здешнего края. Из них составляю коллекции, выкладывают мозаики, ими расшивают шляпы, балахоны. Ими хвастаются, вывозя в Москву или Петербург. Коктебельские сувениры — знак принадлежности к единой общности избранных натур. Верховная жрица племени — мать Максимилиана Волошина — Елена Оттобальдовна, или Пра — высокая амазонка с профилем Гете в шлеме коротких серебристых волос носит шаровары, камзол, собственноручно расшитый камнями. Она задает тон, которому следуют все обитатели «общины».

Разогнув спину, Марина разочарованно смотрела на преображение своей добычи — горстка отборных голышей, столь неповторимых там, в сырой песчаной глубине, превращалась на солнце в белесую гальку, не отличимую от россыпи ей подобных. Собрав камешки в горсть, она шагнула в воду и окунула ладонь, наблюдая за чудом возвращения красоты. Гладенькие полупрозрачные сердолики разных оттенков с прожилками, крапинами, узорами — каждый — драгоценность и в целом свете не подобрать ему пару. Если еще порыться, непременно найдется самая большая редкость — камешек с дырочкой посередине. Это — талисман, оберег. А значит — симпатии Фортуны на жизненном пути обеспечены. С ним можно загадывать все, что угодно, и ничего не бояться. Только вот попадаются они чрезвычайно редко — один на сезон и в основном всяким

чудакам, в ценности талисмана ничуть не смыслящим.

— Посмотрите, пожалуйста. У вас такого, думаю, нет. — Голос прозвучал над головой, и к Марине протянулась ладонь с продолговатым, мутно-розовым, словно светящимся изнутри сердоликом.

— Вот это да! Он же просверлен! И форма правильная… — Марина рассмотрела находку, сняв пенсне. — А вы знаете, что это такое? Не догадываетесь? Это же генуэзская бусина, ей, наверно, триста лет! Вы везунчик. Не вздумайте выменять на какую-то чепуху. Самому пригодится.

Оторвав взгляд от сокровища, она заглянула в склоненное над ней лицо и словно обожглась — отвела взгляд: вот уж где настоящий клад! На узком овале бледного лица — небесной голубизны сверкающие глаза, обведенные лиловатыми тенями. Все это в ореоле разметанных ветром прядей густых светло — каштановых, выгоревших на солнце волос… Совершенный рыцарь печального образа. — Марина заглянула в прозрачные глаза совсем близко, пыталась понять загадку их грусти.

— Сергей Яковлевич Эфрон. Гощу у Волошиных, — представился он, все еще держа на протянутой ладони бусину. — Это вам.

Марина недоверчиво прищурилась. Она сразу увидала картину словно со стороны чужим взглядом, взглядом из космоса — небесной дали, скрывающей главные тайны вечности.

Высокий юноша в белой рубашке, трепещущей на ветру подобно крыльям, с тихим голосом и лицом небожителя смотрел, не отрываясь, на неуклюжую девушку в светлой холщовой матроске — босую, едва обросшую после кори, чуть полноватую, круглолицую. А вместо глаз отсвечивали стекла пенсне. Это на взгляд вон того, дядьки в панаме, то есть — поверхность, шелуха. Сергей же, приоткрыв рот от изумления, разглядел, конечно же, суть босоножки: морскую зелень глаз, золотой отревет коротких прядей, янтарную нить на длинной шее, изящную горбинку носа, а главное, ее значительность, особость, единственность. Он понял, *кто* она, потому и дарит бусину.

И стоят они оба — две крошечные фигурки, если глянуть с облачка — одни во всем мире, сошедшиеся в точке, которую называют скрещением судеб, соединяющей единственных в единство, отныне и во веки веков.

— Марина Ивановна Цветаева. Спасибо. — Она осторожно взяла бусину, понимая всем существом, что происходит событие, куда более огромное, чем встреча на пляже. Что одной ей больше не быть, что дарит она себя всю целиком синеглазому мальчику и принимает в дар его самого до конца дней — хранить и беречь.

На закате они поднялись в горы. Легконогая Марина ловко взбиралась по крутым тропинкам, он едва поспевал за ней, держась рукой за бок, где иногда еще остро потягивал свежий шов аппендицита. Марина остановилась на краю обрыва, щурясь оглядела горизонт, слившийся в дымке с морем, вздохнула и предложила:

— Давайте сядем. Передохнем. Ничего, что я курю? — Марина села на плоский камень и указала Сергею на место рядом. Достала из кармашка свободной светлой юбки папиросы, вишневый мундштук, щелкнула зажигалкой, привычно закурила. Окинула прищуренным зеленым взглядом морскую ширь, мощь каменистых уступов, вылинявшую небесную ширь, рассекаемую ласточками — сплошной романтизм, полет духа, головокружение.

— Хорошо!

— Так хорошо, что даже страшно… Нет, я не высоты боюсь… Страшно, что я здесь и все так волшебно!.. Так не может быть! Со мной — не может… — Он вдруг замолчал, выводя пальцем зигзаги в дыме ее папиросы. Ветер подхватил и унес сизое облачко с его монограммой.

— Вы что? Беду накликаете. Так даже говорить нельзя! Произнесенное слово — это заклятье. Потому что инвокация, то есть произношение, провоцирует осуществление. Тьфу-тьфу! Нашли фантастическую бусину, нашли чудачку, которая променяла бы за нее все драгоценности, кабы они были… Вы знаете, кто вы? Вы — везунчик! Так и кричите на все стороны света!

— Да… да… Только теперь это становится ясно. Вот в этот день.

— А до 5 мая вы сидели в темнице или в плену у пиратов?

— Нет. Болел. У меня с детства туберкулез. Его залечили, но вдруг воспалился аппендикс, в Феодосии недавно сделали операцию. — Сергей прижал ладони к разогретому камню. — Руки всегда мерзнут.

— Вам, наверно, еще трудно ходить? — ужаснулась Марина, отметив худобу длинных кистей, сутулость и голубые жилки под тонкой незагорелой кожей. Такой искренний, живой, такой весь прозрачный… О, как хотелось обнять, прижать, оберегать! Подобный жар душевной тяги, восторженной жалости она испытывала к щенкам, птенцам, к тем, кто нуждался в опеке и помощи.

— Что вы, что вы! Я не устал. Я счастлив, совершенно счастлив… Даже не верится, что мы с вами, вдвоем… Я так давно хотел… Хотел очень много вам сказать…

— Давно?! Хотели сказать мне? Да мы познакомились три

часа назад, — Марина фыркнула.

— Нет, нет! Давно, именно давно! Дело, видите ли в том… Я… Я знал вас всегда. — Он вздохнул с надрывом признания. Помолчал. Собравшись с духом, твердо выговорил: — Всегда, когда было тоскливо и хмуро, я знал, что вы есть. И этим спасался… А потом прочел книжку стихов «Вечерний альбом» и понял, что вы — это вы. Вы и я. Что я не просто придумал вас. Что вы есть на самом деле. И именно такая… Там же все про меня, про вас описано. Вот слушайте:

Христос и Бог! Я жажду чуда
Теперь, сейчас в начале дня!
О, дай мне умереть, покуда
Вся жизнь как книга для меня.
Ты мудрый, ты не скажешь строго:
«Терпи, еще не кончен срок»,
Ты сам мне подал — слишком много!
Я жажду сразу всех дорог!

Или вот еще:

…отдать всю душу — но кому бы?
Мы счастье строим на песке…

Сергей читал ее стихи торопливо, озаряясь внутренним светом, делавшим все существо его совершенно прозрачным. Словно и не было тайников души — только свет и восторг, восторг и страх пробуждения.

— Ваши стихи написаны про меня. Честное слово! — горячился он. — Я жаждал сразу всех дорог! И мечтал отдать свою душу… Мечтаю… — Марина ощутила, как тонет в аквамариновой глубине его глаз.

— Значит, стихи про нас. — Она встала и прикурила новую папиросу.

— Это прекрасные, прекрасные стихи! А я и сейчас — плохие пишу. Не просите, декламировать не стану.

— Вы, Сережа, непременно учтите: я бываю резка. Не потому, что хочу унизить, а что бы показать: я — это я! Гордая.

— Вы совершенное чудо и знаете это. И то, что просите смерть в 17 лет — я так это понимаю! Именно в семнадцать! Ведь никогда уже так хорошо не будет! Такой чистой грусти не будет. Будет какая-то шелуха жизни… Мусор, от которой хочется отряхнуться.

— Вы любите грустить?

— Думаю, что я родился весельчаком. Всегда всех смешил… Но… На меня свалилось страшное горе… — Он запнулся. — Ну, об этом не надо. Это печально. Это трудно понять…

— Я пойму. У меня своего горя полно. Пожалуйста, рассказывайте про себя с самого начала.

Сергей крутил в длинных пальцах слоистый камень — частица лавы, извергнутой Карадагом в доисторические времена.

— Как легко перешагнуть через миллионы лет. И как трудно касаться самого близкого. То есть… совершенно невозможно понять, как жить, чтобы быть достойным всего этого. — Он мотнул головой. — Извините, Марина, я, когда волнуюсь, плохо говорю… Мне так много хочется сразу выразить…

— Уверяю вас, я буду слушать, как отличница на уроке. Не торопитесь и непременно, непременно рассказывайте все. Как думаете, так и говорите.

— И мы просидим здесь всю ночь?

— Хоть всю жизнь. Говорите, я непременно должна знать!

— Хорошо, только не насмешничайте… Первое, что я помню, — старинный барский особняк в одном из тихих переулков Арбата. Туда мы переехали после смерти моего деда — отставного гвардейца Николаевских времен. Это было настоящее дворянское гнездо. Зала, с двумя рядами окон, колоннами и хорами, стеклянная галерея, зимний сад, портретная, увешанная картинами и дагерротипами в черных и золотых овальных рамах. Заставленная мебелью красного дерева диванная; тесный и уютный мезонин, соединенный с низом крутой и узкой лесенкой; расписные потолки; полукруглые окна — все это принадлежало милому, волшебному, теперь уже далекому прошлому. При доме был сад с пышными кустами сирени и жасмина, искусственным гротом и беседкой. В рамах беседки вставлены разноцветные стекла, и сквозь них весело било солнце. Воздух становился радужным, как конфетки монпансье, и окрашивал все вокруг… мы смеялись, строили рожицы. Я был восьмым ребенком в семье. Четверо умерли в детстве. После меня через два года родился Костя, он и стал моим товарищем в играх. Но больше всего я любил одиночество. Чуть только начинала зеленеть трава, я убегал на волю, унося с собою то сказки Андерсена, то «Детские годы Багрова-внука», а позднее какой-нибудь томик Пушкина в старинном кожаном переплете. Как же я был потрясен стихами «К морю»! Никогда еще не виденное море вставало передо мною из прекрасных строк поэта — то тихое и голубое, то бурное. Я бредил им и всем существом стремился узнать «его брега, его заливы, и блеск, и шум, и говор волн»…

— Верно, верно! — Марина вскочила и подняла руку, словно принося клятву лежавшему у их ног далеко внизу морю. — Я верила — оно живое. И они очень любят друг друга — поэт и его друг — море — свободная стихия! Две стихии, предназначенные друг другу!.. У нас тоже был Пушкин в старинном переплете, и я пряталась с ним, потому что это еще было не для детей. «К морю» — пробирало до глубины души. Прямо со строчки «прощай же море!» наворачивались слезы. «Прощай же море! Не забуду…» — ведь он же это морю обещает, как я моей березе, моему орешнику, моей елке, когда уезжаю из Тарусы. О! Тут уже слезы так и лились… Прощанье, наверно, самое прекрасное и самое грустное чувство. Потому что вмещает всю любовь сразу — и которая есть, и которая могла бы быть, но никогда не случится.

— Да! Именно так: «в последний раз передо мной»… «Последний раз» — черта, разделяющая любящих, — подхватил Сергей. — Итог печали, радости, уже отцветшей, отшумевшей. Я тоже со всем всегда прощаюсь… — Море дрожало в слезах, наполнивших его огромные глаза. — Как будто мы вместе читали Пушкина! Это… это удивительно! А ваше детство, Марина?

— Продолжайте вы, у меня будет своя история. — Марина притихла, ожидая рассказа Сергея. Она уже поняла, что совпадения будут продолжаться. Стало совершенно ясно, что их жизни не шли отдельно, их соединяли незримые нити, образуя неделимую слитность.

— Десяти лет я поступил в 1-й класс частной гимназии Поливанова. Собственно, этим закончилось мое раннее детство. На смену сказочной, несколько замкнутой жизни выступила новая, более реальная. Появились школьные интересы, товарищи и новые через них знакомства, но чтение по-прежнему оставалось моим излюбленным препровождением времени. Нырял в книгу и не замечал, как бежит время.

— Точно! Это именно так происходит, ты проваливаешься в книгу и забываешь обо всем. Сколько раз меня заставали с книгами, слишком взрослыми для меня, и наказывали — сажали в чулан. А я дралась! Да, да, не очень-то позволяла собой командовать.

— Мне драться не приходилось. Вернее, я плохо дрался и никогда не побеждал, — Сергей опустил голову, как бы извиняясь. — Я рос болезненным и до того уставал от долгого сидения в классе, что с трудом мог заниматься дома. Частая лихорадка, головные боли, сильное малокровие… При том, — он смущенно глянул на Марину: — только не смейтесь! страшное самолюбие! Оно подталкивало меня: «Ты должен быть первым в классе!» И ведь я знал программу не хуже своих товарищей, но

шел неровно. Приходилось много догонять, и только я начинал чувствовать себя на твердой почве, как новый приступ слабости сразу выбивал меня из колеи.

— В гимназии я пробыл пять лет. Переболел за это время почти всеми детскими болезнями! — Он рассмеялся и резко умолк, будто наткнувшись на жуткое видение.

— Сергей, вы не голодны? Давайте спустимся вниз и купим у татарина бублики. — Марина поднялась и протянула руку. — Пошли, вам надо хорошо питаться. Наговориться мы успеем. Шагайте за мной, здесь видна тропинка.

— Да я чувствую себя чудесно! Здесь должно быть эхо. — Сергей взобрался на камень и крикнул, сложив ладони: — Ма-рина! — Эхо не ответило.

— И не нужно нам этих туристических глупостей, — решила Марина. Она все привыкла решать самостоятельно: — Вашим эхом буду я. Говорите, Сережа. Прямо так говорите: Се-ре-жа!

— Се-ре-жа. — Он смущенно улыбнулся. Поднявшись на цыпочки, Марина выкрикнула во все стороны его имя, словно ставя печати. — Вам понравилось? Мне очень. Так приятно быть эхом у вашего имени. Знаете, люди любят писать: «здесь был…» Мы ничего не корябали, но я верю — все они, — Марина обвела рукой камни, скалы и море, — все они будут нас помнить всегда!

Они двинулись вниз по тропинке, петляющей среди камней. Сергей сорвал верхушку белесой полыни, растер в пальцах, вдохнул с наслаждением жмурясь:

— Итак, я продолжаю свой рассказ… Мой дед с материнской стороны, ротмистр лейб-гвардии, блестящий красавец, происходил из аристократического рода Дурново. Бабушка — из купцов. С отцовской стороны родня еврейская, и даже прадед, кажется, был раввином. Мои родители познакомились на нелегальном собрании революционеров-народников. Они были активными деятелями «Земли и воли».

— Знаю, знаю! Я много про них слышала. Еще был кружок «Черный передел»… Это чудесные люди, необыкновенной душевной чистоты и жертвенности. Я была знакома с революционерами, страшно завидовала Марии Спиридоновой, восхищалась героизмом лейтенанта Шмидта. Я была еще девчонкой в 1905-м, но как мне хотелось быть там — с ними. Стихи писала! Только они потерялись.

— Да… Да, Марина, у вас именно такая душа — чуткая, пламенная. Душа борца. Моя мать была из тех чистых идеалистов, которые болели за простой народ. Во имя идеалов добра и справедливости они вставали на путь террора. Мой отец, кажется, даже был замешан как-то в политическом убийстве. От

меня это скрывали, я был слишком мал… Позвольте руку, — Сергей помог Марине спрыгнуть с камня. Нагромождение огромных глыб, застывших после извержения Карадага, напоминало о первозданных временах.

— Макс Волошин утверждает, что здесь и есть вход в Аид. Отсюда Орфей вывел Эвридику. — Марина задержала кончики пальцев Сергея. Они были прохладны, будто это он вышел из сырого подземелья. Вышел из мифа, из романтической баллады. Она не могла оторвать от него глаз — никого более прекрасного, утонченного, одаренного, искреннего и благородного Марина никогда не встречала. А одухотворенность тонкого лица, огонь в небесных глазах — дух захватывает. Тогда уже вертелось то, что будет написано позже:

…он тонок первой тонкостью ветвей.
Его глаза — прекрасно-бесполезны! —
Под крыльями распахнутых бровей — две бездны…

Я очень любил родителей. Уважал безмерно.

— У вас в самом деле удивительная семья! Это лучшие люди России, чудо, что мы встретились! Как интересно вы жили, Сережа!

— У мамы было много детей, но она посвятила революции всю жизнь. Наш дом всегда был полон нелегалами. Старшие братья и сестры тоже стали революционерами. Я был младшим, но хорошо помню с рождения эти разговоры, в которых все время звучали слова «народ», «свобода», «ссылка», «тюрьма».

Маму первый раз арестовали в 1880-м, а потом в 1906-м. Ей было уже за пятьдесят, она провела в крепости девять месяцев, но друзьям удалось освободить ее, взять на поруки до суда. Мама сумела бежать за границу с младшим сыном Костей. Мне было 14, и я остался на попечении старших сестер. Господи, кабы по-другому вышло! — Сергей сел на песок — они уже спустились на пляж, розовый под косыми лучами заходящего солнца. Опустил голову в ладони, сжал виски. Густые пряди упали на лоб, почти закрыли лицо. Марина догадалась — он плачет. Села рядом, обхватила плечи материнским жестом, прижала его голову к своему плечу. На шею падали теплые слезы. Ее залило любовью. Жалость, восторг, преклонение, желание разделить тоску этого человека, помочь — все эти чувства сплавились в единое сильное, так и ломившее под ложечкой огромное чувство: любовь.

— Хватит! Хватит рассказывать, давайте наслаждаться вечером. Сегодня он горит для нас — вон какое небо — прямо кистью выписали облака небесные мастера.

— Спасибо… Марина. Извините, раздерганный стал. Сейчас вы поймете сами. — Он высвободился из ее рук, вытер рукавом рубахи лицо, поднялся и, стоя спиной к ней, быстро заговорил почти скороговоркой: — В Париже Костя ходил в школу. Однажды зимой он пришел домой и повесился. Никто не знал почему. В газетах писали, что его потряс выговор, сделанный учителем. В ту же ночь повесилась мама. Их хоронили вместе. К счастью, отец умер за полгода до этого…

— Сережа… Простите… Я не знала, не знала..»— потрясенная, она тихо стояла рядом. Вот он — знак! Они осиротели почти одновременно. От каждого из них отсекли половину, потому так больно, так неудобно было жить. Она протянула к нему руки.

Сергей резко повернулся, сжал их с неожиданной силой:

— Пожалуйста… Пожалуйста, Марина, не уходите. Я знаю, что недостаточно крепок для борьбы. Недостаточно интересен для дружбы с вами.

— Да что вы такое говорите! Перестаньте! Напротив! Именно вы — интересны! Очень интересны. Я тоже недавно потеряла мать. В сущности, мы с вами осиротели почти одновременно… У нас общее горе.

— Вы держитесь, вы молодец. А я… Я почти сдался. Нет, выслушайте до конца. После… после этого несчастья здоровье мое окончательно расшаталось. Дом продали — прошлое кануло в Лету. Вся моя последующая жизнь превратилась в непрерывное лечение. Петербургские доктора обнаружили у меня туберкулез легких и предписали немедленный и строжайший санаторный режим. Начались скитания по русским и заграничным санаториям. Это такое одиночество, Марина… и такая обреченность! Нет, я не унывал! С утра до вечера лежал в шезлонге, читал, думал и главное — вспоминал. Мелькали лица, звенели голоса, из отдельных слов слагались фразы, воскресали целые беседы; вставали сцены недавнего милого прошлого. Понемногу я стал их записывать. Из этих приведенных в порядок воспоминаний составилась книга рассказов «Детство». Вот бы ее напечатать!

— Обязательно напечатаем! — Марину лихорадило. Ясноглазый Сергей был создан для нее — именно такой. Редчайшее родство душ, судеб, совпадение до мелочей: любимых книг, детских впечатлений. Он был виден весь, до потаенных глубин души, до последнего донышка. И он так нуждался в ней.

— Сядем и не будем больше говорить о прощаниях. Жизнь большая. И теперь все будет по-другому.

— Я болел четыре года, читал и перечитывал Пушкина,

Лермонтова, Гоголя, Достоевского, Льва Толстого и иностранных классиков. Из русских поэтов моим любимым оставался Пушкин. Из прозаиков больше всего волновали меня Достоевский и Толстой. Меня просто околдовывала их глубина и полная искренность.

Недавно я понемногу принялся за подготовку к экзаменам на аттестат зрелости. Рассчитывал поступать этой весной в Московский институт восточных языков. Да не вышло, снова захворал и был вынужден уехать сюда, в Крым. Прошел курса лечения в Ялтинской санатории Александра III, удачно перенес операцию аппендицита на туберкулезной почве. И вот… Знаете, Марина, я твердо верю, что теперь все пойдет по-другому. Я наберусь сил и сдам экзамены на аттестат зрелости!

— Значит, вам семнадцать? Я старше. Старше на целый год и сильнее. Я очень сильная. — Она протянула перед собой крупные, тронутые загаром кисти. Сергей схватился за них, как за спасательный круг. Распахнутые его глаза смотрели в самые ее зрачки, погружаясь целиком в душу, в которой не было ни фальши, ни опасности, ничего, что могло оттолкнуть, ранить. Только чистота, жертвенность, милосердие. Бескрайняя любовь и нежность.

— Пожалуйста, не оставляйте меня. Вы нужны мне.

— А я без вас теперь просто не выживу! — Они обнялись, как давние близкие родственники после долгой разлуки. Как Рыцарь и его дама. Как мать и единственный сын… Марина с трудом высвободилась из объятий, ведь так стоять можно было вечно. А есть дела поважнее.

— Ждите меня здесь, я принесу вам молока. — Она сорвалась с места и исчезла. Он остался один на берегу. В висках звенело, голова кружилась, и все произошедшее походило на сон. О, как ему не хватало такого друга, такой родной чуткой души. Безраздельно преданной. И какое милое, милое, родное лицо! Неужели фантазия опять обманула?

— Пожалуйста, Господь наш, верни мне Марину. Всю жизнь до конца моих дней я буду ее послушным рабом. Любящим, надежным другом. Я буду ее ВСЕМ! И никогда не возропщу! — просил он у мироздания, представленного, казалось, от горизонта до горизонта во всей целостности.

— Вот — удалось выпросить у тетки из крайнего дома целую бутылку козьего молока, и бублики от татарина еще тепленькие. Будем пить по очереди.

— Я не голоден.

— Вздор! Есть надо непременно. Учтите, я буду за вами следить очень строго. Пейте сейчас же! — Марина взглянула на

его профиль, ставший таким родным. Детские губы коснулись горлышка бутылки, на тонкой шее ходил кадык. Жеребенок. Нет, он всегда был родной. Мерещился, мерещился, сегодня нашелся.

«…наконец-то встретила надобного мне. У кого-то смертная надоба во мне» — эта формула отольется в строфу позже, но потребность родственного существа, существовавшая в Марине изначально — «*до*-родясь», так часто будет порождать фантомы, а она — ослепленная, кидаться навстречу, что ударам нет числа. Но Сергей — случай единственный и особенный. Именно ему и только ему она была жизненно необходима — как хлеб, вода, воздух, нужна любой, потому что любая — неверная, предававшая, отдалявшаяся, была талантливей, неповторимей, необычней всех.

— А молоко вкусное, полынью пахнет. И я вас давно — всегда искал. Здесь у Максимилиана живут две мои сестры, они очень милые. Я приехал из Феодосии навестить их, сижу на пляже и вижу вас. Меня как прострелило — ОНА!

— Не может быть. Я бы вас сразу заметила.

— Вы не смотрели по сторонам. Сидели на берегу рядом с Максимилианом и рыли песок. Так сосредоточенно. А потом сказали: «Макс, я выйду замуж только за того, кто узнает, какой мой любимый камень». Громко сказали, я даже подумал, что для меня.

— Правда, правда! Я помню! Макс посмеялся надо мной: «Влюбленные, как тебе может быть уже известно — глупеют. И когда тот, кого ты полюбишь, принесет тебе булыжник, ты совершенно искренне поверишь, что это твой любимый камень!»

— А помните, что вы ответили? Правда не помните? Вы сказали ему: «Макс, я от всего умнею, даже от любви!» — Лицо Сергея озарилось счастливой улыбкой: — А у меня, это, правда, маленький секрет, уже была эта бусина! Вот чудо-то! Я нашел ее в самом конце апреля и загадал, что вылечусь и все переменится к лучшему. Сегодня 5 мая. Прошло ровно семь дней.

— Это очень важно, Я верю — очень важно. — Марина вытащила из кармана матроски камушек. — Сегодня же повешу мой талисман на шнурок, — она сжала бусину в кулаке. — Не бойтесь, я ее никогда не потеряю. И не сниму никогда.

— Никогда-никогда?

— Никогда. И замуж выйду. Вы ведь сделали мне предложение?

Его лицо на мгновение озарилось удивлением, почти испугом. Сергей соскользнул на колени у ее ног, обхватил их руками, уронил лохматую голову на подол полотняной матроски.

Марина наклонилась и стала целовать залитое слезами лицо

— мелко-мелко, нежно-нежно… Отстранилась, нахмурилась, сказала резко и честно, глядя в самую глубину синих бездн:

— Только я ведь совсем нехорошая. Вы должны многое обо мне узнать.

«…Поэтом обреченная быть…»

«Трудно говорить о такой безмерности, как поэт. Откуда начать? Где кончить? И можно ли вообще начинать и кончать, если то, о чем я говорю: Душа — есть все-всюду-вечно», — так начинает Цветаева воспоминания о Бальмонте, попытку расшифровки его, бальмонтовской, поэтической тайны. Ибо — у каждого поэта она своя. Душа, тем более окрыленная Даром, — предмет штучного производства. И верно — здесь ни начинать, ни кончать. Можно лишь подступиться слегка, дабы оправдать будущие оговорки в непомерность избранной темы.

Марина родилась Поэтом, а значит — отступлением от нормы. Поэтический дар предопределяет особый состав всего существа, включающего, кроме прочих известных, некие иные сути, близкие непознанным, мистическим. Если построить метафору в русле компьютерных аналогий, то набор программ в системе «Поэт» (или «Творец») особенный, индивидуальный, и, кроме того, находятся эти программы в неконтролируемом разумом взаимодействии. Кто и как руководит ими — не стоит гадать. Процесс творчества, да и формирования самого мироощущения творца, представляет собой фантастически сложное сочетание программ разного уровня, исследующих как пласты вселенского масштаба, так и пылинки микрокосмоса.

Личность поэта грандиозна и неизбежно деформирована, то есть является отклонением от усредненной нормы. Иной процесс восприятия информации, иной способ обработки, и главное — непременная устремленность к результату — получению преобразованной картины мира в виде сгустка поэтического текста. Поэт — инородец среди непоэтов, его устройство инако: «безмерность в мире мер». Но безмерность разная — разнонаполненная.

Поэтический дар Цветаевой особого рода — это не бальзамические струи, врачующие раны, не уравновешенное, вдумчивое философствование. Маринин творческий арсенал взрывоопасен. Ее игры со стихиями страстей готовы уничтожить саму Марину, разнести все в клочья, заставляя потом с воем зализывать раны. Ради чего? Ради красного от крови словца — ради этого самого «воя», сублимированного в поэтической форме. Создаваемая внутри поэтовой души катастрофа необходима для

остроты ощущения, для балансирования на самой кромке бытия-небытия. Какой-то частью сознания она осознает уникальность происходящих в ней процессов и как наблюдатель-естествоиспытатель торопится фиксировать результаты опыта во всей его.

Цветаева работает на износ, не щадит никого и прежде всего саму себя, она не рассказывает свои истории, она предпочитает кричать, срывающимся, надорванным голосом.

Мы впитываем эту квинтэссенцию мира, частенько не разбирая на детали, не расшифровывая метафор, а лишь угадывая ореол их многослойного смысла. Остается сгусток чего-то важного, невероятно точного, о чем иначе никак не скажешь. Перевод обыденности на язык сверхчувствования, сверхзнания необходим людям, обделенным даром поэтического видения. Любители поэзии, как правило, состоят из тех, кому в одномерности тесно, а самим в многомерное видение не попасть. Им присуща потребность дать своим мыслям величайшие по точности и красоте слова, научиться видеть мир так, как умеет только поэт. Поэт говорит для всех и за всех. В этом его безмерность и бремя. Именно Маринина жестокая вивисекция, обнажавшая самые больные нервы, дала возможность заговорить ее словами тысячи «безголосых» непоэтов, жаждущих, однако, выражения радости, отчаяния, ликования, боли, нежности более сильного, утонченного, чем позволяет привычный лексикон.

Сколько женщин говорили Мариниными словами: «Вчера еще в глаза глядел…», «Мне нравится, что вы больны не мной…», «И будет все, как будто бы под небом и не было меня…» Или хлесткое:

Стыд: вам руку жать, когда зуд в горсти, —
Пятью пальцами — да от всех пяти
Чувств — на память о чувствах добрых —
Через все вам лицо — автограф!

И щемящее, написанное в двадцать лет:

Пожалуйста, еще меня любите, за то, что я умру!

Она подарила нам авторство — дала права на все свои слова.

* * *

Чем раньше приходит к ребенку умение владеть механизмом особого познания мира — его трансформирования, тем резче его отторжение от нормального познания.

Все эти простейшие рассуждения (специалисты занимаются лингвистическими принципами поэтического языка на ином уровне сложности) необходимы как ключ к пониманию такого сложного явления, как «Поэт Марина Цветаева». Поэт, и ни в коем случае не поэтесса — заклинала Марина говоривших о ней.

Девочка-Марина — уже аномалия. Уже в первых ее проявлениях становится очевидно: Марина была поэтом до рождения, скроена по особым лекалам. А потому обречена на собственное одиночество и собственную тайну, собственную радость и муку инакости. Изначально другая. Деталь из другого «конструктора», не встраивающаяся ни в какие предложенные модели.

Не по мерке пришелся ей мир детских игр, наивных книг, методы взрослого воспитания, непременная дидактика обучения. Не умея общаться «на равных» с окружающими, Марина бунтовала, защищая свое пространство.

Она была щедро одарена с ранних лет памятью, вниманием, интуицией, глубинным опытом познания, словно проживала не первую жизнь. Она слишком остро ощущала идущие к ней от мира токи, воспринимала сущее многомерно. Она понимала свою особость, ценила ее и резко сопротивлялась попыткам взрослых «сформировать» ее по общему шаблону, «встроить» в норму.

В остроте ощущения бытия, жадности «проживания всех жизней» ей было дано много больше, чем обычному человеку. Свою «многомерность в мире мер» Марина несла как корону. Одна, иная, редко понятая, настороженная, готовая к отпору. Упорно и гордо она несла кем-то Высшим выданную привилегию и повинность Призвания.

Призвания к служению Поэзии. А значит — неистребимую потребность вести диалог с высшими силами, как их не назови: судьбой, звездами, Абсолютом, Богом. Все ее существо, все ее творчество — противоборство несопоставимого — света-тени, добра-зла, пламени и льда, равнодушия-страсти.

В Марине-поэте и человеке удивляет сочетание, казалось бы, невозможного: скрытности, ранимой застенчивости и поразительной открытости в поэтическом выражении своей личности. Как бы одинок, закомплексован, зажат в собственной скорлупе ни был поэт — творчество и есть тот запал, который взрывает все запреты, ломает все стены межличностных перегородок. Творчество — это свобода неординарности. Инструмент и материал демонстрации всего, не вписывающегося

в норму: чрезмерность желаний, бури страстей, необъяснимости поступков, вызывающей дерзости, попрание законов морали, нравственности. Отсюда — из стремления Цветаевой объять все — ее неутолимая жажда страсти, впечатлений, андрогинность («Любить только женщин (женщине) или только мужчин (мужчине), заведомо исключая обычное обратное, — какая жуть! А только женщин мужчине или только мужчин женщине, заведомо исключая необычное родное, — какая скука!»).

«Будьте как боги! Всякое заведомое исключение — жуть!»

«Всякое заведомое исключение — жуть…» От этой всеядности экспансия в иные сущности, почти хищная охота за пониманием своего сложного, безмерного, жаждущего быть понятым Я.

В отличие от множества талантливых творцов, бесконечно ищущих колею своего главного призвания, Маринин путь был предопределен изначально. Призвана в цех Поэтов еще до рождения, явилась на свет уже со сложившимся механизмом особости.

На четырехлетнего ребенка обрушилась лавина слов, требующая складывания в созвучия рифмы. Неотвязные мячик-спрячик, галка-моталка, стол ушел, слон-стон. Чуть позже бездна чужих слов — уже сочиненных, магически сопряженных, наполовину непонятных, наполняющихся от этой непонятности особым смыслом, гипнотизировала девочку. Проваливалась в книгу, как в омут, да не в детскую, а в запретную, взрослую. Из хранящегося в комнате старшей сестры Леры собрания сочинений Пушкина вырастает «мой Пушкин» — наполовину угаданный, придуманный. Обожаемый, тайный — ее. А чей же? Раз за разом Марина переписывает околдовавшие ее строки «Прощай же море». Красиво, без помарок, в свою тетрадку. Как бы навсегда присваивая их. С шести лет она начала писать стихи сама и прятала от взрослых. Они считали эти словосложения обычной ребячьей забавой, а маранье бумаги — напрасной тратой времени, которое, как и бумагу, лучше бы использовать с толком. Например, на уроки музыки — мать серьезно вознамерилась сделать Марину пианисткой. Звуки, извлекаемые пятилетней крохой из рояля, были куда убедительней «испачканных» листов. В воспитательных целях направленность занятий Марины формировалась волевым усилием: играть — «да», писать — «нет». «Все мое детство, все дошкольные годы, вся жизнь до семилетнего возраста, все младенчество — было одним большим криком о листке белой бумаги. Подавленным криком», — вспоминает Цветаева через тридцать лет. Наверно, бумага у девочек все же была, но боль непонятости, отсутствия поощрения главного дара осталась.

Марина обожала свой детский рай — дом в Трехпрудном. Вместе со своим одиночеством, запретами, тайнами, обидами, победами. Здесь она родилась, здесь, едва осознав себя, почувствовала в себе Поэта. Здесь произошла встреча, определившая Поэту его принадлежность к иному миру — миру высших сил, к вечному противостоянию добра и зла.

«С Чертом у меня была своя прямая от рожденная связь, прямой провод. Одним из первых тайных ужасов и ужасных тайн моего детства (младенчества) было: Бог — Черт! Бог — с безмолвным молниеносным неизменным добавлением — Черт… Это была я, во мне, чей-то дар мне — в колыбель. (…) Между Богом и Чертом не было ни малейшей щели — чтобы ввести волю, ни малейшего состояния, чтобы успеть ввести как палец сознание и этим преодолеть эту ужасную сращенность…(…)…О, Божие наказание и терзание, тьма Египетская!» «Он сидел на Валериной кровати — голый, в серой коже, как дог, с бело-голубыми, как у дога, или у остзейского барона, глазами, вытянув руки вдоль колен, как рязанская баба на фотографии или фараон в Лувре, в той же позе неизбывного терпения и равнодушия. (…) Главными же приметами были не лапы, не хвост, не атрибуты, главное было — глаза: бесцветные, безразличные и беспощадные… Я его до всего узнавала по глазам, и эти глаза узнавала бы — без всего. Действия не было. Он сидел, я — стояла. И я его — любила».

Для Марины он был Мышастый — имя настолько сокровенное, что произносила его девочка только в постели или шепотом. «Звук слова «Мышастый» был сам шепот моей любви к нему».

Марина ощущала верно — «это было в ней, чей-то дар ей в колыбель». И догадывается — дар поэзии — «отрожденная поэтова сопоставительная — противопоставительная страсть…»

«Милый серый дог моего детства — Мышастый! Ты обогатил мое детство на всю тайну на все испытания верности. И, больше, на весь мир. Ибо без тебя бы я не *знала,* что он есть. Тебе я обязана своей несосвятимой гордыней, несшей меня над жизнью выше, чем ты над рекою — божественной гордыней — словом и делом его. Тебе я обязана своим первым преступлением: тайной на первой исповеди. После которой — все уже было преступлено. Это ты разбивал каждую мою счастливую любовь. Разъедая ее оценкой и добивая гордыней. Ибо ты решил меня поэтом, а не любимой женщиной».

Отрожденная поэтова сопоставительная — противопоставительная страсть… — Бог — Черт. Потом станет ясно: душа Марины принадлежит Богу, но она отказывается быть

его слепым орудием, отказывается подчиняться правилам игры в рабскую преданность, фальшивую праведность, жаждет диалога на равных. Вот за эту дерзость «несосвятимой» гордыни быть ей — Поэту — бесконечно низвергаемой в ничтожность своей человеческой уязвимой телесности. Ибо даже несосвятимая гордыня — орудие пытки. Ибо даже великий Поэт — смертен. С этим никак не могла смириться Цветаева. Наказание было жестоким. Наказание Тьмой. И принято без покаяния.

«…Не тьма — зло, а тьма — ночь. Тьма — все. Тьма — тьма. В том-то и дело, что я ни в чем не раскаиваюсь. Что это — *моя родная* тьма!» Так наказание или подарок?

Семья Цветаевых была в меру религиозной. Регулярные посещения Университетской церкви и традиционная православная вера считались достаточными. Не известно, какого бы агностика вырастило из бунтарки Марины более усердное воцерковление, изначально душой отрицаемое.

Детское ощущение Марины, оставшееся от церковных служб, близко ощущениям других, куда более близких церкви детей (в том числе и А.П. Чехова), к атеизму отношения не имеет. Речь идет об отторжении детского сердца от холодности церковного ритуала, славянской невнятицы молитв и песнопений. Однако же глубоко залегло оно.

«Ничего, ничего, кроме самой мертвой, холодной как лед и белой как снег скуки, я за все мое младенчество в церкви не ощутила… Бог был — чужой, Черт — родной. Бог был — холод. Черт — жар. И никто из них не был добр. И никто из них не был — зол. Только одного я любила, другого — нет. Один меня любил, и знал, а другой — нет… Одного мне — тасканьями в церковь, стоянием в церкви, паникадилом, от сна в глазах двоящимся… все славянской невнятицей, — навязывали, одного меня *заставляли*, а другой сам, и никто не знал».

Внутренний мир пятилетней Марины держится на трех столпах: Пушкин, Мать, Мышастый. Черный чугунный Пушкин — первый ее поэт, первый брат по крови поэзии. Мать — дорогое и единственное существо, накрепко соединенное пуповиной со старшей дочерью вопреки многим несоответствиям. Черт — персонаж многовариантный, ему предписаны роли Тайны, Фантазии, Страстного любовника, душевного друга — ТОГО, без которого Марине не выжить, Той Силы, что сеяла зло, дабы добро имело силу окрепнуть и выжить в сражении с ним. Обличил Мышастый менял лихо, стоило лишь Марине пожелать.

* * *

Марина пришла в мир поэтом. Но каким? Ориентиры определены: ПУШКИН, МАТЬ, ЧЕРТ.

Это в самой глубине под горячими углями тайны. Ближе к поверхности, на уровне житейского понимания, персонаж ясный, открытый — отец.

Мать и отец Марины — оба натуры недюжинные, от стихии обывательства отторгавшиеся. Оба с мукой в душе, оба пребывающие в своих мирах, между собой, как долго казалось, не сочетающихся.

Отец Марины Цветаевой, Иван Владимирович Цветаев, родился в 1846 году в семье сельского священника из Владимирской губернии. Его семья была так бедна, что Иван Владимирович и его братья обычно бегали босиком, приберегая ботинки для поездок в город и на праздники. Мальчики учились много работать и жить согласно строгим моральным правилам.

Следуя по стопам отца, Иван Владимирович готовился стать священником. Однако во время учебы в семинарии он жадно заинтересовался филологией и историей искусства. Способного семинариста отметили стипендией и поездкой за границу. Юноша совершает путешествие в Италию и Грецию. И столь вдохновляется античным искусством и скульптурой, что мечта о создании в Москве музея скульптуры становится самой страстной идеей его жизни. Талант и преданность делу молодого ученого способствовали становлению его академической карьеры. В 1888 году он был назначен профессором истории искусства Московского университета. Щедро одаренная, целеустремленная личность при необычайной мягкости и чистоте души была способна сдвинуть горы. Такой «горой», влекущей к покорению, была его мечта — создание в Москве Музея изящных искусств.

Сорокадвухлетний профессор женился по глубокой любви на двадцатилетней красавице Варваре Иловайской — дочери своего друга известного историка Иловайского.

Десять лет супружеская пара жила в полном взаимопонимании. Варенька имела легкий нрав и очаровательную внешность. Лишь общественное положение не позволяло Варе стать профессиональной певицей — она обладала красивым профессионально поставленным сопрано. Зато домашние приемы превращались в сплошные концерты, светское общество съезжалось на музыкальные вечера у Цветаевых. Романсы, баллады, арии из опер, дуэты с Варенькой блестящих вокалистов, блеск свечей, аплодисменты, букеты. Нарядная гостиная заставлена вазами с сиренью и нарциссами, окна в переулок отворены, и то прохожие, то мужик на телеге остановятся и разомлеют от выплескивавшегося на улицу пения.

«Куды там театр! У нас здесь получше барыня поют!»

С большого портрета Вари весело смотрит в мир цветущая молодая жизнь. Перламутрово-голубой флер воздушного платья охватывает стройный стан, мягкие завитки каштановых волос падают на виски — милая, нежная, вся в солнечном свете радости, удачно сложившейся жизни, она улыбается в полном неведении скорого несчастья. Дочке исполнилось семь, когда Варя родила мальчика. Андрюша — сын, мечта родителей. Комната роженицы завалена букетами белой сирени, на белых подушках разметаны каштановые пряди, щеки горят румянцем. Выйдя от жены, Цветаев тайком утирает слезы: у Вареньки неделю не спадает жар, и лица врачей на консилиуме не оставляют надежд. Едва протянув два месяца после рождения сына, молодая мать умерла.

Несчастный вдовец невест не выбирал. Выждав год траура, женился в 1891 году вторично на подруге покойной жены — Марии Александровне Мейн. Он не искал любви, не бежал от одиночества, он считал долгом дать своим детям мать.

Изменился быт дома, потекла иная жизнь. Снова работает в своем кабинете Иван Владимирович, снова в гостиной бушует рояль. Мария Александровна Мейн — натура творческая, серьезная пианистка, отказалась от концертирования по воле отца. Вместо романсов, арий из оперетт — Бетховен, Шуман, Лист, вместо кисеи нарядных платьев — монастырская строгость одежды, вместо живых цветов — кадки с пальмами и фикусами, вместо гостей и вечеров — музицирование и чтение с рассвета до заката. В спальне супругов, где кроме черного и белого не было ни единого цветового пятна, на картине над кроватью — черный на белом снегу Пушкин падал от пули черного Дантеса. Это повторялось бесконечно. Не удивительно, что картина могла повлиять каким-то удручающе трагическим образом на зачатое здесь дитя.

Ноябрьский день отгорел быстро. В Трехпрудном переулке под редкими фонарями блестит грязь. Листья на большом тополе, накрывшем ветвями пол-улицы, не облетели — скукожились серой хрусткой ветошью, шелестят на ветру. Тополь сторожит одноэтажный деревянный дом с выходящим во двор мезонином. Пять окон большой залы задернуты шторами, сквозь которые пробивается слабый свет: электричества в доме нет, горят керосиновые лампы и свечи. Но не свет этот скудный озаряет озябший тополь и скучный переулок. Музыка! То бурные рыдания рояля, то вздохи, то звонкая россыпь нот пронизывают воздух, расцвечивая серенький вечер божественным сиянием.

— Все музицируют… И когда живут? — Пожилая дама в

шляпе с вуалеткой выше подхватила юбки, теснее прижалась к своему спутнику, выделывающему акробатические трюки между луж ради спасения начищенного глянца туфель. Супруги направлялись в гости. Но когда бы они ни проходили здесь: утром ли, днем ли — плыли в волнах музыки.

— Сам-то Иван Владимирович на фортепианах не играют и петь не горазды. А вот жен все берут музыкальных.

— Ах, помните, как Варенька пела! Прямо-таки итальянская примадонна. Зайдешь к ним — душа радуется: нарядно, пирогами пахнет, везде букеты… Эта новая совсем не поет. Гордячка. Даже по-соседски никогда визита не сделает, да и к себе не пригласит. Что ж вы, Казимир Илларионович, сударь мой, весь подол мне обтоптали! Только что новое драпри обметали!

— Так здесь же от колес завсегда выбоина, Наталья Петровна! Мы ж не в фиакре! Сами сказали: на Бронной извозчика брать будем, дешевле станет.

Сопровождаемая печальным прощанием Шуберта, пара скрылась за поворотом там, где светилась отдаленными газовыми фонарями Никитская площадь. К забору под мощное туше метнулась серая тень кошки и исчезла в лазе между штакетниками. Чья-то рука плотнее задернула занавеску в окне, и прервавшаяся было музыка вновь грянула бурно и стройно. Обычный семейный вечер в обновленном доме в Трехпрудном.

Став хозяйкой дома, Мария Александровна Мейн не стала терпеть нарядную обстановку бывшей хозяйки и заведенные ею правила. Вкус у госпожи Мейн был спартанский, антибуржуазный. Девиз сдержанность, практичность во всем. И никакого украшательского, уютного мещанства. Вульгарности и духу быть не может.

Фотопортрет Марии Александровны говорит о многом. Удлиненное лицо с крупным породистым носом, наглухо застегнутое темное платье классной дамы. Тонкие губы с трудом выдавливают слабое подобие улыбки. А в глазах скрученная в пружину тоска. Чуть тронь, разожмется пружина, разнесет все благообразие облика. И добропорядочность эту наглухо застегнутую, и скуку бесцельного бытия. Нет, она не была счастлива. И как ни культивировала сдержанность, часто срывалась.

Мария Мейн была из породы натур суровых, приговоривших себя к невезению. Ее единственная юношеская влюбленность в женатого человека окончилась разрывом — она уступила воле отца. От карьеры концертирующей пианистки из соображений сословных пришлось отказаться.

Рано лишившаяся матери, наследницы старинного польского

рода, Мария воспитывалась отцом (немцем с сербской кровью) и гувернантками. Получила прекрасное домашнее образование: семи лет она знала всемирную историю и мифологию, бредила ее героями, великолепно играла на рояле. Легко пользовалась четырьмя европейскими языками, изучала философию, сама писала стихи по-русски и по-немецки, рано проявила серьезные способности в живописи и особенно в музыке.

Не ожидая для себя уже иного счастья, Мария Александровна стала женой уважаемого, но совершенно нелюбимого пожилого человека, взяла ответственность за двоих детей, с которыми не умела ладить, а тем более заменить мать. Сознательно принесла себя в жертву. Вдобавок обманула и надежда иметь сыновей. Имена был приготовлены: Александр и Кирилл. Но в 1992-м родилась Марина, а через два года Анастасия. Потом Марина узнала и уже никогда не забывала, что они обе были разочарованием для матери, которая ждала сыновей.

Дом в Трехпрудном — самый лучший кусочек Божьего мира. В мезонине, выходящем во двор, находились четыре небольших комнаты для детей. Внизу высокий белый зал с пятью окнами, рядом с ним вся в темнокрасном большая гостиная. В кабинете отца тяжелый письменный стол, глубокий диван, стены до потолка опоясаны книжными полками. Электричества, однако, в доме не было — керосиновые лампы, свечи составляли привычное освещение долгих зимних вечеров.

Первые электрические фонари наружного освещения появились в Москве в 1880 году. 15 мая 1883 года, в день коронации Александра III, при помощи дуговых ламп была освещена площадь вокруг Храма Христа Спасителя. Тогда же была устроена первая электрическая иллюминация колокольни Ивана Великого. После празднеств многие богатые москвичи стали подавать генерал-губернатору прошения об устройстве электрического освещения в своих домах. Лишь в 1895 году началось реальное внедрение электричества в быт москвичей и в освещение улиц города. В доме профессора Цветаева, строившего для Москвы Музей изящных искусств, пользовались керосином. «Ничего не просить и не желать большего» — этот принцип истинной интеллигенции был верен и по отношению к канализации. Разве можно размышлять о душе, мечтая о каком-то ватерклозете? Это для зажиревшей буржуазии. А интеллигенция — вся в изящных искусствах, с роялями, музеями и выгребными ямами.

В начале XX века канализация была уже в 11 городах России, а Москва могла похвастать канализацией в районе Садового кольца. По наличию удобств можно составить представление о

стиле жизни семьи Цветаевых. Только духовное считалось достойным упоминания. Материальными запросами, касавшимися тела, пренебрегали как капризом нуворишей и филистеров. Почему в России так много думали о душе и так мало о ватерклозетах? Кстати, и воду в дом Цветаевых возили в деревянных бочках — водопровода не было.

Деревянный дом в центре Москвы и летняя Таруса — лучшие воспоминания детства Марины.

Летом семья выезжала «на дачу» — в маленький городок в Калужской губернии над чистой спокойной Окой. Отец арендовал у города дом, одиноко стоящий в двух верстах от Тарусы. Небольшой деревянный с мезонином, террасой и маленьким верхним балкончиком, с которого открывались заокские дали. А сад, а поля с перелесками за ними!..

Деревенская жизнь была куда веселее — купанье в реке, катанье на лодках, походы по грибы и ягоды, выходы в гости, непрекращающаяся и здесь музыка: столь редкое пение Марии Александровны с Лерой в два голоса! Иван Владимирович сажал в честь рождения каждого из детей елки, и они носили имена своих «крестников».

Бытовые неудобства и в городе, и в деревне скрашивал штат прислуги — няни, гувернантки, кухарка, повар, садовник, находящиеся в подчинении новой хозяйки, уважавшей дисциплину и порядок.

Уклад жизни семьи, организованный на спартанский лад, допускал лишь высокие «материи» — классическую музыку, поэзию, чтение вслух классических произведений. Мария Александровна не терпела в доме расхлябанности, нарушений порядка, каких-то маскарадов, журфиксов, танцев. Девочек одевала строго, стригла коротко, нежностей не допускала, приучила не хотеть сладкого. Дома конфеты были под замком, а просить детям не разрешалось. Просить вообще ничего нельзя — унизительно. «Жизнь в доме была полна молчаливых запретов», — вспоминает Марина. В семье раз и навсегда было определено: важно только духовное — искусство, природа, честь и честность. Девочки одновременно начали говорить на трех языках — на русском, немецком и французском. Мария Александровна сумела передать дочерям свой характер, чуждый сентиментальности и открытым проявлениям чувств. Душа Марии Александровны с юности влеклась к высокому. Идеи немецких романтиков, высокий строй музыки разжигали в Марии жажду самопожертвования. Став матерью семейства, Мария Мейн мучилась от постоянного чувства прозябания. И торопилась научить детей своим любимым книгам, музыке, стихам. Она

читала девочкам Чехова, Короленко, Марка Твена, Мало «Без семьи», сказки Гофмана, Грима, Андерсена, чуть позже Пушкина, Данте, Шекспира, с особым увлечением немецких романтиков. Пренебрегая юным возрастом девочек, Мария «вкачивала» в дочек все, что несла в своем Я, чем была заряжена ее душа с безрадостной поры полусиротского детства. Нравственные нормы в семье были самыми высокими: материальное и внешнее считалось низким, недостойным, деньги — грязь, политика — грязь, главное — защита униженных и оскорбленных — это Марина уяснила четко.

Она защищала обиженных — кошек, собак, дралась с нянькой и гувернантками, не давая прогнать бездомного щенка, заступаясь за дворника, обруганного за пьянство. Кусалась, пиналась ногами не хуже мальчишки. Между детьми вспыхивали постоянные драки — Марина решала споры кулаками. Крупные сильные руки — постоянно в царапинах, на коленях — никогда не сходящие ссадины. Она не боялась боли, наказаний и сидения в темном чулане. Постоять за себя умела: уж только попробуй кто-то дразниться или насмешничать.

Неуклюжая, полная девочка с сайгачьим профилем не интересовалась зеркалами и нарядами. Ее пища — «раскаленные угли тайны». Ее лучший друг —‘Мышастый. Такого ни у кого нет, и тайны такой страшной ни у кого быть не может.

Обычный день. Шестнадцатилетняя Валерия — или, как ее звали в семье, Лера — красавица — вся в покойницу мать — читает в своей комнате наверху любовный роман. Иван Владимирович сосредоточенно работает за письменным столом в кабинете, невзирая на распахнутую в гостиную дверь: он научился не замечать музыку и даже мурлыкать нечто совершенно не подобающее — мелодию из оперетки, например. Семилетний Андрюша, не склонный к музицированию, скачет по комнатам на деревянном коне, плюется горохом через трубочку, показывает девочкам язык и пытается выманить сводных сестер из-под рояля.

Две девочки — коротко стриженные, в темно-синих клетчатых платьях и коричневых чулках — заняты своими делами. Ася вырезает из картонного листа телесно-розовых куколок и их приданое. Марина — или по-домашнему Муся — книгой. В зеркале напротив она видит гордый профиль матери, «ее коротковолосую, чуть волнистую, никогда не склоненную даже в письме и в игре, отброшенную голову, на высоком стержне шеи между двух таких же непреклонных свеч…»

Мария Александровна, нарочно перешедшая на нечто бравурное, удивлена долгим пребыванием дочерей под роялем.

— Не понимаю! Сколько можно там сидеть? Музыкальное ухо не может вынести такого грома — ведь оглохнуть же можно! — она закрывает крышку.

— Там лучше слышно, — заверяет Муся.

— Лучше слышно! Барабанная же перепонка треснуть может.

— А я, мама, ничего не слышала, честное слово! — торопливо и хвастливо вставляет Ася.

— Одной лучше слышно, а другая ничего не слышала! — голос матери обретает напряженно трагические ноты. Звучит непременный рефрен: — И это дедушкины внучки, мои дочери… о, Господи!

— Машенька! У Муси абсолютный слух, — тихо вышел из кабинета отец семейства. — Ты же видишь, она очень старается. Скажу тебе: как в концерте звучит, не хуже!

— Ты уж извини, Иван Владимирович, не тебе судить. Не твоего ума дело. — Несколько более резко, чем требовала ситуация, произнесла Мария Александровна. Снисходительность мужа к старательным, но совершенно безвдохновенным Мусиным упражнениям на рояли раздражала ее все больше. Увы, мечты вырастить из старшей дочери пианистку таяли. Мария Александровна уже понимала, что с ними придется расстаться. А что взамен? Исписанные какими-то глупостями листы?

— Вы хоть видел, что она все время бумагу марает? Называется это СТИХИ. — Мария Александровна с брезгливой гримасой подняла с ковра тетрадку. — Заглавие: «Наполеон!» Ничего себе замах? А ты, Марина, хотя бы знаешь, кто это? Торт, может быть?

— Знаю! Это герой. Но я для себя писала. — Налетев коршуном, Марина выхватила и порвала в клочья тетрадку, раскидав в гневе обрывки.

— Давай, Мусенька, бумажки сюда, уберу вместе со своим хламом. — Отец поспешно собрал обрывки, стопку газет с рояля. Эти стопки, регулярно портившие зеркальный глянец рояля, страдальчески-демонстративно сметала мать.

— Брр! — отвернулась Ася от кипы газет, всем своим видом поддерживая отвращение матери. Марина смолчала — не хотела поддакивать Аське и обижать отца. Хотя свою позицию уже определила давно и навсегда: «газеты — нечисть».

«Не из этого ли сопоставления рояльной зеркальной предельной чистоты с беспорядочным и бесцветным газетным ворохом и не из этого ли одновременно широкого и патетического материнского жеста расправы и выросла моя ничем не вытравимая аксиомная во мне убежденность: газеты — нечисть, и вся моя к ним ненависть, и вся мне газетного мира

месть».

Собрав газеты в охапку, Цветаев уютно устроился возле рояля.

— Иван Владимирович, вы к нам послушать зашли или так, ужина дожидаетесь?

— Ну почему сразу ужина дожидаюсь? Машенька, ты же знаешь, как я люблю музыку!

— Одну арийку из «Аиды» через пень колоду мурлычешь. Это еще из Вариного репертуара, только уверена, она так никогда не фальшивила! И теперь от твоего пения в гробу переворачивается.

— Бог с тобой! Варенька пела райски! Да и я — не со зла же мелодию порчу, для настроения себе под нос мурлычу! — со вздохом перекрестился Иван Владимирович, как делал всегда, вспоминая свою незабвенную любовь. — Мне Бог дарования не дал. Так не всех такими великими талантами награждать!

— Дарования — редкость, не спорю. От Бога! — Мария Александровна встала, погасила свечи у пюпитра. — Но ведь ты даже «Боже, царя храни!» не умеешь спеть!

— Как не могу? Могу! — протестовал отец и с полной готовностью затягивал «Бо-о-же!» «Но до царя не доходило никогда. Ибо мать вовсе уже не шутливо, а с истинно-страдальчески-искаженным лицом тут же прижимала руки к ушам, и отец переставал. Голос у отца был сильный».

Иван Владимирович на 20 лет старше жены. Мягкое лобастое лицо интеллигента-добряка, нос помпушкой. Опрятная бородка, рассеянные улыбчивые глаза за блеском пенсне. Настоящий русский интеллигент Иван Владимирович Цветаев, казалось, олицетворял собой русскую пассивность, медлительность.

Однако незаметность и неповоротливость профессора Московского университета скрывала натуру кипучую, внутренне деятельную, мягкость и немногословность — огромную эрудицию. Он всегда был поглощен своими обязанностями — кафедрой в университете, кабинетом изящных искусств и древностей при кафедре в Румянцевском музее, преподаванием. Да еще и лекции в этнографическом публичном музее.

«Была мать неуравновешенна, требовательна, презрительна, деспотична характером и жалостлива душой». Был отец — самый любящий, самый добрый. То, что этот простоватый интеллигент, осуществивший грандиозную мечту на деле, был настоящим подвижником, Марина поняла позже и оценила его тихий героизм.

Вы ребенку — поэтом
Обреченному быть —

Кроме звонкой монеты
Все — внушившие — чтить…

Так сформулировав родительскую заповедь, Марина осталась верна ей до конца жизни. Трудолюбие, одержимость идеей — отцовское, неизменное. Непреклонность — стержень всей жизни Цветаевой — черта, доставшаяся ей от матери вместе с гордой горбинкой носа, светлыми, прямо и твердо смотревшими неулыбчивыми глазами.

Для Марии Александровны, рвущейся к великому деянию, страдавшей от пустоты своего бытия, судьба нашла выход — она увлеклась вдруг со всей свойственной ей страстностью идеей мужа, стала серьезнейшим образом изучать музейное дело, вместе с Иваном Владимировичем ездила за границу осматривать музеи, выбирать экспонаты, стала соратницей и другом, помощницей. Какое идиллическое сотрудничество могло бы состояться, не окажись жизнь молодой женщины столь короткой.

Осенью 1902 года детство Марины Цветаевой внезапно кончилось. Ей десять, она только начала по-женски взрослеть. Асе восемь — ей тоже нужна мать. У Марии Александровны обнаружили чахотку, и было очевидно, что болезнь убьет ее. Хотя думать об этом никто не хотел. Надежды возлагались на итальянское солнышко, германских врачей. Вся семья Цветаевых провела следующие четыре года за границей, пожив в трех странах — Италии, Германии, Швейцарии.

В русском пансионе в Нерви Цветаевы сблизились с революционерами, жившими в этом же пансионе. Семья Цветаевых была верноподданнически-монархической. Но настроения народовольцев с чрезвычайной силой подействовали на врожденную бунтарку Марину. Девочка пишет революционные стихи, затерявшиеся впоследствии неведомо куда. Как и стремление умереть за революцию.

Проявилась еще одна унаследованная от матери черта: несгибаемость, жажда отдать жизнь за великую идею. И все это — в 11 лет!

* * *

На этом этапе в судьбу Марины входит тема, кажущаяся нам нелепо-страшной, но в те, вовсе недалекие времена, обыденной — ранняя смерть. Не только каторжники и жители нищих областей России, семьи городской интеллигенции вымирали чуть ли не

поголовно от неизлечимой напасти — туберкулеза. Причем, кроме воли Божией (Бог дал, Бог взял), ничего странного в похоронах молодых людей не усматривали. В одной только Москве умирало 11 человек ежедневно. Туберкулез уносит больше жертв, чем самые кровопролитные войны. В Первой мировой войне от ранений и болезней Россия потеряет 1 700 000 солдат, за то же время от туберкулеза скончается 2 000 000 гражданских лиц.

Ранние смерти от чахотки были не редкостью в каждой семье. Умирали друзья, умирали родственники, дети. Марину потряс безвременный уход из жизни близких людей, заставил ее взбунтоваться. Со всей страстностью детской души она восстала на борьбу с необратимостью смерти. В непобедимость смерти Марина верить не могла, не хотела.

Марина довольно часто общалась с Сергеем и Надей Иловайскими — братом и сестрой первой, умершей жены отца. Сергей покорил ее юношеской чистотой, рыцарской честью, неколебимой жаждой жизни, Надя — очаровательной внешностью, олицетворявшей для Марины красоту и романтическую любовь. «Мы не были подругами — не из-за разницы в возрасте, а из-за моего смущения перед ее красотой, с которым я не могла справиться. Просто мы не были подругами, потому что я любила ее».

И вдруг один за другим два гроба, покрытые цветами и еловыми ветками. Что это? Исчезли навсегда? Юные брат и сестра ушли в неведомое в расцвете сил, молодости, радостных надежд — почему, зачем? Марина отказывается принять факт смерти как неоспоримый, затевает бунт изо всех детских сил. Но сил не ребенка, а проснувшегося и многое прозревавшего за оболочкой реальности поэта. Марина не могла всерьез принять внешнюю, всегда лгущую, оболочку жизни. Не желала верить взрослой правде, так часто изменчивой. Она упорно продолжала искать встречи с Надей. Назначала свидания в их любимых местах, писала ей письма. Но Надя не откликнулась — она в самом деле исчезла. Так и не появилась больше на этом свете. Никогда.

А летом 1906 года умерла мать. Ей исполнилось лишь 38 лет. Пройдя оказавшееся безрезультатным лечение, Мария Мейн с семьей вернулась в Москву. Это было лето мучительного и тяжелого умирания. И в эти дни Мария Александровна хотела, чтобы с ней была только Ася. Всегдашняя боль Марины, убежденной, «что мать больше уважает ее, а любит сестру», боль нелюбимого ребенка, перераставшая в мучительную ревность, сводила ее с ума. И вот — все кончено. С каждым днем Марии Александровне становилось все труднее дышать. 4 июля 1906

года она позвала дочерей.

«Мамин взгляд встретил нас у самой двери. Она сказала: «Подойдите…» Мы подошли. Сначала Асе, потом мне мама положила руку на голову. Папа стоял в ногах кровати, плакал навзрыд. Обернувшись к нему, мама попыталась его успокоить. «Живите по правде, дети! — сказала она. — По правде живите…» Потом, отвернувшись к стене, почти беззвучно произнесла: «Жаль только солнца и музыки».

Гроб с останками Марии Александровны перевезли в Москву, пронесли мимо дома в Трехпрудном и похоронили на Ваганьковском кладбище рядом с могилой родителей.

Незадолго до смерти Мария Александровна составила завещание, согласно которому дочери могли пользоваться оставленным им капиталом только с сорока лет, а до этого возраста жить на проценты. Кто мог предусмотреть, что в один день мейновский капитал исчезнет, и революция сделает девочек нищими — окончательно и бесповоротно. Несмотря на выстроенный отцом Музей изящных искусств, несмотря на подаренную им городу Румянцевскую библиотеку, угла для Марины в столице советского государства не найдется…

«Во всем обман и, ах, во всем запрет»

Так закончилось, не начавшись в полную меру, детство этой хмурой девочки. Без каруселей, петушков на палочке, игр с соседской детворой, нарядов, цветочных балов, королевских платьев из штор. Зато был Пушкин, был Мышастый и волшебный шкаф с взрослыми книгами в мансарде, из которого выплескивалась такая живая, такая манящая и почти совсем непонятная, лишь смутно угадываемая жизнь.

Через год после смерти Марии Александровны Валерия уехала учительствовать в Козлов, вернувшись же, поселилась отдельно от семьи. Андрея забрали родственники. Отец остался единственным хранителем и воспитателем двух трудных подростков. Упрямство и эгоизм Марины приводили его в полную растерянность. Властная, своевольная, резкая — ну как тут справишься? Какой подход найти? На все у нее свои ответы и свое мнение. Причем авторитет отца ни в грош не ставит, не стоит даже и заикаться. Экономки в доме менялись часто, на каждую была надежда: сблизится с девочкой, приласкает. Попытки длились не долго: женщины уходили одна за другой со скандалами, потеряв надежду «приручить» Марину.

Сформулированная много позже Цветаевой причина жизненных увечий: «главное — росла без матери, т. е.

расшибалась обо все углы» — действовала безошибочно: расшибалась и расшибала, ранилась сама и крушила все на своем пути. Иван Владимирович и вовсе сдался. Застав Марину за чтением «взрослых» книг, он лишь растерянно разводил руками. Она вскидывала голову, и в глазах — упрямых и безразличных одновременно — не было и капли вины. Лишь утверждение собственной победной правоты. Ситуацию поправило неожиданное сближение сестер. Враждовавшие с раннего детства девочки вдруг подружились: обнаружили, что похожи внешне, характером, даже голосом. Многое объединяло подростков: способные, ироничные, наблюдательные, влекомые к познанию «мистических тайн», рвущиеся принести жертву во имя человечества и… так естественно, так неуклюже ждавшие влюбленности.

После смерти матери Марина тут же забросила занятия музыкой, никому теперь не приносившие радости, и начала серьезно писать стихи. Она читала сочиненное Асе, и они вместе читали стихи вслух — себе и гостям. Ася приглашала школьных подруг, Марина развлекала компанию — стихами, конечно же, но и отчаянными выходками — так остро высмеять, так смело поставить на место неудачливого шутника не решался никто. И в эрудиции сравниться с ней мало кто мог. Не иначе — «королева бала»! А значит — нужны рыцари. С ними было туговато, и как раз в это время Марина поняла, что ей безумно хочется нравиться! Всем-всем. Девочкам, мальчикам, сторожу, подружке по гимназии. Причем не по-человечески, а по-женски: очаровывать, сводить с ума, возбуждать пылкие чувства. Но вот беда — внешность ее, совершенно не соответствовала романтическому идеалу. Где томная бледность ланит, где хрупкий силуэт, водопад вьющихся локонов? Где шуршащие в легкой походке шелка? Здоровый румянец, круглое личико, плотное мальчишечье сложение и стриженые прямые волосы «под пажа» — с такой внешностью только и остается, что мечтать.

Комплекс гадкого утенка и безответные влюбленности не способствовали улучшению характера. Ранней весной, не закончив учебного года, Марина вдруг решила уйти из пансиона фон Дервиз, где все «идиотки — классные дамы» погрязли в консерватизме и невежестве, дрожали от страха перед приближающейся революцией.

Иван Владимирович, уже имевший беседу с мадам фон Дервиз, тактично начал разговор с дочерью за обедом:

— Марусенька, говорят, у вас в пансионе революционные настроения распространяются? И это чрезвычайно беспокоит руководство пансиона. Нежелательное явление.

— Это вы меня имеете в виду? Я бы распространила. Только не стоит метать бисер перед свиньями! Они навивают букли на тряпочные папильотки и клянутся, что это от природы. А я схватила Батистинскую за косу и прямо физиономией в дамской комнате под кран сунула! Мокрая крыса. Лгунья! А ведь она мне так нравилась! — Марина терзала на тарелке малиновый мусс, сдерживая слезы. — И шагу туда больше не ступлю! Знаю я ваши монархические настроения. Темнота и провинциальное убожество.

— Погоди меня бранить… Ты что ж это… Как же так? Из класса выбыть решила? — губы профессора воинственно поджались, черенком ножа он отстукивал боевой ритм по краю стола, подготавливая начало ультимативной речи. — Хорошо! Да, я имею консервативные взгляды и являюсь приверженцем монархии. Да, я за цивилизованное общество, цивилизованных граждан! Образование в наши времена непременная основа основ! Человек без образования ничтожен! Это обязанность и долг перед обществом каждого мыслящего гражданина!

— Всего лишь пошлый обычай! — вставила Ася. — Которому мы должны слепо подчиняться. «Обычай деспот меж людей!»

— «Обычай толкает нас на многие глупости. Одна из них — стать его рабом!» Наполеон, между прочим, заметил. И я с ним полностью согласна, — добавила Марина, победно улыбаясь.

— Но во все века и во всех социальных кругах существовало общественное мнение! — привел беспомощный аргумент Иван Владимирович.

— И знаете, чего стоит это ваше «общественное мнение»? — Отбросив салфетку, Марина произнесла «мерси» светским тоном и завершила с торжествующей ухмылкой: — Не больше, чем гулящая девушка на панели. «Общественное мнение — это продажная девка!» Да, да! Готова подписаться.

— Тоже, полагаю, высказывание Наполеона? — печально усмехнулся профессор. Он мог бы сейчас много рассказать о том, как пользовался продажным общественным мнением любой политик, начиная, если уж хотите, с самого Цезаря! А уж о Бонапарте и вспоминать смешно.

— Прения окончены? Значит, решено: я не хожу больше в пансион! — Марина поднялась и направилась к двери. Иван Владимирович вскочил из-за стола, преграждая дорогу.

— Ты можешь идти на завод или в кухарки. Можешь вообще читать Маркса и носить юбку до колен… Но по — мни… — он задыхался, держась за сердце, — это убьет меня!

…В следующие три года Марина сменила еще две гимназии, но училась в них исключительно ради соблюдения приличий.

Боялась за отца, а то забросила бы все это без промедления. Марина «вышла» из гимназии после седьмого класса. Восьмой считался педагогическим, а ей было ясно, что учительницей она никогда не станет. С занятиями музыкой было окончательно покончено. Да и вообще жить стало совершенно незачем. Никакого интереса, никаких событий, жгущих душу переживаний! Если б не Ася, боязнь за отца… И главное — если б не ОН! Как вовремя Он пришел!

Иван Владимирович, хоть и не специалист по дамским настроениям, но заметил: у Марины завелся кумир или… кто там знает, что за блажь у нее в голове, может, опять какие-то революционеры. Уже почти год делает вид, что ходит на занятия, а сама — юрк к себе в мансарду и до вечера не выходит. Обложилась книгами и что-то там вслух шепчет. Это уже горничная сообщила и еще то, что, по всем приметам, связалась Марина Ивановна с какими-то сатанистами, либо ее цыгане сглазили.

Иван Владимирович теперь часто ходил по своему кабинету, ломая голову не над музейными проблемами, а над тонкостями воспитания юных девиц, с которыми никак не мог сладить. Ладно, Ася — она хотя бы не собирается бросить учение. А вот Марина! Упорная — кремень! И ничего из нее не выпытаешь. Одни нервы! Нашумит, наговорит всякого, потом глотай валериановые капли после таких дискуссий. Нет, все же надо, пора, раз решился, подняться к ней и поговорить ответственно, как отец. Категорически и строго!

Он поднялся в мансарду, постучал в комнату и решительно открыл дверь.

Свернувшись клубочком, Марина лежала на диване, уткнувшись в книгу. Вся комната завалена альбомами, книгами, листами, и везде Он — с зачесами на виски и орлиным взглядом: в треуголке, без треуголки, капрал, генерал, император в лавровом венце, юный и стройный, с брюшком под синим сюртуком, в мантии, в солдатском снаряжении, изрядно полысевший, сверкающий орденами. Но тот же орлиный взгляд и вера в победу. Несгибаемый коротышка, получивший от рождения роль Героя и триумфально исполнявший ее до самого конца. Все-все, что рядом с ним, что хоть как-то касалось его жизни, — завораживало Марину. В сущности, это было глубокое перевоплощение, вернее — погружение. Не в образ Наполеона Бонапарта — в суть иной жизни. Кто знает, может быть, именно ей, Марине, уже когда-то суждено было пройти земной путь рядом с ним или совсем близко. Уже год она почти не выходила из дома, все больше растворяясь в эпохе Бонапарта. Перечитала

все, что нашла на трех языках, собрала гравюры, портреты, описания быта, архитектуры. А главное — известный, любимый с детства герой, сверкнувший кометой в стихах Пушкина, Лермонтова, Гюго, Гете… Теперь она обитала в его мире, как в собственном, переживая взлеты и падения этого гения грандиозной эпохи. Она знала все эпизоды жизни Наполеона, всех ее действующих лиц. Но влюбиться в своего кумира посмела бы лишь только в свете трагедии, когда он — смятенный, преданный, потерявший все — отправился на остров св. Елены. Не величие Императора, а его падение завораживало Марину. Она бы любила его за это падение, за то — что он — жертва… Героя любить пошло. Любить — значит жалеть, жалеть так, чтобы отдать всю свою кровь и непременно погибнуть! Марины навсегда усвоила важнейшие принципы отношения к людям: «любовь к отверженным и милость к падшим».

Стихов о Наполеоне Марина не писала — не хотела, не могла вступать в диалог с Пушкиным. А вот юного Орленка — единственного законного сына Наполеона — герцога Рейхштадского — боготворила и сделала поэтическим героем личной судьбы. Этот так никогда и не царствовавший римский император, юный, с тонким прозрачным лицом и золотыми кудрями, умер от туберкулеза в 21 год. Вот судьба, достойная трагической музы!

Марина начала переводить с французского «Орленка» Ростана. Она жила в ином мире, а эта обиходная жизнь была настолько нереальна, что не стоит и замечать пустяки, вроде грязных тарелок на столе после обеда. Кто-то уберет, кто-то заплатит за учение, сменит белье в спальне, выстирает и погладит вещи. Ох, эти мелочи: какие-то обязательства, какие-то деньги! Дурацкие заботы о крыше, печах, саде, порядке, вымытых окнах… разве они существуют на самом деле? Досадная помеха, и только. И слово какое противное — засаленное, как сковорода на кухне, — «быт»! Но повелительное, наглое. Есть люди, которым этим интересно заниматься. Вот и пусть наслаждаются!

…Марине интересно возле Талейрана в ароматах шумящего бала. Видно же, шельма плетет интригу! Глаза острые, как у лиса, а перед хозяином так и стелется! Предатель! Сейчас она его разоблачит, да с каким позором! Она взорвет этот муравейник лицемеров! Дамы непременно примутся нюхать соли и падать в обмороки… В маленькой комнате было тепло, трепетала лампадка у киота, на столике у дивана горела керосиновая лампа под матовым зеленым колпаком. В пляшущих по темным углам тенях таилась вся вселенная.

— Муся, я к тебе! — строго начал отец. — Мне кажется, ты

давно хотела со мной поговорить. Извини, не находил времени для беседы. Самый горячий момент у меня в музее — отделочные работы. И экспозицию пора окончательно продумать со специалистами.

— Великие дела, сэр Цветаев! У меня проще. — Марина села, захлопнув книгу, твердо посмотрела в глаза отцу и отвела взгляд. Не умела смотреть в глаза — слишком интимно, вроде подглядывания, проникновение в тайники. И сосредоточиться на своем невозможно — чужое затягивает. Достаточно мгновенного взгляда: вскрыл «тайник» и все понял. Она вздохнула тяжко: все же неприятно причинять боль близкому человеку. Но как преодолеть его непонимание? — Мне надо с вами, папа, поговорить серьезно.

— Ты опять пропустила гимназию?

— Во-первых, папа, давайте оставим этот детский тон! Скажите честно, к чему мне обучение в этих погрязших в косности и лжи гимназиях? Да я знаю во сто раз больше, чем они.

— Но точные науки необходимы, Муся! Поверь — без них просто никуда. И потом — режим, регулярные занятия дисциплинируют, развивают чувство долга!

— Долга?! — она не расхохоталась, лишь иронично поджала губы. — Вот это выразительно сказано… Разберемся. Кому я должна? Вам и маме. Дворнику, няньке, кухарке. Может, еще его императорскому величеству, что содержит вас на службе?

— Это не шутки, не шутки, Марина! Как ты, ей-богу, не понимаешь! — Иван Владимирович заходил по комнате, сложив руки за спиной. — Да, содержит! И Музей, между прочим, для всего народа строит. — Сказал и прикусил язык, предчувствуя атаку Марины.

— Для народа Музей изящных искусств выстраивает? — язвительно протянула она. — Браво! А, может, лучше школы для неграмотных построить? Дома для тех, кто гниет в ночлежках? — Вскочив на диван, как завзятый оратор, Марина горячо и выразительно говорила о темноте народных масс, о лживости политиков, о несчастьях рабочего класса. — Мария Спиридонова — вот героиня! И лейтенант Шмидт на броненосце Потемкине — герой! Это — настоящие люди. А вы со своими пыльными статуями всю жизнь надрываетесь… Для кого? Для неграмотных рабочих? А вы вспомните, как наш конюх Поликарп кепочку на глаза надвинул, вспотел весь от стыдобы и едва не плюнул на вашу «Венеру»!

— Детка… Ну зачем ты так? Ах, ах… Господь простит, Господь надоумит… — Иван Владимирович хотел перекреститься на киот, прищурился, не разглядев привычного образа

Чудотворца, подошел поближе. Отпрянул, схватился за сердце, судорожно хлебнул воздух и опустился на диван.

— И что? Что вы там увидели? — Марина поднесла к побелевшим губам отца стакан с водой. — Наполеон — герой! Лучший из людей. И мученик. Самый достойный мученик!

— Неужели ты, взрослая девушка, не понимаешь, что это… что это — отвратительное кощунство? Тебе уже шестнадцать лет… Господи! Пожалей хотя бы меня, Асю… Если ты сама не понимаешь, какими слезами обливается сейчас в раю твоя несчастная мать…

— Обожаю эти стенания: несчастный дедушка, несчастная мать в гробу слезами обливаются! Вы что, хотите сказать, что ТАМ что-то существует? — Марина демонстративно рассмеялась. — Нет там ничего! Я знаю! — голос Перешел на крик, и в нем звенели слезы. — Все обман! Разве вы еще не поняли! Все! Все обман — ничего не поняли?!

Иван Владимирович тихо поднялся:

— Марина, поговорим об этом позже, но если для тебя не совсем безразлична моя просьба, то я очень прошу — не требую — прошу как отец, как человек, ответственный за тебя, — убрать портрет с киота! — голос его дрогнул, дрожал и перст, гневно воздетый, указывающий на уютно расположившегося перед лампадкой француза.

— Что ж — вы добились своего! Уберу и уйду вместе с ним. Это не мой дом, в котором не умеют уважать дорогих мне людей. Уйду, так и знайте!

…Все осталось по-прежнему — в киот вернулся Чудотворец, а в «иконостас» над кроватью Марина собрала самые дорогие гравюры, портреты, литографии.

Однажды оказалось, что книг, литературных впечатлений мало, что нужен живой Орленок, ну, хотя бы на сцене Комедии Франсез в исполнении великой Сары Бернар. Сара Бернар — 56-летняя, мудрая, романтичная, осмелилась играть 20-летнего юношу! Вот истинная наследница духа юного герцога. И потом — необходимо, решительно необходимо поклониться могиле Наполеона. Для финала хорошая точка. Уж если расставлять точки. А точка в этой никчемной жизни просится! Назревает нечто — пистолетный выстрел, прыжок с моста или… Ах, как пылает сердце, как неистовствует кровь, колотясь во всех жилках!

Марина в 16 лет — полноватый, неуклюжий подросток в пенсне. Она больше похожа на юношу и осознанно пренебрегает атрибутами женственности. Спартанский стиль, привитый матерью, не нарушает темно-синяя пелеринка, плоская шляпка с круглыми полями. Она ходит быстро, резким широким

независимым шагом. Никто не подумает, что девица прогуливается, ища знакомства. Взгляд одновременно вызывающий и пугливый. Готовность дать отпор и плохо скрытое отсутствие самоуверенности. Сплошные муки закомплексованной юной особы под напускной бравадой опытной дамы. Такой она явилась в Париж летом 1909 года — шестнадцатилетняя путешественница без сопровождения старшей компаньонки, что было совершенно не принято в приличном обществе.

С трудом пришлось вырывать разрешение на эту поездку у отца, придумав как повод посещение курсов старинной французской литературы в Сорбонне.

— Я не знаю, что тебе сказать, Марина, ты меня все равно не послушаешь… — обессилев после долгой перепалки, Иван Владимирович сел на скамью под зацветающим жасмином. — Приходится признать — я слабее, а значит — проиграл!

— Ну к чему такая панихида! Дочь едет учиться! Не на Колыму, не на острова к людоедам, в Париж! Я перевожу Ростана! Курсы старинного французского мне просто необходимы. А вы уперлись, словно провожаете дочь в публичный дом!

— Господи, что ты такое говоришь, Марина!.. Но ведь девицы из нашего круга не ездят одни! Возьми симпатичную даму в компаньонки. Я все оплачу, да сам и подыщу среди наших знакомых.

— Чтобы эта курица на первой же станции высадилась с поезда и в полной истерике телеграфировала вам, что у меня несносный характер! Вы же все сами знаете, папа!

Он только шмыгнул носом и помял в руках носовой платок. Марина вдруг увидела, как отец похудел и постарел — никогда не сутулился, не запускал бороду — и вот на тебе — махнул на себя рукой! И кисти с синими вспухшими венами — крестьянские, постаревшие — суетятся, мнут платок. Поняла: боится за нее, за Асю. Ведь такой груз на плечах по Музею тащит. А в дочерях не помощниц нашел, а сплошные заботы. Редкое для Марины внимание к человеку, хотя и близкому, но ей в данный момент неинтересному. Люди — масса людей всяческого назначения как статисты возникали временами в ее жизни и исчезали. Они могли стать интересными ей, лишь когда попадали в луч «софита» Мариниого внимания, вырастая в гигантов силой ее фантазии и желания обожать гения.

— Отец… — Марина присела рядом, положила голову ему на плечо. — Поймите раз и навсегда — я очень сильно вас люблю. И сильно уважаю. Но я другая. Вот сейчас кажется, если не вырвусь в Париж — хоть под поезд бросайся… Простите меня… Я очень бы хотела быть хорошей дочерью…

Марина понимала свой странный изъян, проявившийся рано: потребительское отношение к людям. Они были интересны ей до тех пор, пока давали ей нечто полезное для нее — не утилитарно-материальное, а духовное. Причем, не навязывая своих забот, не втягивая в свою чаще всего примитивную игру. Они были интересны как противники в борьбе тщеславий. А самое большое, что могли дать ей — преклонение и умный, искренний восторг. Марина с самого начала умела отличать фальшивку от драгоценности, острый ум никогда не дремал, даже когда вступал в соперничество со страстями.

Коллеги по службе вразумили профессора, что с девицами в этом возрасте просто сладу нет — уж лучше поскорее замуж отдать. Так тут разве заикнешься?

«Я жажду сразу всех дорог»

…Париж — город влюбленных, город той нежности, фарфоровой минуэтности, тех шарманочных романсиков и аккордеоновых вальсков, считавшихся, как сейчас сказали бы, «гламуром» в доме Цветаевых. То есть — пошлостью, дурным тоном, развлечением для горничных. И вот оказались они не противны душе Марины, не пахли дешевыми пачулями и развратом, а мутили душу щемящей печалью, с налетом пыли прощания, ветшания. Ныло все существо, как прищемленный дверью палец. Марина не могла понять, что за чувство душило ее. Гробница Наполеона ужаснула холодной полированной огромностью. Нет, это всего лишь громоздкая бутафория. Прах Мариниого героя на острове св. Елены.

На спектакль «Орленок» она взяла браунинг, якобы собираясь застрелиться прямо в зале (по версии Аси). Но шок от увиденного сбил трагический настрой. Саре Бернар было в ту пору 65 лет, ей недавно ампутировали ногу, и она мужественно двигалась на протезе. Причем — в белом узком мундире и офицерских рейтузах! Увы, это было трагикомично и могло сойти лишь как памятник актерскому героизму… Марина выкинула браунинг в Сену. Было или не было — неизвестно.

Бродила и сочиняла, как когда-то в Тарусе. Привычная с детства тоска о прошлом слилась с юношеской — тягучей, невнятной. Реальность казалась призрачной, неопределенной — туманные очертания ненужного бытия. Париж не развеял муки — в нем не было Наполеона. Случилось то, что будет преследовать ее всю жизнь — «НЕВСТРЕЧА». И что она, будучи уже зрелым человеком и мастером, однозначно предпочтет ВСТРЕЧЕ. Только до этого надо было еще дорасти, *до*мудреть. Шестнадцати лет, не

уяснив для себя природы мучившей тоски, она писала:

Дома до звезд, а небо ниже,
Земля в чаду ему близка.
В большом и радостном Париже
Все та же тайная тоска.
В большом и радостном Париже
Мне снятся травы, облака,
И дальше смех, и тени ближе,
И боль как прежде глубока.

Стихи еще не выдают возможности Марины-поэта. Интересны они лишь тем, что именно в них впервые пробивается у Цветаевой предчувствие любви нормальной — ответной, не в одну сторону — не вариант Наполеона, Пушкина, Черта. Когда необходим не только любимый — любящий. Пока таковой не нашелся ни в Париже, ни в Москве. А ведь в Москве в жизни Марины уже были изрядные волнения. Но долго придется ей проигрывать в любовных дуэлях, прежде чем она поймет: «Судьба дала ей навсегда роль любящей, а не любимой».

Еще до поездки в Париж у Марины и Аси появился взрослый друг: поэт Эллис — Лев Львович Кобылинский. Переводчик Бодлера, один из самых страстных ранних символистов, Эллис был человеком довольно странным. Лев Львович блестяще окончил Московский университет по кафедре экономики, получил предложение остаться при университете, но, увлекшись идеями символизма, разочаровался в экономике и в марксизме, привлекавшими его в юности. Он отказался от всякой карьеры, жил случайными литературными заработками и часто бывал просто голоден. Смыслом его жизни стали поиски путей для духовного перерождения мира, для борьбы с Духом Зла — Сатаной, который, по теории Эллиса, распространялся благодаря испорченности самой натуры человека. Алебастровое лицо со смоляной, как будто ваксой выкрашенной бородкой, ярко-красными, «вампирьими» губами казалось грубо загримированным. В остро-зеленых загадочных глазах таилась склонность к необычному: к путешествиям в иные миры, к контактам с внеземными силами. Эллис жил в меблированных комнатах у Смоленского рынка, где всегда были зашторены окна и горели свечи перед портретом Бодлера и бюстом Данте. Он обладал темпераментом агитатора, вдохновенно импровизируя, строил целые фантастические миры, черпая из кладезей мифологии, литературных вымыслов и вещих снов. В доме Цветаевых поклонник Бодлера нашел теплый гостеприимный

угол и две девичьи головки, ждущие вдохновенного дурмана.

В темной гостиной на диван усаживалась странная троица: две девицы нежного возраста — шестнадцатилетняя Муся и четырнадцатилетняя Ася — в молчаливом трепете слушали расположившегося в центре загадочного брюнета. Над диваном темнел большой портрет Марии Александровны в гробу. Мерцание свечей создавало необходимую атмосферу для общения с миром теней.

Большой человек в смоляной бороде плел кружева фантазии, поэзии, пророчеств, изобилующих полетами в райских кущах и падениями в демонические бездны, мифическими животными, сказочными персонажами.

На какое-то время Эллис стал для сестер Волшебником зачарованных стран, а для него дом в Трехпрудном — одним из уютных углов, куда забрасывала его неустроенная жизнь.

Вечера и даже целые ночи, как завороженные, девочки слушали вдохновенные монологи Волшебника, следовали за ним в его безудержных фантазиях, сами сочиняли сказки, посвящали его в свои сны, которые Эллис удивительно умел толковать. Часто под утро сестры отправлялись провожать Эллиса по тихим московским улицам. Наивно пытаясь помешать таким проводам, отец уносил из передней пальто дочерей. А потом видел из окна, как Ася и Марина, на извозчичьей пролетке, без пальто и шляпок, С развевающимися волосами, ехали провожать гостя…

Высший накал этой дружбы пришелся на весну 1909 г., когда Иван Владимирович уехал на съезд археологов в Каир и Марина с Асей остались дома хозяйками.

Можно представить, с каким подтекстом прозвучит эта фраза в начале XXI века. Разочаруем поклонников «Лолиты» — чернобородый фантазер не был совратителем, всех троих связывала совершенно платоническая дружба, в которой даже в поэтической форме эротическая тема затрагивалась весьма осторожно.

Необычность Марины нельзя было не оценить. Розовощекая девочка блистала недюжинным взрослым умом, иронией, смелостью, ярким талантом. Читала Эллису свои переводы Ростана, внимательно, с последующей точной оценкой слушала его сочинения и стихи новых поэтов. Все трое серьезно обсуждали свои сочинения, а он даже посвятил Асе и Марине стихи!

Дружба втроем должна была как-то разрешиться. И разрешилась.

Запершись вдвоем в кабинете отсутствующего отца, Марина и Эллис бурно что-то обсуждали, ходили, роняли стулья. Ася, дежурившая у двери гостиной, вся извелась от неизвестности.

Двери распахнулись. Марина вырвалась в гостиную — щеки в пятнах, пенсне в руках, в глазах, совершенно зеленющих, смесь обиды и торжества. Тишина, затем хлопок двери в передней, в которую стремглав вылетел Эллис.

— Он ушел навсегда, — доложила Марина Асе и громко разрыдалась.

— Что там у вас случилось, что за секреты? Он говорил обо мне?

— Нет… — Марина рыдала.

— Когда вы закрылись там и стали шушукаться, я подумала, что разговор пойдет обо мне. Он всегда так на меня смотрел… так особенно… Я имела основания предполагать… И я, ты же знаешь, я ему стихи посвящала! — Ася скривила губы и готова была тонко по-детски заныть обычное «ы-ы-ы».

— Не устраивай истерик! — оборвала ее Марина, внезапно прекратив рыдания. — Он смотрел на всех одинаково. Даже на папа. Но я старше, и он… Эллис, вероятно, решил, что я могу составить его счастье. Так и сказал: «составить счастье»! Представляешь?!

Ася все же затянула тоненько:

— ы-ы-ы-ы…

— Совершенно необыкновенный умница! — горестно заметила Марина. — Да таких вообще нет, — глаза Марины засверкали торжеством. Внимание настоящего поэта, взрослого, льстило женской гордости Марины. Но замуж — какой ужас!

В кругах молодой интеллигенции тех лет супружество проходило по статье дремучего мещанства и носило привкус некой домостроевской пыли. Эрос — это одно. Супружество — другое, беспросветный мрак. Но ведь как он смотрел на нее! Как смотрел!

Марина торжествовала победу, ее глаза сверкнули изумрудом. От этого тоже плакала Ася. Всхлипывая, вставляла слова:

— Ты согласилась выйти замуж?! Ты… ты так кричала. Что он, он тебе еще сказал?

— Он бесновался! — Сообщение прозвучало с явным торжеством, и Ася приняла его за согласие.

— Дура, дура! Согласилась! Какой он муж! Замужество — это преступление!

— Я сказала ему, что он предлагает мне пошлости! Само слово «жених» — уже сплошное неприличие. А «муж» и не слово уже, а вещь, вроде веера, пеленок, кадрилей каких-то… Борщом пахнет и адюльтером… Нет, это просто невозможно.

— А он что?

— Он говорил, что брак — это вовсе не мещанская пошлость, а священный и мистический союз душ. И наши души как раз… — Марина протянула сопевшей Асе платок, — сошлись для блаженства.

— Глупости! — явно возликовала Ася. — Брак — это домострой! Купечество какое-то! Я бы — ни за что! За него — никогда! Губы, как у вампира!

— И я — ни за что! — сестры обнялись, дружно, примирительно сопя.

— Ась, а все же жалко… — шепнула Марина в мокрое от слез ухо сестры. — Жалко, такая возвышенная дружба была.

Однако эта история не испортила их отношений с Эллисом. Он ввел Марину, еще гимназистку, в московский литературный круг. Он был в числе организаторов возникшего в начале 1910 г. издательства «Мусагет», ставшего заметным центром литературной жизни тогдашней Москвы. Эллис взял у Марины стихи для задуманной «Мусагетом» «Антологии». Марина торжествовала — такая честь печататься рядом с величайшими из величайших: Александром Блоком, Вячеславом Ивановым, Андреем Белым, Михаилом Кузминым, Николаем Гумилевым! Да еще и быть среди них самой молодой.

«Антология» появилась летом одиннадцатого года, но еще осенью десятого Марина тайно от отца выпустила книгу собственных стихов «Вечерний альбом». Толкнула ее на этот поступок опять же любовь.

* * *

Владимиру Оттоновичу Нилендеру было двадцать шесть. Марине — семнадцать. Восторженный юноша, со священным трепетом трудился над переводом гимнов Орфея и фрагментов Гераклита Эфесского. Как и Марина, он жил поэзией, был знатоком, исследователем и переводчиком античности. Дружба завязалась сразу. Нилендер открыл Цветаевой мир античной поэзии, «подарил» Гераклита, Орфея, образ которого стал ей родным и тема которого в разных вариациях многократно звучала в ее поэзии.

Нилендер произвел настоящий переворот в жизни сестер — именно он, как призналась Марина, стал ее первой любовью. В этой фразе — полуправда, лишь запутывающая ситуацию. Ася заметила сразу, что Нилендер был увлечен Мариной. И Марина как бы отвечала взаимностью. Однако роман не состоялся. Снова помешал тот же камень преткновения — физическая близость,

назови ее хоть браком, хоть связью. Марина тяготилась одиночеством, ее влекло неведомое упоение близости. Но замужество! Это уж слишком. И, кроме того, — совершенно пошло. Но понравиться молодому человеку, очаровать его ей очень хотелось. Они переписывались, назначали свидания, Марина ждала, ревновала, то есть присутствовали все необходимые атрибуты, дабы решить: первая любовь пришла! О, как она мало знала еще про свою любовь, совершенно загадочную, разгадке которой она посвятила всю свою жизнь, о которой не уставала писать.

Еще в 6 лет, прочтя «Евгения Онегина», Марина влюбилась в саму любовь.

«Скамейка, на которой они (Онегин и Татьяна) сидели, оказалась предопределяющей. Я ни тогда, ни потом никогда не любила, когда целовались, всегда — когда расставались… эта первая моя любовная сцена предопределила все мои последующие, всю страсть во мне несчастной, невзаимной, невозможной любви. Я с той самой минуты не захотела быть счастливой и этим себя — на нелюбовь — обрекла… У людей с этим роковым даром несчастной любви — единоличной — всей на себя взятой — любви, — прямо гений на неподходящие предметы».

Это написано много позже, взрослой, много испытавшей женщиной. Марина утверждала, что чувство любви существовало в ней с тех самых пор, как она начала сама себя помнить, и что она отчаивается определить, кого «самого первого, в самом первом детстве, до-детстве, любила», и видит себя «в неучтимом положении любившего отродясь, — *до*-родясь: сразу начавшего с второго, а может быть сотого…».

Каким по счету после кормилицы, щенка, воробья, Пушкина, Наполеона и прочих объектов нежных чувств стал Нилендер? Не важно. Но он был объектом вполне достойным первой юной романтической и поэтической любви. Зная Марину более взрослую, можно сказать — не любви, а всего лишь увлечения, причем в четверть силы. Но откуда ей было знать тогда? Все было как у обычных барышень: письма, свидания, слезы, ожидание встречи…

— Владимир Оттонович… — Марина положила руку на спинку дивана, и он осторожно взял ее в свою. Стал смотреть с мольбой в глаза. Карие большие глаза в обрамлении пушистых ресниц были совсем близко.

Марина нахмурилась:

— Вы похожи на нашего пса Рамзеса, когда он ватрушку выпрашивает.

— Простите, если насмешил.

— Я не смеюсь. Я боюсь. У вас такое лицо, что вы собираетесь делать мне предложение… Вот… — Марина удивилась, отчего в такой торжественный момент у нее не остановилось сердце. Ну, хотя бы как-то кольнуло. Владимир отшатнулся, выпустил ее руку. Густые брови насупились с возмущением:

— Марина Ивановна] Да как вы могли только обо мне такое подумать! Это же чистое безумие, это преступление! Разве я способен! И кому — вам?! Вам предложить брак?! — виновато бубнил он, глядя пылко в глаза, так, словно вымаливал любовь до гроба. — Счастье, это огромное счастье, что мы думаем одинаково! Бели бы один из нас был хоть чуточку безумнее или преступнее другого, то позволил затянуть самого дорогого человека в трясину неизбежной пошлости, гниения чувств, гибели всего самого лучшего! А вы представляете последствия? Ведь могут появиться дети!!

Они с Нилендером решили не встречаться.

Какая боль! Сердце сейчас разорвется! Он ничего не понял в ней. Ничегошеньки… Не супружество, а долгая, глубинная, выворачивающая все уголки личности дружба — вот что сейчас надо Марине! Ведь главное — он должен ЗНАТЬ, КАКАЯ она. Ощутить весь ее ум и неповторимую прелесть, быть сраженным ею и остаться с этим потрясением одиноким на всю жизнь, на всю жизнь — ее рыцарем!

Марина находит решение — не беседа на скамейке в парке, не письмо взволнованной девицы — альбом стихов — исповедь в последней инстанции и в том музыкальном тоне, который ей удавался лучше всего. Собрать самое дорогое, что накопилось за эти годы, и дать ему.

В один из осенних дней 1910 года она направилась в Леонтьевский переулок, где помещалась типография А.И. Мамонтова. Марине едва исполнилось 18, а гимназисткам и вовсе не разрешалось печатать труды без специального разрешения. Инцидент разрешился, Марина заплатила за печать 500 экземпляров (вполне хватило денег, сэкономленных «на извозчике») и через месяц держала в руках довольно грубую книгу в картонном переплете цвета «морская волна» с золоченым тиснением «Вечерний альбом». Затем она отправила книгу самому Брюсову «с просьбой посмотреть», Волошину, в издательство «Мусагет», а главное — Ему!

«Взамен письма к человеку, с которым лишена была возможности сноситься иначе», Цветаева направляет ему целую книгу. Она правильно определила «формат» послания. Стихи легко вмещают то, что порой трудно или вовсе невозможно

сказать с глазу на глаз. В стихах она сама Истомина, «одной ногой касаясь пола, другою медленно кружит… и вдруг — прыжок, и вдруг — летит…», нимфа, богиня. Куда девается застенчивость, неуклюжесть. Слова льются из «сердца в сердце».

Ты мне памятен будешь, как самая нежная нота
В пробужденье души…

Или:

По тебе тоскует наша зала,
— Ты в тени ее видал едва —
По тебе тоскуют те слова,
Что в тени тебе я не сказала…

Книга молоденькой поэтессы, трогательная своей искренностью, отсутствием позы, претенциозности, которыми так часто грешат поэтессы, имела большой успех.

Первым откликнулся Максимилиан Волошин. Он прибыл в Трехпрудный без предупреждения. Через 32 года Марина вспоминает:

«Звонок. Открываю. На пороге цилиндр. Из-под цилиндра лицо в оправе вьющейся недлинной бородки.

Вкрадчивый голос:

— Можно видеть Марину Цветаеву?

— Я — Марина Цветаева.

— К вам можно?

— Очень!»

Максимилиан Волошин — известный критик, поэт, живущий большей частью в крымском Коктебеле, привез статью о Маринином «Альбоме», изданную уже месяц назад. Он пристально приглядывался к девчушке, был удивлен черным чепцом, который она носила после кори. Попросил снять, осмотрел бритую голову, похвалил форму черепа, подходящую для поэта. Затем попросил снять очки — «потому что, знаете, ничего так не скрывает человека, как очки.

— Но предупреждаю вас, что я без очков ничего не вижу.

Он спокойно:

— Вам видеть ничего не надо, это мне нужно видеть.

Отступает на шаг и созерцательно:

— Вы удивительно похожи на римского семинариста. Вам, наверно, это часто говорят.

— Никогда. Потому что никто не видел меня бритой».

«И вот беседа — о том, что пишу, как пишу, что люблю, как люблю — полная отдача друг другу, вникание, проникновение, глаз не сводя с лица и души другого…»

За отзывом Волошина на сборник посыпались рецензии. Сравнивая Цветаеву с женщинами — поэтессами предыдущего поколения, Максимилиан утверждал, что ни у одной из них эта женская, эта девичья интимность не достигала такой наивности и искренности, как у Марины… Брюсов выделял книгу Цветаевой из огромного потока сборников начинающих авторов, хваля за тепло правдивости, откровенность, так не свойственные современным молодым поэтам.

Гумилев тоже отметил интимность стихов Цветаевой, например, рассказ о детской влюбленности; непосредственное, бездумное любование пустяками жизни. Казалось, ясно, что на горизонте русской поэзии появился поэт, непохожий на других и никому не подражающий.

Марина не ждала таких откликов, сиять звездой на поэтическом небосклоне пока не притязала. Хотя мнение о своих стихах она имела достаточно высокое. Сейчас ей было необходимо самоутверждаться, взрослеть, вопреки круглым щекам и облику мальчика-подростка. В семнадцать лет она начала курить и пристрастилась к рябиновой настойке — прячась от отца, которого старалась щадить, несмотря на множество приносимых ему огорчений. Бутылки из-под настойки Марина выбрасывала в форточку, не думая о том, что эта улика будет валяться возле самого крыльца. Наивная девчонка, эта умница Марина. Или ей просто, как говорят ныне, «фиолетово»?

Нежелание учиться, пренебрежение общепринятыми правилами жизни отнюдь не отрицало редкой трудоспособности и серьезного отношения к делу — к писанию. Она неустанно работала: читала, писала, переводила.

Марина ушла в работу, проявляя редкую самодисциплину — признак подлинного призвания. Между ней и Волошиным возникла литературная дружба: Волошин пытался приобщить Цветаеву к книгам, которыми сам тогда увлекался, она писала и говорила ему о том, что она любит. Уже весной 1911 года Цветаева пишет Волошину из Гурзуфа письма, полные доверчивой откровенности.

«Я смотрю на море — издалека и вблизи, опускаю в него руки — но все оно не мое, я не его. Раствориться и слиться нельзя». Тема невозможности слияния, разделенности двух сущностей, станет постоянной в творчестве Цветаевой. Ее главной мукой в работе и в жизни. Этой максималистке и эгоцентристке, постоянно бросающей вызов смерти, никак не удавалось разбить

границу разобщенности между людьми. Границу вражды, пролегающую между душой и плотью. Ведь если и предусмотрела природа моменты полного слияния двух особей — так это в акте любви. Маринин опыт пока говорит о том, что граница плоти враждебна. Она не пыталась и даже не имела желания ее нарушить.

В письме она задает Волошину и самой себе вопрос: «Значит, я не могу быть счастливой?» И, наконец, у нее вырывается признание, открывающее тайну главной беды: «Остается ощущение полного одиночества, которому нет лечения. Тело другого человека — стена, она мешает видеть его душу. О, как я ненавижу эту стену!»

Страстной, пылкой, огненной Цветаевой, исследующей любовь в фазе ее наивысшего горения, как оказалось, мешало тело. Телесная близость искажала духовную, мешала общению на уровне душ… Ей только восемнадцать — впереди жизнь со всеми ее неожиданностями. Она не знает, что совсем рядом море, солнце, Коктебель и рвущийся к ней рыцарь Сергей. Что так близка к осуществлению ее молитва, завершающая «Вечерний альбом»:

Дай понять мне, Христос, что не все только тени,
Дай не тень мне обнять, наконец!

Он обнимал ее бережно, едва касаясь, словно держал мотылька или эльфа.

— Тебе не холодно?

— Мы ж как в печке! Эта старая баранья шкура хранит тепло всех солнечных дней с тех пор, как была ягненком.

Накрывшись меховым одеялом, они сидели на деревянной веранде дома Макса под бледными звездами, благодаря Елену Оттобальдовну. Покровительница влюбленных бросила юной паре расшитые подушки и свалявшуюся баранью шкуру, от которой пахло дымом и шашлыками.

— Подумать только — мы родились в один день, только ты на год позже. Разве это не удивительно? — Марина легко скинула со счетов три дня, разъединявшие даты их рождений. Такой пустяк при невероятном количестве совпадений!

— Поверить не могу, что мы знакомы два дня! Это вообще… вообще… нереально!

— Здесь все нереально. Вчера, едва я только дотряслась сюда на арбе из Гурзуфа, сразу почуяла — другой свет. И цвет, и воздух. И все движется по-другому: горы, море, равнины — словно описывают вокруг тебя круги, как планеты вокруг солнца. Думаю, это потому, что здесь все — настоящее. Не декорации.

— Священный день пятого мая! Я бродил с утра, как перед боем, в белой крахмальной рубашке и ждал чего-то невероятного.

— А ведь я могла бы еще месяц торчать в Гурзуфе! Скажи спасибо Максу — очень уж звал.

— Все же судьба есть. Или провидение — оно ведет за руку, и никуда уже не денешься. Когда я первый раз попал сюда, в Коктебель, почему-то определил для себя «пуп земли». И ничему уже не удивлялся.

— Знаешь, что меня сразило? — Марина вскочила, изображая персонажей рассказа: — Макс представил мне: «Это моя мама». Я окаменела: «седые отброшенные назад волосы, профиль Гете с голубым глазом. Белый, серебром шитый длинный кафтан, синие по щиколотку шаровары, казанские сапоги. Переложив из правой в левую дымящуюся папиросу, кивнула: «Здравствуйте!» — голос Марины и впрямь приобрел низкие носовые звуки, а профиль — нечто гетевское.

— Здорово показала! Точно! — Сергей заискрился радостью. — А Макс выглядел совершеннейшим фавном — белый балахон, подпоясанный веревкой, буйная грива перехвачена жгутом из полыни, босой… И бородища рыжая, и глаза —

добрейшие! Оживший миф… А ты… Ты волшебница.

— Фея Заветных желаний! — Марина усмехнулась выспренному определению. Так, как они общались с Сергеем, ей еще не приходилось общаться ни с кем. — Ух, как же меня всегда тошнило от пафоса и нежностей. Восторженные вопли, все эти «сюсю-мусю»! Аську колотила. Не выношу фальшь, сюсюканье…

— Я слишком восторженный? Да? — детский испуг Сергея рассмешил Марину.

— Ты — это ты. Единственный экземпляр. Ты — чистейшей воды искренность. Родник.

От Сергея исходило столько открытой нежности, восхищения, явного преклонения! И эти постоянно светящиеся восторгом очи, эти всплески эмоций, восклицания, радость щенка, нашедшего хозяина. Марина сразу поняла — он не фальшивит, а потому запас ее обычного ядовитого насмешничества испарился. Ей тоже хотелось любезничать, быть очаровательной и — о, Господи! — счастливой!

Снизу раздавались смешки и ленивое тявканье собачьей своры, подающей голос для порядка, ведь еды в такой час все равно не выклянчить.

— Это мои хвостатые друзья! Они сразу приняли меня за свою — прическа такая же. Жуткие патлы, — Марина взъерошила отрастающие волосы.

— Самые лучшие и нежные волосы. Золотые… — он провел ладонью по ее затылку. — Ты не можешь не нравиться. Ты открытая, вся прозрачная. Мои сестры Вера и Лиля тебе симпатизируют.

— Вот обидно будет разочаровать! — Марина затянулась новой папиросой. — Я злая, упрямая, грубая, могу надерзить кому угодно.

— Даже городовому?

— В особенности.

— А мне?

— Никогда. Ты понимаешь главное: я застенчивая до чертиков. И самое трудное в таком случае — быть ласковой, нежной. Хмурой и резкой — легче.

— Твоя мама воспитывала вас как мальчиков, без девчачьих нежностей.

— Верно. И я такая получилась — кремень. Но мне все время хочется гладить твои волосы и сочинять про тебя. Вот строфа крутится:

Ребячлив рот его, углами вниз.
Мучительно-великолепны брови.

В его лице трагически слились
Две древних крови…

— Конечно, все еще буду переделывать. Но уже звучат: бум-бум-бум-бум…

— Чудесно звучат… Но почему «трагически»? Мне совершенно не мешают мои причудливо скрестившиеся предки.

Марина взглянула косо, прищурившись:

— Крещеный полуеврей — это в России всегда было как-то неудобно. И потом, Сереженька, ну не рождаются такие люди в обычные времена, без плах, подвигов, жертв.

— Верно! Я всю жизнь жаждал подвига! Семья что ли такая — все в герои «призваны». Если какая-нибудь каша заварится — в скобяной лавке приказчиком отсиживаться не буду. Ведь если Россия — твоя родина, то любовь даже сильнее от этих коктейлей получается. Как бы за две древние крови! — Он отбросил пятерней волосы с высокого лба. Марина засмотрелась.

— Нет, ты не понимаешь:

Раскрасавчик! Полукровка!
Кем крещен? В какой купели?

Разве не звучит?

— Насчет красавчика немного смешно. — Он взял Маринины запястья, рассматривая бег синих жилок. — Ты так точно сказала:

Солнцем жилки налиты — не кровью —
На руке, коричневой уже.
Я одна с моей большой любовью
К собственной моей душе.
Жду кузнечика, считаю до ста,
Стебелек срываю и жую…

— Странно чувствовать так сильно и так Просто Мимолетность жизни — и свою.

— Верно-то как: не кровью, а солнцем! Солнцем! Я весь свечусь и пылаю. — На его глаза навернулись слезы. — Запомни навсегда — никто тебя как поэта лучше меня понимать не будет. Не сможет просто. Потому что для этого родился Я! И второе — что бы ты ни сделала — ты сделала правильно. Обсуждению не подлежит.

— Это клятва? Тогда и я клянусь. — Марина подняла лицо к

самой яркой звезде: — Ты всегда прав, что бы ни сделал. Потому перед звездами, перед всем Мирозданием Волошинским, Карадагом грозным клянусь — верю и буду верить в твою правду, в твое благородство, рыцарство до последнего дня!

…Звезды подмигивали и усмехались — уж они такого насмотрелись: молодых людей во все времена, хлебом не корми — дай поиграть в священные заветы и клятвы — глубину души самоотверженностью измерить. А игры оказываются настоящей жизнью. И тогда именно становится понятно — кто кого пересилит — малость души клятву не вместит, или душа примет клятву и будет светиться ею, как все эти звезды.

…На следующий день, едва поднялось солнце, бродили по горам. Марина в босоножках и синих шароварах — здешней спецодежде. Легко, быстро ходившая, она без затруднений отмахивала километр за километром. Сергею такой марафон давался с трудом.

— Привал. — Марина устроилась в тени и тут же закурила новую папиросу, которые вечерами сама набивала. Пытливо глянула на Сергея, всеми силами скрывавшего одышку.

— Так, по-моему, насчет пользы пеших прогулок ты сказал мне неправду.

— Правду! Я не вру. Никогда, — покраснев, он опустил глаза. — Мне очень полезны прогулки у моря.

— Какая же я дура! У моря, но не по горам! Броди по пляжу, больше я тебя сюда не потащу. — Она и не заметила, как взяла ответственность за него: взяла в сыновья.

— Я так говорю всегда, словно задыхаюсь, это потому что тороплюсь высказать мысль. И потом… мне люди в основном сразу симпатичны, и от этого… От этого волнения дух захватывает.

Сергей в самом деле говорил с легким придыханием и немного восторженно — то ли близостью Марины, то ли моря, то ли всех чудес сразу он был обязан этой легкой нотке взволнованности, напору восторга. Позже Марина уже и представить не могла Сергея, говорящего со спокойным равнодушием, рассказывающего нечто без сверкания глаз и радостной скороговорки.

— Коктебель — сумасшедшая экзотика, особо для тех, кто предпочитает Капри. Елена Оттобальдовна большая оригиналка.

— У нее чутье на небанальности. — Марина выпустила сизые кольца дыма, растворявшиеся в прозрачном воздухе.

В самом деле, мысль осваивать Коктебель могла прийти в голову человеку отчаянному и экстравагантному, каковой и была вдовствующая матушка Максимилиана. Место безводное, лысое,

почти безлюдное с крошечной татарско-болгарской деревенькой, громоздящейся на каменистых уступах, мало напоминало крымский курорт. Нужен был особый склад души, чтобы полюбить эту «трагическую землю», напоминающую о сотворении мира. Елена Оттобальдовна, которую даже дети звали «Пра», от «Праматерь», слова, оставшегося после какой-то мистификации, — ходила в кафтане, шароварах и мягких татарских полусапожках.

От нее подхватили моду на шаровары другие гостьи — ведь так удобнее лазить по скалам и взбираться по горным тропинкам!

Мать Волошина купила участок у самого моря и постепенно выстроила необычных очертаний дом — крепость для странников, желающих в ней укрыться.

С годами дом Волошиных в Коктебеле начал «обрастать» людьми, склонными к оригинальности. За комнаты в своем доме Елена Оттобальдовна брала чисто символическую плату, питались в складчину или ходили за две версты в столовую к «добродушнейшей женщине в мире», как вспоминала Цветаева. Было единственное кафе «Бубны» — нечто вроде дощатого сарая, расти санного коктебельскими художниками и поэтами. Здесь можно было съесть горячий бублик, выпить настоящий татарский или турецкий кофе, даже купить шоколад.

Еще зимой Волошин пригласил Марину и Асю провести в Коктебеле лето 1911 года. И вот, позагорав месяц в Гурзуфе, проехав около восьмидесяти километров на певучей арбе по дебрям Восточного Крыма — Марина оказалась в этой мифической, сказочной, чудесной, ни на что не похожей стране — Коктебель. Одним из первых, кого Марина встретила здесь, был Сережа Эфрон. А дальше случилось то, что, видимо, должно было случиться: мера счастья, мера любви, мера трагедии выпала им сполна. Сложный ход выбрала судьба, противопоставляя понятия «Преданность» и «Предательство».

Они узнали друг друга. Сергей сразу и навсегда понял, до глубины осознал особость Марины, ее ни с кем не схожесть. Марина ощутила то, что больше всего ценила в людях — чистоту, верность, чувство чести. А потребность в защите, так заметная в Сергее, подбросила в костер ее влюбленности разом воспламенившееся сочувствие и милосердие. Марина сразу взяла на себя роль старшего, вожака, наставника. Это было мгновенное чувство взаимной любви, не рвущейся к иному обладанию, кроме слияния душ.

Из Коктебеля Марина и Сергей решили поехать в уфимские степи, где Сергей должен был пить кумыс, как уверяли, помогавший при туберкулезе.

Уехали они как супружеская пара. Но в этом определении не было главного — маленькой детали — близости плоти. Не выходило окончательное сближение так просто — не палило огнем, не бросало в костер желания. Да ведь и не венчаны еще — какие тут могут быть сомнения. Хоть и не рьяные православные, а грех.

Никто не берется толковать тему близости Сергея и Марины. Но вообразить плотскую страсть двух юных девственников без всякого опыта, а главное — полюбивших друг друга на такой высокой ноте, что всяческая плоть между душами — уже помеха, — трудно. Другое чувство сияло тут — намоленная радость встречи:

Наконец-то встретила
Надобного — мне:
У кого-то смертная
Надоба — во мне.
Что для ока — радуга
Злаку — чернозем —
Человеку — надоба
Человека — в нем.
Мне дождя и радуги
И руки — нужней
Человека надоба
Рук — в руке моей.

Эти стихи написаны Мариной много позже другому — случайному в бурном течении ее чувств — человеку. На самом деле они о Марине, о ее неизбывном чувстве надобы — потребности в близком человеке. Человеке — неизменно нуждавшемся в ней, в поддержке ее руки. Истинным адресатом этих строк до конца своей жизни, несомненно, оставался Сергей.

Уже из башкирских степей Цветаева писала М. Волошину: «Со многим, что мне раньше казалось слишком трудным, невозможным для меня, я справилась, и со многим еще буду справляться! Мне надо быть очень сильной и верить в себя, иначе совсем невозможно жить!..Странно почувствовать себя внезапно совсем самостоятельной. Для меня это сюрприз — мне всегда казалось, что кто-то другой будет устраивать мою жизнь…»

Мрачная, ироничная девочка, всегда готовая ощетиниться, укусить противника, преобразилась. Непреклонный эгоизм вдруг превратился в свою противоположность — жажду самопожертвования во имя другого. И кусать, ну совершенно, никого не хотелось!

Марина ринулась заботиться о Сереже с первых дней знакомства, ведь он был еще мальчиком, к тому же с отрочества болен туберкулезом. «Старшинство» сделало ее самостоятельной и свободной. А ей только что исполнилось девятнадцать лет.

«Да, в Вечности — жена, не на бумаге»

Юность началась счастьем — словно распахнули окна в весеннее, залитое солнцем утро. В начале октября в Трехпрудном был устроен семейный обед в весьма расширившемся составе и с серьезной повесткой дня: приехала шестнадцатилетняя Ася с женихом, уже ожидавшая ребенка, жениха намеревалась представить отцу и Марина.

Стол накрыли в столовой по праздничному этикету — две сестры Сергея Вера и Лиля помогали хозяйничать.

Все перезнакомились, смолчав пока, что гимназист Эфрон — жених. А хрупкая Асечка ждет ребенка от молчаливого паренька Бориса, с которым тоже намерена сочетаться браком. И главное, хоть язык проглоти — как сказать, что уезжают они все из Трехпрудного и подготовлен уже к житью дом в Сивцевом Вражке.

О беременности Аси решили смолчать — не добивать же отца. Начали подступать потихоньку к другим грядущим переменам. А тут Марина со всего маха рубанула:

— Папочка, а я замуж выхожу! — и на руке Сергея повисла — счастливая. Уверена была — не может Сергей отцу не понравиться. Иван Владимирович, тихо охнув, осел на стуле.

Потом уже, после паузы на перекуры, слезы, глотание капель, принялись за чаек и постепенно и обстоятельно поговорили. Сергей, несмотря на то что был, очевидно, молод для брака, будущему свекру пришелся по душе. Не мог не прийтись, он всем нравился — чистотой и подлинностью веяло за версту, как с омытого дождем луга.

— Ну почему, почему вы со мной не посоветовались? Не отец что ли? Пришли — и нате: «замуж выхожу»! Что я — варвар какой-то, счастье дочери заедаю… — губы Цветаева дрожали от обиды.

— Но, папа, как же я могла с вами советоваться? Вы бы непременно стали меня отговаривать.

Иван Владимирович опустил голову:

— Так дела в приличных семьях не делаются, вот, что я вам скажу. Вначале, плох отец или хорош — советуются. А тут — вовсе я и не нужен стал! Обида эта отцу, вы понять должны. — Он вздохнул, покачал головой. — На свадьбе вашей я, конечно, не буду. Нет, нет, нет. И не просите.

Разговор замяли, а после уж Иван Владимирович сам поинтересовался:

— Ну, а когда же венчаться думаете?

Отец не мог не заметить, как переменилась Марина — ни разу не огрызнулась, не ощетинилась. На отца смотрела виновато и с любовью. И хороша! Волосы отросли, вьются, глаза сияют. Да! Вот коза: очки-то выкинула. Взгляд от того мечтательный, ни за что особо не цепляющийся — загадочно витающий — поэзия и очарованье.

* * *

Венчание Марины Цветаевой и Сергея Эфрона состоялось в конце января 1912 года. Иван Владимирович подарил новобрачным старинную икону — из мерцающей темноты глядели в мир строгие очи Николая Чудотворца. Марина Сергею — серебряный подстаканник с его монограммой, жених — как и полагается, кроме прочего, кольца. На внутренней стороне Мариниого серебряного колечка выгравировано его имя. А на кольце Сергея — с вязью — размахнулось нестираемое «Марина». Венчанье не было данью традиции и пожеланием родни. Они и в самом деле хотели узаконить свой союз перед высотами силами, как бы они ни назывались. Но непременно добрыми, светоносными, спасающими и хранящими. Никаких противлении мещанской сути брака, пошлости супружества у Марины в этом случае не возникло. Да и с чего бы? Не было и тени сомнения, что две половинки одного существа должны объединиться — и плоть и дух возрадуются. Близость духовная перешла в физическую как бы сама собой.

Одной из свидетельниц на бракосочетании была Пра, которая, вопреки всем чинным правилам, в церковной книге неожиданно через весь лист размахнулась: «Неутешная вдова Кириенки-Волошина», внеся в торжественный обряд струю вольного коктебельского воздуха.

После застолья молодые отправились в свой дом и согласно чину впервые почувствовали себя «единой плотью» — мужем и женой. Никакого открытия не произошло — одна нежность слилась с другою. Ни греховности, ни манкости тайны. О физиологии женских ощущений Марина не задумывалась. В дальнейшей жизни они будут только мешать ей, но родство с Сергеем было столь близким, отродясь данным, что все случилось так же естественно, как естественны и трепетны были поцелуи и нежные объятия.

После свадьбы началась интересная творческая жизнь. Сергей серьезно взялся за перо. Он писал и до встречи с Мариной, как большинство интеллигентных подростков. Но теперь, рядом с такой женой, просто уже не писать не мог.

Еще накануне свадьбы Сергей завершил рассказ, посвященный Марине. Назывался он «Волшебница». Героиня — семнадцатилетняя Мара, герой — семилетний Кира — любопытный мальчонка, очарованный прибывший в их дом странной гостьей.

Мара так же носит матроску, так же не выпускает изо рта папиросы, читает, как собственные, стихи Марины. Ночью в детской с двумя маленькими мальчиками она сочиняет сказку, рассказывает о своем детстве, о самом для себя важном… А они смотрят на нее с восторгом и понимают, что она и есть настоящая волшебница. Мальчик с «аквамариновыми глазами» пронес эту уверенность сквозь все превратности совместной жизни.

Молодая семья превращалась в писательскую: Сергей сочинял и стихи. Тогда они вместе придумали открыть издательство: почему бы не писать и издавать самим? Издательство назвали «Оле-Лукойе» в честь ночного доброго выдумщика из сказки Андерсена. В феврале в новом издательстве вышли сборник стихов Цветаевой «Волшебный фонарь» и книга рассказов Эфрона «Детство». Они могли себе это позволить: деньги, оставленные родителями, делали обоих обеспеченными и независимыми. На «Волшебный фонарь», как и на «Вечерний альбом», обратили внимание критики, но отзывы оказались не столь лестными.

— Это несправедливо! Это они от зависти, что ты не примкнула ни к одному литературному объединению, — чуть не до слез огорчился Сергей, целуя затылок Марины, вдыхая ее совершенно неповторимый запах. Он изначально понял — в Марине все особенное, и уж если выпало счастье быть рядом — наслаждайся! Ее профилем, склоненным над письмом, ее сильными руками, блеском рассыпавшихся волос. Ее язвительностью, отражающей всяческие выпады в неугодном ей направлении, категоричностью, с которой она отшвырнула сейчас статью с отзывом на «Волшебный фонарь».

— Не примыкала и никогда не примкну! Не люблю толкаться. — Марина прошла по комнате, заглянула в унылые зимние окна. — Я еще такое напишу! Вдохновенное.

— И я. Мы будем вдохновляться вместе.

— Причем, лучше уж поскорее! — она накрыла плечи Сергея нежнейшим бежевым плюшевым пледом — тоже отцовским подарком. — Мы пошлем их всех к чертям и уедем на солнышко!

В конце февраля Марина с Сережей уехали в свадебное

путешествие: недели две гуляли по Италии, побывали в Шварцвальде, жили в Париже.

— Я что-то не пойму — почему мне все так стало нравиться? Даже Париж! Милый дедуля играет вальс молодости моей мамы! Смотри — надо делать вот такой пируэт. — Марина закружила по набережной, раздувая колоколом шелковую юбку. Рядом, любуясь ею, шел Сергей.

— Эта ветхая декоративность, золотая кичливость дворцов. Озабоченность только лишь гедонистическим времяубийством. Чисто французский заносчивый сплин и разливанное веселье! То играют, — она бросила монетку аккордеонисту, — то поют. Вон пароходик какой смешной — настоящий жучок, а на нем матросики чуть ли не «Марсельезу» затянули. Куда вы смотрите? Вон там — под мостом! — Марина ткнула в нужном направлении пальцем. — Эх, прозевали!

Сергей смутился:

— Я на вас смотрел.

— Всегда — на меня! А главного не замечаете, — Марина натянула шелк на животе.

— Что?! Не может быть… Мариночка! — он подхватил ее на руки, закружил, тут же испуганно поставил:

— С ума сошел от радости. Вас же нельзя трясти.

— Нас можно. Мы с нашей дочкой — крепкие и храбрые!

— Боже, благодарю! — Он быстро крестился, посылая в небо умиленный взгляд. Потом развернул жену к себе лицом, крепко прижал к груди. Шептал в пахнущие «Корсиканским жасмином» волосы: — Счастье, счастье, счастье…

…В начале мая молодожены вернулись в Москву.

31 мая 1912 года состоялось открытие Музея изящных искусств имени Императора Александра III. Церемония проходила чрезвычайно торжественно: присутствовал сам Император Николай с дочерьми и матерью. Съехалась вся знать Москвы и Петербурга, и даже дождь прекратился, едва покапав.

Солнечный майский день, словно созданный для торжества, сиял свежестью. Экипажи, толпа, одетая строго по предписанному в приглашениях этикету: «дамы в белом закрытом, господа в вечерних туалетах».

Портик с изящной колоннадой, четко вырисовываясь на яркой синеве небес, словно парил среди флотилии напоминающих обломки Парфенона облаков.

— Сереженька, ты даже не представляешь — вот летит белый корабль в синеве, начиненный сокровищами. А в нем не история искусства только! В нем вся наша жизнь! Мать до последней секунды помогала музею и, умирая, последним голосом из

последних легких пожелала отцу счастливого завершения его (да и ее!) дела. Думаю, не одних нас, выросших, видела она в то мгновение…

— Нас всех. Я верю. — Сергей взял под руку мужа Аси. — Надеюсь, мы ей нравимся. Ну, постараемся сделать так, что бы ее девочки были счастливы.

— Что ты сейчас сказал? СЧАСТЬЕ! Боже, я же считала, что быть счастливой — вульгарно и пошло. И слово такое неприличное — счастье! — закинув голову, она, смотря в бездонную высь неба, в крыжовинных глазах отражался лет мраморных облаков среди синих проталин. Сергей неотрывно смотрел на жену, на ее высокий кружевной белый воротничок, в ободке которого покоился стебель великолепной шеи. А рассыпавшиеся, золотящиеся волосы, а глаза — умереть же можно… Нет, похоже, он никогда не насытится невероятным чудом быть рядом и видеть ЕЕ!

К музею прибывали экипажи с нарядными господами — титулованными, почтенного возраста, в сединах и орденах. На Марину, так звонко выкрикнувшую «счастье!», что с веток лип сорвались воробьи, обернулась дама в высоких седых буклях и посмотрела в лорнет. Ни с чем не сравнимое сокровище — юность — вот, что увидела она у стен белокаменного музея в образе расшалившейся молодежи. И загрустила, возненавидев вдруг свою новую диадему, драгоценные перстни, жабо из брюссельских кружев — все старания казаться значительной.

— Тебя лорнировала почтенная дама и сочла, что ты ведешь себя неприлично, — заметила Ася, — тоже в белом и закрытом.

— А я ее не вижу! — широко открыла близорукие глаза Марина. — Все сливается — только белое и золотое. Старое, дряхлое, ветхое, антикварное. Пыль веков.

— Перестань ехидничать, а то заставлю носить пенсне.

— Верно, Сереженька! Ведь я всю эту ветошь непременно вспомню, когда сама трухлявой стану. А сегодня ехидничать просто не имею права. Май! Праздник завершения огромного труда. Видеть предписывается только радостное. А чего все ждут?

— Прибытия духовенства и государя. Не дурачься, Марина! — Сергей сжал ее локоть. — Представляешь, как волнуется Иван Владимирович?

— Спрятался куда-то, бедняга. Просто не выносит помпезности и всяческого пафоса.

Когда свита во главе с Государем Императором ступила на красный ковер, покрывающий лестницу, Марине показалось, что Государь посмотрел на нее, и она заглянула в его глаза — «прозрачные, чистые, льдистые, совершенно детские». Это была ее

единственная встреча с царской семьей, единственное живое впечатление в безумном водовороте грядущих событий, смывших с лица земли этих людей и все их бренное великолепие. Впрочем — музей выжил.

Опекун музея профессор Цветаев скрывался от суеты. Когда по случаю присвоения статуса директора музея был сшит парадный мундир, расшитый золотыми листьями по зеленому сукну, он одеяния испугался и предупредил, что непременно оробеет, будучи в нем представлен обществу. И ни к чему все эти пышности, лучше бы деньги на музей пустить. Но тут — не отвертишься. Виновника торжества нашли.

«…И странно без малейшего спору… мой отец как в глубоком сне вышел и встал. Чуть склонив набок свою небольшую седую круглую голову — как всегда, когда читал или слушал. В эту минуту — читал он прошлое и слушал будущее, явно не видя всех на него глядевших, стоял он у главного входа один среди белых колонн под самым фронтоном музея в зените своей жизни на вершине своего дела. Это было видение абсолютного покоя».

Цветаев умер через год после открытия музея. Однако он успел еще порадоваться внукам: в августе 1912 года Ася родила сына Андрея, а *5* сентября у Марины по — явилась на свет дочь Ариадна. Обеим повезло, ибо Ася так же твердо ждала сына, как Марина дочь.

К Рождеству была устроена торжественная елка. Дочери потребовали, чтобы Иван Владимирович осчастливил их появлением в парадном мундире. Он долго отнекивался, но все же вышел в полном облачении — прямой, жесткий, зелено-золотой, не знающий куда девать руки от смущения.

— А вот и подарочек сам на ручки просится! — Марина вынесла и подала отцу розовый стеганый конверт, в котором, из вороха кружев, смотрели глазенки трехмесячной Али. — Держи! Это же мой конверт, ты должен помнить. Его еще дедушка Мейн подарил. И ворох всяких кружевных распашонок. Ты еще сказал: «А в этом прямо под венец!»

— Глупая шутка, конечно, помню. Но глазок таких небесных, сколько живу, не видывал!

«Душ раскаленных — водопой»

В час рождения Али в половине шестого утра, восемнадцатого сентября 1912 года, над Замоскворечьем витал колокольный перезвон к заутрене, словно предвещая золотоволосому новорожденному младенцу значительность и звонкость судьбы.

Марина выбрала для дочери греческое имя Ариадна. Это одна из ее любимых мифологических героинь, которой впоследствии она посвятит стихи и трагедию. Выбор необычный, многим казавшийся странным.

— Мариночка! Ведь куда лучше Мария, и величественно, и в честь твоей матушки, — робко сопротивлялся Сергей, не жаловавший иностранные имена. — Да и все друзья находят, что это салонно, претенциозно.

— Глупости. Все нестандартное претенциозно, — отрезала Марина, поставив точку в споре.

Крестины состоялись 20 декабря. Марина записала: «Пра по случаю крестин оделась по-женски, т. е. заменила шаровары — юбкой. Но шитый золотом белый кафтан остался, осталась и великолепная, напоминающая Гете, орлиная голова. Мой отец, в генеральском мундире, был явно смущен. Пра — как всегда — сияла решимостью, я — как всегда — безумно боялась предстоящего торжества и благословляла небо за то, что матери на крестинах не присутствуют. Священник говорил потом Вере — сестре Сергея: «Мать по лестницам бегает, волоса короткие, — как мальчик, а крестная мать и вовсе мужчина».

Ариадна — ко многому обязывает — именно поэтому — АРИАДНА! — Марина придирчиво рассматривала дочь. Но находила в себе лишь восхищение и гордость. Пусть соответствует имени — за спиной вереница дедушек и бабушек, одаривших самой отменной наследственностью. И ведь сразу видно — особая кровь. Девочка — как картинка — в пол-лица голубые глазищи, только кудри не черные, как загадывала, а светлые (впоследствии рано поседевшие). Необычайно сообразительное выражение мордашки и сразу видно — ума палата. А как же еще могло быть?

Весну прожили у Волошиных, а на лето сняли дом в Феодосии — и ребенку, и отцу нужен крымский воздух. Прелестная дача с белой верандой, выходящей к морю. Кусты олеандров в бледно-розовом и белом цвету, сочные толстомясые агавы в вазонах. В саду все время море цветов и что-то вкусненькое зреет на кустах. Нянька Зинаида с хозяйкой дома варили малиновое варенье в саду, Марина с Алей на помочах бродила рядом, боясь подпускать к тазу шустрого ребенка. Бродила, не думая ни о чем, впитывала простые, щедрые радости, подаренные летом, морем, близостью мужа, этой чудесной девочки, ароматом малины, свежестью ветерка, пахнущего морем. Она даже мало писала и была очень похожа на обычную счастливую женщину — гордилась мужем, готовящимся к выпускным экзаменам в гимназии Феодосии, вела подробные

записи всех мелочей, касающихся дочери. Первые слова, первые шажки, зубки, улыбки — все совершенно необыкновенное, подробно с числами и днями.

Были мы — помни об этом в будущем верно лихом!
Я — твоим первым поэтом, ты — моим первым стихом,

—писала Марина дочери. Это только одно из первых в серии стихов, посвященных Але. Но почему ей мерещится это «лихое будущее», откуда веет холодком?

Поэт — неизбежно ясновидящий. Его интуитивные прорывы в параллельные миры часто пугают точными прогнозами. А может, потребность видеть трагические стороны жизни наделяет поэта особой зоркостью? Не хотела она сейчас ничего видеть, кроме банальной, слепящей глаза радости.

…Кругом — сплошное блаженство! Аля — удивительное существо. Сергей — подарок судьбы.

Семья, любимые книги, друзья — чуть не пол-Феодосии. Только мало пишется.

Почему? Она и сама понять не может. Источник не иссяк, напротив, где-то в глубине бродят новые силы, ищут выхода. Что-то там зреет, набухает, иногда даже выть вдруг хочется: прибежать, допустим, ночью к морю и выть! Или прыгнуть в волну с камня, чтобы было больно-больно, а потом плыть, пока духу хватит и не замелькают в глазах прощальные звездочки…

Вспыхнет внутри пожар — и угаснет. И снова тишина, какое-то парное молоко, заливающее все внутренности. Прибой убаюкивает… Прибой-покой…

На небе ни облачка, от веток сосны кружевная подвижная тень скользит по легкому сарафану. Марина видит няню с Алей. Глупышка пытается засунуть в рот мокрые камешки, а няня выгребает их у нее из-за щеки пальцем. Марина хотела крикнуть… но лень, расплавленная лень сковала все тело… Только подумала: Аля, как и она, ищет свою генуэзскую бусину. Чуть поодаль, в шезлонге с книгой — ему скоро сдавать выпускной экзамен за окончание гимназии — Сергей. В белой рубашке, надувающейся парусом, в крымской войлочной шляпе — лебедь белокрылый. Ноги завернул в три винта — только он так умеет: забросить ногу на ногу и еще раз переплести ступни. Родные ноги, родной человек. Ве-зе-ние!

В соседней бухточке компания играет в мяч. Девицы, скрывающиеся под зонтиками, явно кокетничают, стреляют косточками от черешен, а два парня в закатанных холщовых брюках, с черными от загара обнаженными торсами, по всему

видать, местные ловеласы, демонстрируют ловкость и стройность фигур. Особо отличается кудрявый смоляной брюнет — «цыган», как мысленно прозвала его Марина. Она не видит лица, только сверканье белых зубов и белков глаз. Ухватистые руки ловко завладевают мячом и закидывают его на сосну.

— Моя взяла! Выиграл! Вы, Дарья Васильевна, мне теперь в должницах.

— Не помню, чтобы мы спорили.

— Очень даже спорили! — вмешалась подружка — миленькая блондинка в бараньих кудряшках, с обгоревшим носиком и кусочком газеты на нем. — На поцелуй! Кто мяч пять раз поймает, тому и вас целовать.

— Глупости какие! — повела плечами Дарья Васильевна. — Так все приказчики, что у нас в лавке мотки с тесьмой кидают, будут с поцелуями лезть. — Она прикрылась зонтиком, но поздно. Цыган, обхватив кокетку за талию, поднял ее, посмотрел в лицо коршуном и впился в губы… Шли секунды, кричали над молом чайки, Ариадна захныкала, а они все стояли. Марину обожгло завистью. Почему ее никто никогда так не целовал? Или не хороша? Или этикет не позволяет? Она загорела, прядки волос, отбеленные солнцем, искрились золотом, прищуренные глаза вобрали всю зелень моря… А целовать? Целуют-то других.

Святая ль ты, иль нет тебя грешнее,
Вступаешь в жизнь, иль путь твой позади,
— О, лишь люби, люби его нежнее!
Как мальчика баюкай на груди.
Не забывай, что ласки сон нужнее,
И вдруг от сна объятьем не буди…

— Марина, гроза будет! Смотрите, слева все посинело, — Сергей захлопнул учебник, — надо собираться. А то Алечка вымокнет.

— Мимо пройдет. — Марине не хотелось двигаться, Ей почему-то совершенно необходимо было дождаться первых порывов в затихшем, разогретом воздухе и оказаться в центре грозы! — Некоторых даже убивает! Прекрасная смерть — в самый грозный, самый упоительный момент!

— Вставай, я возьму шезлонги. Уже первые капли посыпались. — Сергей собрал полотенца, крикнул: — Зина, живее топайте с Алей домой, сейчас грохнет. Пошли же!

О, нет… Не сейчас. Эти сосны с длиннющими иглами, смоляной аромат шишечек, эти шипящие волны, разбивающиеся о валуны, и лиловая туча, закрывшая полнеба… А потом!

— Бегите. Я здесь посижу. Такая красота — гроза на море! — Марина вытянула над головой руки, словно готовясь поймать молнию.

— Тогда и я с вами. — Сергей сел на песок, обнял Марину. — Умрем вместе!

— Нет! Лучше, когда гром грянет, поцелуйте меня. Точно в самый момент! Марина закинула голову и зажмурилась…

…Не получилось… Рокотало и прокатывало жерновами вдали, блистали зарницы, налетал ветер, прогнав пляжников, срывая иголки с сосен. Крупно забарабанило и — снова явилось солнце.

— Фокус не удался, — развел руками Сергей, готовившейся к поцелую, как к бою. — Можно я без молнии? — Он крепко обнял ее, знакомый вкус его губ… Но грозы, грозы не хватает!..

— Милый… вы понимаете, конечно, что вы для меня — единая и неделимая вечная величина. Но!

— Эй, дорогая, зачем «но»? — копируя кавказский акцент, он спустил бретельки ее сарафана, любуясь бронзовыми плечами с отпечатками белых дорожек. — «Но» нам совсем не надо. Мешает! любимая…

— Нет, вы послушайте, послушайте непременно! До нашей встречи два молодых человека тянули меня под венец. Я, конечно, упиралась и ничегошеньки не позволяла… Но жар в себе знаю. Это от потребности писать — распалиться и писать. Так работает эта печь выплавки слов. Милый, милый… — Марина отстранила Сергея и серьезно посмотрела ему в глаза. — Не хочу вас обманывать, от увлечений я не заговорена даже вашей любовью. Но это же другое — рабочая часть лаборатории. Дайте мне слово! Нет, поклянись: «буду считать все Маринины взгляды и реверансы в чужие стороны — необходимым условием ее трудного поэтического долга».

— Ни за что! — Сергей повалил ее на песок. — Я ревнив, как Отелло!

— Клятву, требую клятву! — Марина приподнялась на коленях, подняла руку и смотрела грозно. Сергей стал напротив, почти касаясь губами ее губ. И тоже поднял руку. Ладони сомкнулись крепко накрепко, до боли.

— Клянусь. Клянусь неизменно любить и неизменно понимать. Неизменно понимать и неизменно прощать. Потому что я — Главный Понимать и Главный Ценитель!!!

….Ночью Марина дописывала стихи:

Будь вечно с ним: пусть верности научит
Тебя печаль его и нежный взор.

Будь вечно с ним: его сомненья мучат.
Коснись его движением сестер.
Но если сны безгрешностью наскучат,
Сумей зажечь чудовищный костер!

«Чудовищный костер» — это как? Написала, а сама не знаешь. Прожить всю жизнь и не узнать? А сны безгрешностью наскучили… Лучше себе в этом не признаваться, и тогда будет хорошо: «движения сестер, нежный взор, безгрешность…» Не сомкнув глаз, Марина встречала утро. Сергей уже на пляже, комната залита солнцем, и белая занавеска колеблется с коварной заманчивостью. Чудесное, свежее, розовое утро, но что-то в нем пресноватое, слишком покойное, как нежные супружеские объятья. Парное молоко… Как розовый «зефир» в вазочке. «Счастье пресно. Счастье — скучно. Страсть».. Страсть… Страсть…» — шептал голос Мышастого, так похожий на шум прибоя.

— Замолчи! — Марина сунула голову под подушку и сразу уснула.

«Душ раскаленных — водопой»

* * *

…Три с половиной года, начиная со встречи с Сергеем Эфроном, оказались самыми безоблачными в жизни Цветаевой.

Жизнь складывалась завидно-счастливо, и, казалось, так и будет спокойно течь по проложенному руслу. Рядом был преданный, восторженно-любящий Сережа, окруженная заботами кормилиц и нянь подрастала и радовала Аля, Молодых Эфронов принимали в литературных и театральных обществах и салонах Москвы: Сергей Эфрон и его сестры были связаны с курсами драмы Халютиной и недавно открывшимся Камерным театром и все трое готовились в актеры. Сергей даже играл на сцене студии-спутника Камерного театра. Ему пророчили хорошее актерское будущее. Марина видела в муже не раскрывшийся пока талант и поддерживала его старания.

Она всегда посещала спектакли с его участием.

— Все бы хорошо, но я так волнуюсь, Марина! — уже одетый в костюм воина из «Сирано де Бержерака», он крепко держал за руку стоявшую за кулисой жену. Подгримированное лицо выражало неподдельный ужас. Рыжий ус торчал уж очень по-

гусарски.

— Бы прекрасно репетировали, да и роль крошечная — произнесете свою фразу — и бегом за сцену! Ну, Сереженька, это же смешно! Чем меньше эпизод, тем больше вы трепещете.

— С большим текстом я успеваю разыграться, расслабиться. А тут только выпалить… Пора, с Богом! — он перекрестился и нырнул на ярко освещенную сцену. А через пару минут раздался гром повального смеха, вовсе в эпизоде не предусмотренного. Сергей, бросившийся к Марине за кулису, чуть не плакал.

— Не смейтесь хоть вы, пожалуйста! Я так и знал, что осрамлюсь. Так просто — сказать: «Ах, коль сейчас не подкрепят мне сил, я удалюсь в палатку, как Ахилл!»

— И ничего смешного. — Заверила Марина, блестя глазами. — Какахилл — ну, кто знает, может, это так его прозвали. Вообще, смеяться над ошибкой неприлично!

— Теперь все будут дразнить Какахиллом. Уже второй раз оговорился.

— Даже у великих актеров бывают нелепые накладки — вы же сами знаете актерские байки. — Марина обняла плечи в картонных доспехах и прошептала в пахнущие одеколоном волосы: — А я вот именно Какахилла и люблю!

Сергей продолжал заниматься в студии и одновременно готовился окончить гимназию, экстерном. Марина стала популярна в коллективах молодых театралов. Ее стихи имели успех, ее приглашали читать.

Марина научилась смотреть не щурясь. При большой близорукости это требует усилий воли. Никто бы не сказал, что у нее недостаток зрения. Но взгляд странный — такой нельзя пропустить. Первый — близкий, острый, в упор, словно щелчок объектива. Дальше в течение целого вечера, если речь шла о небольшой компании, она могла больше ни на кого не смотреть, сосредоточив взгляд на кончике своей сигареты, вставленной в вишневый мундштук. В спорах она была резка и иронична, панибратства и женских сюсюканий даже с хорошими знакомыми не допускала. Всегда держала дистанцию — и ее взгляд, и мутный флер папиросного дыма отстраняли Марину от окружающего. И все равно — тесная ли это компания или целый зрительский зал. Только в зале — все сливались в одно лицо, которое она себе представляла тем единственным, которому читала. Кого-то манеры Марины интриговали, кого-то раздражали. В основном же мнения сводились к тому, что эта юная поэтесса — особа зазнавшаяся, самовлюбленная, хоть и жутко талантливая. Вряд ли ее можно назвать человеком открытым, располагающим к общению. Говорила мало, но если уж бросала реплику, то думай

хорошенько: то ли пошутить хотела, то ли обидела, то ли что-то умное изрекла. Непростая штучка.

Марина начала интересоваться одеждой, украшениями, но и в этом искала свой особый стиль. Всех удивляли не только ее платья вопреки моде, но и многочисленные — как у цыганки — серебряные браслеты и кольца. Их она особенно любила и не однажды воспела. Часть тонких серебряных браслетов Марина унаследовала из шкатулки матери. Сама предпочитала — грубое черненое серебро, рябиновые кораллы, янтари, не забыта была и памятная сердоликовая бусина на шнурке. Разве можно представить Цветаеву, украшающую себя пошлейшими золотыми украшениями с драгоценными камнями? Немыслимо! Этого у нее никогда не будет. Ни единого золотого колечка, даже в годы благополучия. Покупала в основном на «блошинках», чтобы вещица была с историей, с отсветами прежних жизней. И непременно — совершенно единственная! Вот низка аметистов — неровных, едва граненых и мутноватых, но сколько в них настоящей жизни, какая биография просматривается, если приглядеться… Богемский хрусталь — кругленькие, одна к одной мелко граненые бусины, сверкают искрами альпийского источника и даже слегка позванивают. А янтарь — это уже сама стихия, сама пра-история. Теплый, в каждом кусочке разный, живой. Серебряные, потемневшие браслеты — изделия неведомых горских мастеров — словно специально созданы для нее — про нее думал чернобородый чудодей, склоняясь над огнем. Ее руку ощущал в грубой ладони, сгибая металл по тонкому запястью. Вот они и звенят, и радуются, радуют глаз, кожу. Перстни подстать — грубые, тяжелые — прямо из недр земли. Марина преображалась, и вместе с нею менялись ее стихи, вбирая такой непривычный для нее опыт незамутненного счастья. Она училась любить жизнь молодым сильным телом — радоваться солнцу, ветру, потрескивающим в камине дровам, колоколу в селе, кавалькадам в чаще, лепету дочери, восхищенному взгляду мужа… В стихах появляются осколки автопортрета, полупридуманное — полу-Маринино: «зелень глаз моих и нежный голос, и золото волос». Или: «Даны мне были и голос любый, И восхитительный выгиб лба…» Она придумывала себе образы, примеривала другие эпохи, характеры, как женщины примеряют шляпки.

В огромном липовом саду,
— Невинном и старинном —
Я с мандолиною иду,
В наряде очень длинном…

И кровь приливала к коже,
И кудри мои вились…

В нее влюблялся сладкоголосый принц, из-за нее дрался на шпагах благородный рыцарь… И все это был — Сергей. Вон такой — гибкий, длинноногий, синеглазый, бесстрашный…

Он нашел ее в аллее акаций, изгибающейся от Феодосийской дачи по краю высокого берега. Деревья согнулись под тяжестью белых цветов, в воздухе стоял сплошной пчелиный гул, кружила метель лепестков. Марина с книгой на коленях сидела на скамейке, закинув голову и закрыв глаза — мечтала. Полюбовавшись женой, Сергей тихо подошел, нагнулся, прошептал, касаясь губами шеи:

И кровь приливала к коже,
И кудри мои вились…

Она повернула голову:

— Я знала, что ты рядом. Я тебя, как собака, чую.

— А разве акацию не чуешь? Нюхай — чистый рай! — Поднявшись на цыпочки, Сергей отломал ветку цветущей акации. Сел рядом. Они летели в снежной метели, срываемых ветром лепестках. Внизу бушевал прибой, вскипая пеной.

— Рай, а вдруг — не для меня? — Она встрепенулась. — Мне страшно… Я не умею молиться, я не хожу в церковь.

— Но ты же так любишь Благовещенье и всегда бываешь на службе.

— Люблю, когда открывают окна, клетки и выпускают птиц! Это для меня самый радостный праздник. А на службу не хожу — в дверях разве что постою.

— Значит, ты стихийная христианка, — Сергей тоже запрокинул голову, спрятав лицо под сорванной гроздью акации.

— Я курю, волосы стригу, ношу высокие каблуки, не могу различить свеклу и морковь — у меня столько недостатков, что их не сосчитать. Разве я имею право быть неприлично счастливой? Не имею! А я — летаю! — Марина вскочила на скамейку и распахнула руки. — Сейчас во всем моем существе какое-то ликование, я сделалась доброй, всем говорю приятное, хочется не ходить, а бегать, не бегать, а летать… Сегодня так радостно, такое солнце, такой прохладный ветер. Я бежала по широкой дороге сада, мимо тоненьких акаций, ветер трепал мои короткие волосы, я чувствовала себя такой легкой, такой свободной…

— Так будет всегда. Я ничего не позволю изменить в нашей жизни. — Сергей подхватил ее под колени и закружил по аллее.

— Отпусти. Мы рухнем прямо с обрыва. Пойми, мне страшно, словно я проживаю чужую жизнь! Жизнь, на которую не имею права. И… все время жду подвоха.

* * *

Новогоднее приключение вышло впечатляющим, даже грозным. Новый, 1914 год решили встретить у Макса, в совершенно безлюдном зимнем буранном Коктебеле. Выехали в метель, Сережа, Марина, Ася. Сумасшедшая метель, ни зги не видно. Бесконечная дорога, страх: заблудились! Вдруг сквозь сплошное снежное молоко. Вдруг огонь. Макс! Распахнутая баранья доха бела от снега, в лохматой голове сугроб — белый медведь!

— Сережа! Ася! Марина! Это — невозможно. Это невероятно. Ждал, но, честно говоря, не надеялся. Вот насмешили — в такой буран! — Он затрясся от радостного смеха, роняя лавины снега.

— Макс, а разве ты забыл: «Я давно уж не приемлю чуда, но как сладко видеть: чудо есть!» — отчеканила Марина, повиснув у него на шее — этой надежной, такой нужной шее.

Макс в доме один, дом нетопленый, ледяной, нежилой. Внизу мастерская, из которой ведет внутренняя лестница наверх в библиотеку, расположенную галереей… Красное жерло и вой чугунной печки… Отшельники греются, глядят в огненную пасть печи, загадывают по Максиной многочитанной Библии на Новый 1914 год. За трехгранными окнами рвется и завывает норд-ост. Море бушует и воет. Печка завывает утробным голосом. Все ощущают себя на острове. Башня — маяк… Наполняют и сдвигают стаканы и одну чашку и пьют за новый 1914 год — конечно же — счастливый! Читают стихи, стихов как всегда множество, особенно у Марины и Макса. Вот это романтика! Одни на краю света. В буране стихов, любви…

И вдруг… Из-под пола на аршин от печки поднимается голубая струечка дыма. Все переглядываются, и Сережа, внезапно срываясь с места:

— Макс, да это пожар! Башня горит!

Пока гости метались к морю с двумя ведрами и кувшином, Макс, воздев руки, стоял недвижимо с каменным лицом. Спасти дом от огня двумя ведрами не было никакого шанса — это он понимал ясно. Драгоценные книги, картины, его любимые амулеты — все обречено на гибель… А с ними уйдет и жизнь. Та

— которую любил, берег, воспевал…

Он молчал, произнося всем огромным нутром, гулким, как собор, те слова, которые, единственные, видимо, могли остановить беду.

Пожар прекратился внезапно, явно не от ведер морской воды — ведь, как потом выяснилось, горел весь подпол. Никто не сомневался, что Макс остановил огонь силой своего убеждения, «заговорил». Волошин отнесся к своей победе без всякой патетики.

— Интересно, как нужно понимать пожар, вспыхнувший на Новый год? — поинтересовался Сергей.

— К хорошему лету, — решила Ася.

— Я же сразу угадала, что будет; «Я давно уж не приемлю чуда, но как сладко видеть: чудо есть!» — Марина обняла Макса. — И вот оно — живое! К чуду! К чуду!

— Вам бы все хихикать, молодежь, — шутливо насупился Волошин, похожий в эти минуты на древнего волхва. — Ясно же, как воды напиться — недоброе это знамение. — Сказал и осекся. Сколько к нему ни приставали, ни просили пояснить предсказание — отшучивался: — Дом цел — это хорошо. Мы целы — еще лучше. Вино сохранили — совсем приятно… А остальное — поживем — увидим.

«Еще меня любите, за то, что я умру»

В середине лета 1914 года началась мировая война. Мировая война из-за сербского экстремиста? Курам на смех! Молодожены решили, что этот нелепый политический инцидент скоро будет исчерпан. Инерция счастья, слепота молодого эгоизма были настолько сильны, что сознание власти над своей судьбой не вызывало сомнений. И даже — власти над мировой гармонией. Не может же мир погрязнуть в скверне, если жизнь так прекрасна?

Пока разлетались дипломатические депеши, втягивая в цепную реакцию военных действий десятки стран, Марина с мужем и маленькой дочерью Ариадной заселялись в новую квартиру в Борисоглебском переулке дом 6, квартира 3. Какой восторг! Вот это квартира! Большие окна, двойные белые распашные двери, наборный паркет. А планировка? Бегать по комнатам, играть в прятки, перекликаться! Они выискали, наверно, самую причудливую квартиру в Москве, влюбиться в которую мог только человек с поэтической фантазией. Два этажа, соединенные деревянной лестницей, а наверху еще «чердачный кабинет» с окном, выходящим на крышу. Похоже на корабль и

замок одновременно.

Основные апартаменты располагались на втором этаже и чрезвычайно замысловато. В них скрывались арки, альковы, изразцовые печки, камин. Потолки были и стеклянные, и с прорезями, через которые проникал свет. Были обычные окна и окна, которые выходили прямо на крышу, по которой можно было ходить. Рядом с детской располагался кабинет Марины — многоугольная, как бы граненая комната с елизаветинской люстрой, низким диваном, волчьей шкурой перед ним. На большом столе у окна стояли ее любимые, по наследству доставшиеся штучки: лаковая карандашница с портретом Тучкова, скрепки, фигурки, чернильница. Мебель подбирали любовно — ампир, красное дерево. Купили настоящую старинную шарманку, синюю стеклянную люстру с хрустальными подвесками. Камин в гостиной, населенной книгами, лампы керосиновые с нежными тюльпанообразными колпачками, ковры даже на входной лестнице. А огромные деревья под окном! Их Марина сразу приняла в семью — говорила с ними, опекала.

В комнате Али — самой большой, сорокаметровой — обосновалось целое детское царство. Белая витая кроватка, как у мамы, куклы почти в ее рост и полки с книгами у стен. Замысловатые тени на синих обоях от листьев раскидистой пальмы в кадке, теплый круг абажура ночной лампы на резном столике в середине комнаты. «Сказки» Шарля Перро и «Священная история» с иллюстрациями Гюстава Доре на полке — книги еще ее бабушки, виртуозной пианистки Марии Мейн. Здесь обитало счастливое детство.

Аля росла, окруженная любовью родителей — таких молодых, красивых! Чудесную женщину, которую все вокруг называли «Мариночка, Марина», она сама воспринимала как необыкновенную фею или волшебницу. Волшебницу особенную — очень большой важности. Для Али она тоже была Марина и, конечно, на «вы». Вместе с теплом от нее исходила строгая требовательность. Аля старалась ни в чем не огорчить мать, дотянуться до высоко поставленной планки. Ведь Марина необыкновенная, и все, что бы она ни делала, правильно и восхитительно. Это передалось Але от отца. Он тоже был важным волшебником и первым рыцарем Марины и Али. Особенно, когда поступил в университет на историко-филологическое отделение и стал засиживаться в своем кабинете.

Папа Сережа умел рассказывать сказки, показывать льва и разных зверушек — лицо его на глазах преображалось — свирепело или источало лукавую хитрость. Аля его ни чуточки не боялась и только визжала от радости. Кроме того, она знала, что

об отце надо заботиться (ведь так поступала Марина), Еще совсем маленькая девочка укрывала коричнево-бежевым пледом ноги отца, читающего в кресле толстые тома разных научных книжек, старательно училась мерить Сереже температуру, осторожно несла для него из кухни стакан горячего молока с корицею и медом.

Сергею часто приходилось уезжать лечиться. Марина ждала писем, выбегая к почтальону. Рухнув в кресло, нетерпеливо вскрывала конверт, быстро пробегала листки глазами. Аля стояла рядом, неотрывно следя за выражением лица Марины. Вот она закурила, откинула челку, подобрала под себя ноги и, наконец, сказала:

— Слушай, Аля! Но это в последний раз. Научись сама разбирать написанное.

— Марина, я умею читать в книжках, а когда пишут пером не очень-то еще.

У папы отличный почерк: «Дорогие и любимые мои девочки! Хочу сообщить вам…»

Марина прерывала фразу и отдавала листок Але:

— Дальше читай ты!

Аля «читала» на свой лад: прижимая письмо к груди, ходила по комнате, ласково что-то бормотала и беспрерывно подбегала к матери, чтобы та подсказала неразборчивое слово.

— Да ты все выдумываешь, Аля! Запомнила, как я читала, и повторяешь… Там про уколы не было! И про рентгенограмму! Это в прошлом письме…

— Мариночка… Здесь нет про уколы. Только про то, что доктора пчела укусила. И что он нас любит. Не доктор — папа. — Аля погладила ее по щеке, волосам, провела пальцами по мягким губам. Так всегда делал отец.

В четыре года Аля читала любой текст, причем выучилась под руководством Марины сразу читать слова. Легко, в процессе совместного чтения интересных книжек.

«Как запомнился быстрый материнский наклон мне навстречу, ее лицо возле моего, запах «Корсиканского жасмина», шелковый шорох платья и то, как сама она, по неутраченной еще детской привычке, ладно и быстро устраивалась со мной на полу — реже в кресле или на диване, — поджав или скрестив длинные ноги! И наши разговоры, и ее чтение вслух — сказок, баллад Лермонтова, Жуковского…»

Марина разъясняла Але непонятные картинки, но иногда любознательная девочка ухитрялась объяснять все и сама. Например, в четыре года дала такое «поэтическое» пояснение к иллюстрациям еще страшного для нее гоголевского «Вия»,

изображавшим панночку, семинариста, бесов и летающий гроб: «Это барышня просит у кухарки жареных обезьян!»

Как только Аля научилась писать, Марина раз и навсегда ввела в ее жизнь обязанность вести дневник. Так же, как некогда ее мать, она старалась сформировать дочь по своему подобию. И рано, очень рано девочка стала ее единомышленницей, подругой, а потом — и лучшей помощницей. При этом времени с дочкой Марина проводила не так уж много. В основном девочкой занимались няни. Марина всегда куда-то спешила, уходила с визитами, на вечера поэзии или работала у себя в кабинете. Но это лишь добавляло прелести Волшебнице.

* * *

Ноябрь 1914 — падает мелкий снежок. Вечером у Марины выступление в актерской студии. Будет много знакомых и поклонников. Она популярна у молодежи, у них с Сергеем множество друзей среди начинающих актеров — ведь и сестра Сергея, и он сам увлекаются сценой. Выступления Цветаевой ждут — это событие для театральной молодежи. Да и для нее — праздник — она всегда любила читать стихи, будь слушателей двое или целый зал.

Няня укладывает Алю. Но та вырывается и смешной, переваливающейся походкой прибегает в гостиную, чтобы обнять нарядную маму. Сегодня Марина ослепительна.

Восхищение Сергея и обожание малышки изменили ее. Ушла настороженность, замкнутость, боязнь неприятия окружающими. К двадцати годам Марина расцвела и похорошела. Те недостатки внешности, которые можно было принять за некрасивость, составили пикантную индивидуальность. Горбоносый профиль и вскинутая голова выглядели царственно. Она нравилась себе и значит — нравилась всем.

В фойе студии перед большим зеркалом Сергей помог жене раздеться. Здесь уже было много молодых актеров, с любопытством разглядывавших Марину. Проносился шепот: «Цветаева, Цветаева пришла!» В большом, тронутом по углам тревожной мутью зеркале Марина увидела молодую женщину, розовую с мороза с талыми снежинками на ресницах — ладную, сильную. Сняла бархатный капор, встряхнула копной золотистых волос. Приблизив лицо к стеклу, отметила: совершенно колдовские изумрудные глаза. Девушки студийки расступились, любуясь платьем приглашенной поэтессы. Совершенно необыкновенное! Восхитительное: шелковое, коричнево-золотое,

широкое, пышное, до полу, а тонкая талия крепко стянута старинным корсажем. Волшебная девушка прошлого века! Платье из бабушкиного сундука. Завтра по Москве разнесут новость — старина в моде! Цветаева могла себе позволить диктовать стиль, да и в дальнейшем делала бы это блестяще, кабы не время, втиснувшее в свой шаблон — в безликое, унизительное-нищенство.

Их пригласили в зал, Сергей шел чуть сзади, любуясь стремительной, легкой походкой жены. Она никогда не волновалась и не заигрывала с залом. Просто выходила, здоровалась и начинала читать обычным, четким, спокойным голосом. По памяти, без тетрадок и записей — руки опущены, голова откинута, взгляд поверх голов, поверх всего, что реально. Взгляд — в неведомое, в обиталище слов, из которых она слагала строфы.

Сергей шептал за ней знакомые слова, в которые верил до глубины души:

Моим стихам, написанным так рано,
Что и не знала я, что я поэт,
Сорвавшимся, как брызги из фонтана,
Как искры из ракет,

Ворвавшимся, как маленькие черти,
В святилище, где сон и фимиам,
Моим стихам о юности и смерти
— Нечитанным стихам! —

Разбросанным в пыли по магазинам
(Где их никто не брал и не берет!),
Моим стихам, как драгоценным винам,
Настанет свой черед.

Она умолкла, опустила голову. Послышались хлопки, затем загремели дружно, многие аплодировали стоя.

Марина не улыбалась, не кланялась. Стояла, дивно печальная, прозревшая судьбу своих стихов, загадочная, как оракул. Откуда это в 22 года? Не заносчивость, не заклинание, не похвальба — правда. Марина сказала правду о своих будущих стихах — дар прозренья редко подводил ее.

Она стояла, задумавшись, перебирая в памяти любимые стихи. В зале захлопали громче, стали выкрикивать: «Еще меня любите!», «Марина, прочтите про колокол в селе!». Эти стихи Сергей любил особо. Марина начинала читать, словно вспоминая

слова, словно только для него они сейчас родились:

Уж сколько их упало в эту бездну,
Разверзтую вдали!
Настанет день, когда и я исчезну
С поверхности земли.
Застынет все, что пело и боролось,
Сияло и рвалось.
И зелень глаз моих, и нежный голос,
И золото волос.
И будет жизнь с ее насущным хлебом,
С забывчивостью дня.
И будет все — как будто бы под небом
И не было меня!
Изменчивой, как дети, в каждой мине,
И так недолго злой,
Любившей час, когда дрова в камине
Становятся золой.
Виолончель, и кавалькады в чаще,
И колокол в селе…
— Меня, такой живой и настоящей
На ласковой земле!
К вам всем — что мне, ни в чем не знавшей меры,
Чужие и свои?! —
Я обращаюсь с требованьем веры
И с просьбой о любви.
И день и ночь, и письменно и устно:
За правду да и нет,
За то, что мне так часто — слишком грустно
И только двадцать лет,
За то, что мне прямая неизбежность —
Прощение обид,
За всю мою безудержную нежность
И слишком гордый вид,
За быстроту стремительных событий,
За правду, за игру…
— Послушайте! — Еще меня любите
За то, что я умру.

Овации, настоящие овации, и толпа у сцены. Девчонки плакали, у парней горели глаза. В тот миг в Марину были влюблены все! А она — единственная, живая, настоящая, такая искренняя и такая прекрасная — принадлежала ему — своему рыцарю!

Подавая жене пальто, Сергей тронул губами ее теплую шею у воротника. Жест не друга — любовника. В зеркале она увидела мельком глаза, так похожие на Сережины, будто изображение раздвоилось. Только застывшая в глубине боль почти физически ударила в Маринины виски. Она сжала голову и зажмурилась, чтобы слезы не пролились…

Вечером, собравшись на Борисоглебском у Цветаевой и Эфрона, друзья обсуждали впечатление. Присутствовал профессор студии курсов драмы, отличавшийся пониманием современных веяний. Замшевая рыжая блуза, большой черный шелковый бант под дряблым подбородком, серо-седые, падающие на плечи волосы. Все уже выпили за успех вечера, но не решались тронуть глянцевую кулебяку.

— Вы кушайте, Евгений Владимирович! — молоденькая актриса с драматического курса положила на тарелку педагогу кусочек заливного. — Ведь все с утра голодные! Так волновались!

— Да я, честно говоря, о еде и не вспомнил! Забыл о голоде! Поражен был! Вы же понимаете — наша актерская школа все еще находится под большим влиянием классических канонов. И даже, так сказать — МХАТовская натуральность весьма, что ни говори, актерствующая. — Он живо проглотил кусочек красной рыбы, очевидно, не почувствовав вкуса, и продолжил:

— Марина Ивановна совершенно индивидуальна! Манера чтения — совсем нам незнакомая и непохожая на то, как учим читать поэзию мы! Такая неожиданная простота и скромность! Милая Марина Ивановна! Вы открыли новые пути! — поднявшись, профессор поцеловал руку Марины. — Самое удивительное — непривычная слитность интонации вашего голоса с тем, о чем вы говорите! Словно стихи рождались непосредственно в эту минуту! Вы же ду-ма-ли! И выдавали результат. Вы сочиняли у нас на глазах!

— Несомненно, все вместе — поэтесса, ее внешность и, главное, стихи, производят сильное впечатление. Но вот насчет исполнения хотелось бы поспорить, — вступил в дискуссию руководитель актерского курса. — Так читать можно лишь дома, для узкого круга близких… Зал не поймет! Заскучает зал! Где чувства? Где эмоции? Дайте мне эмоции! Дайте мне выразительность!

…Спор о манере чтения стихов Цветаевой долго не утихал. Тем более, что были в ее дальнейшей жизни моменты, изменившие стиль письма и, соответственно, чтения. Другими стали ритмы, эмоциональный накал, образы. Часто, дабы сбить патетику особо напряженных моментов, Цветаева использовала интонацию легкой иронии, удивлявшей многих слушателей.

Вроде бы, речь идет о трагическом, а вот она стоит, рассказывает и лукаво улыбается. В манере чтения стихов Цветаевой никогда не было обычного авторского «выпевания» фразы, не было и тени патетики.

В те дни, где бы ни читала Цветаева, она видела, вернее, ощущала на себе взгляд особых глаз — обведенных лиловыми тенями, жарких, демонически прекрасных. Врубелевский «Демон поверженный», вобравший в себя всю боль, всю обиду низвержения, падения с высоты ночного неба. Поверженный, но не смирившийся с поражением. Старший, тридцатилетний, брат Сергея Петр Эфрон, актер, приехал в Москву из-за границы. Умирать. Туберкулез забирал лучших.

Увидав Петра два года назад, Марина обмерла — та же Эфроновская порода, тот же Сергей, но взрослее и трагичней. Ей казалось, что она «могла бы безумно любить его»! Нет, это не была страсть — было «облако нежности и тоски», возникшее в ситуации, для цветаевского творчества наиболее благоприятной: «бездны на краю». Марина не раз повторяла, что в жизни и в любви для нее разлука значительнее встречи. Здесь же с первого мгновения все заслоняло черное крыло разлуки. Такое сходство с ее Сережей, такая молодая уходящая, тающая на глазах жизнь — могла ли Цветаева остаться равнодушной, не рвануться навстречу? И что значит рядом с этим какая-то, где-то далеко начавшаяся война? И порыв: сделать для Пети все, что только можно! Спасти!

— Ничего уже нельзя изменить. Только ждать. — Улыбнулся он уголком чуть синеватых губ. — Месяца два. Потом за мной придут.

И вот он жил у них — ожидал, «когда придут», Марина ухаживала за больным, старалась шутить, быть искрометной, легкой. А ночами, потемневшая лицом, заплаканная, закрывшись в своем «чердачном» кабинете, писала стихи.

Ее юношеские заигрывания с темой смерти казались теперь пошлыми. Настоящим холодом веяло из бездны, в которую она пыталась заглянуть. И вопросы, как стая воронов, кружили над повзрослевшей головой.

Ей, счастливой и легкой, приоткрывается бездонность человеческой души, она пытается вглядеться в нее и понять самое главное: зачем? для чего живем? Почему и куда уходим?

Со времен прощания с Надей и своего поражения в схватке со смертью Марина не переставала бунтовать, не умела смириться с несправедливостью. Упреки и вопросы направляла в высшую инстанцию — к Нему. Они втроем сидели у камина с бутылкой красного крымского вина, как говорили, полезного легочникам.

Сергей и Петр в кресле, Марина с папиросой — на ковре у самого огня. Отблески играющего пламени золотили ее волосы.

— Скажите, скажите мне кто-нибудь, зачем Петя должен умереть? Чье это распоряжение? — Глаза Марины сверкали гневом, столь часто прорывавшимся в принципиальных спорах.

— Так устроено, Нам не дано знать, — Петр подбросил чурочки в камин, и огонь жадно набросился на них. Он не любил разговоры о вере. Эту тему нельзя обсуждать. Только держать в себе. — Мы всегда заново поверяем себя на крепость веры. И ответы бывают разными. У меня получается всегда по-разному.

Марина загасила папиросу, взяла бокал:

— И это — эта некрепость веры — самое ужасное! Меня упрекают в отсутствии веры в Бога. Мое безверие от черноты. Той, что ждет нас. Сергей не знает, как противостоять, чем укрепить мою веру, кроме своей любви ко мне. Сам-то он, хотя и крещеный, но, как и вы, Петр, вырос в семье агностиков. Но в добрую волю Творца верит! То есть… Очень хочет верить!

— В вопросах веры много непонятного, пугающего. Смущающего нас — смертных. Тому, кто знает высший замысел… смысл ясен. — Последнее время Петру много приходилось за границей говорить со смертниками в туберкулезных лечебницах. Все приговоренные либо истово внушали себе веру в бессмертие души, либо мужественно признавались в неспособности прийти к вере.

— Не могу смириться с планом Высшего замысла. Уж очень много в нем бесчеловечного. Выходит, Петр умирает в соответствии с планами Всевышнего? И наши родители, и все юные, светлые, безгрешные — уходят из жизни тоже по плану? — Марина разворошила кочергой угли, и пламя вспыхнуло еще яростней.

— Уходит тело. Душа бессмертна. — Петр смотрел в огонь, полуопустив веки. Губы почти не шевелились. Марина подумала, что и Петр сам, и голос его сейчас — другие. Что сидит здесь, смотрит в огонь и говорит за него некто более сведущий. А в черной тени за его креслом вытянулся ровно и, недвижно поджарый со стальным отсветом на гладком теле Маринин давний друг — Мышастый. В его белых глазах отражались два алых пламени.

— Душа бессмертна! — твердо выговорил Сергей, как бы заклиная всех. — Иначе быть не может. Иначе все это… не имеет смысла. Любовь к ближнему — и есть Господня любовь. Здесь все очень сложно.

— Сложно? Надо просто верить, как простая деревенская баба! — Петр поднялся: — Прошу прощенья, меня в сон клонит.

Это от вина. — И улыбнулся светло и легко, словно они обсуждали сейчас не его уход, а просмотренный водевиль.

Марина присела на подлокотник кресла Сергея и прижалась к нему.

— Вот это-то у меня и не выходит — молиться, как простая баба — сердцем, всей кровью своей! А не вечно сомневающимся умом. Неумение молиться — это уже отверженность. Меня пугает моя полная неспособность молиться и покоряться. При этом — безумная любовь к жизни, судорожная, лихорадочная жадность жить!.. — Марина вгляделась в мрак за креслом: Мышастый засмеялся? Он никогда не делал этого. Но отчего растянулись узкие, бледные губы?

— Жадность к жизни — это нормально, как хороший аппетит. Иначе зачем всех нас пригласили за щедро «накрытый стол»? Вот только на этом пути кто-то подножки ставит. Говорят: «от лукавого».

«От Мышастого» — поправила про себя Марина и сказала вслух:

— Вы, Сергей, психолог. Не стараетесь бурно убеждать меня. Сами знаете, моя гордыня не позволяет мне допустить… не позволяет смириться, что Петя умирает.

И еще там, на фронте гибнут люди… И все уйдут… И даже этот дом, ковер… И нас с тобой не будет… Везде проклятущая смерть! «Настанет день, когда и я исчезну с поверхности земли»… — Она разрыдалась у него на груди, вымочив слезами шерстяную жилетку.

Ночью разбудила и прочла только что написанные стихи:

Слушайте! — Я не приемлю!
Это — западня!
Не меня опустят в землю,
Не меня…
Быть нежной, бешеной и шумной,
— Так жаждать жить! —
Очаровательной и умной, —
Прелестной быть!
Нежнее всех, кто есть и были,
Не знать вины…
— О возмущенье, что в могиле
Мы все равны!
Стать тем, что никому не мило,
Не зная ни того, что было
Ни что придет — О, стать как лед!..
Забыть, как сердце раскололось —

И вновь срослось,
Забыть свои слова и голос,
И блеск волос.
Браслет из бирюзы старинной
На стебельке:
На этой узкой, этой длинной
Моей руке…

…Война, начавшаяся летом 1914 года, оказалась нешуточной. Стихи Цветаевой о войне в буквальном смысле «вклинились» в цикл, посвященный Петру Эфрону. В них ирония над борьбой политических амбиций, противопоставление собственной — единичной утрате близкого человека. Нет, это было не противопоставление, лишь горький смех над собственной беспомощностью изменить что-то. Цветаева не хочет смириться. Как и прежде, она жаждет диалога с Творцом. Она бросает вызов. И высшим силам, и земным. Она демонстративно провозглашает, что темные луны — глаза умирающего друга — важнее для нее любых мировых катастроф.

Война, война! — Кажденья у киотов
И стрекот шпор.
Но нету дела мне до царских счетов,
Народных ссор.

На кажется-надтреснутом канате
Я — маленький плясун.
Я — тень от чьей-то тени. Я — лунатик
Двух темных лун.

Как грозовая туча над Вами — грех!

Марина соткана из противоречий. В этой «отрожденной поэтовой сопоставительной и противопоставительной страсти», сведения полюсов «Бог-Черт», в потребности связывать в узел крайности («чей-то дар мне в колыбель») — суть напряженности цветаевской поэзии, мощь ее энергетического заряда. И саму Цветаеву, и то, что сделано ею в литературе, оценивали и оценивают неоднозначно — от прямого неприятия до преклонения. Цветаева, как Поэт и человек, — явление особой душевной, нравственной конструкции. «Безмерность в мире мер» не вписывается в рамки привычной морали. Анализировать жизненные позиции или поступки Марины с точки зрения

обыденной психологии, традиционной нравственной установки — задача заведомо сложная. Для того чтобы понять ее, необходимо изначально изменить критерий — принять ключевое условие: Марина Цветаева — аномалия. Аномалия, как творческий индивидуум, как человеческий характер, как часть социума, как личностная единица. Искать привычно-логические мотивировки в поведении Марины чаще всего не имеет смысла: они изменчивы, противоречивы, часто взаимоисключающи. Едва нащупываешь некую спасительную почву логики, как вновь проваливаешься в топь несоответствий. Нельзя не признать — отделить личностное начало Поэта от творческого подчас невозможно, их капризный симбиоз и составляет тайну дара.

Казалось бы, все сложилось благополучно: семейная жизнь юных Цветаевой и Эфрона на зависть гармонична. Настораживают лишь зреющие подспудно перепады настроения Марины — она неудовлетворена, сама не отдавая себе отчета в этом: все слишком покойно, гладко, ровно. Мятежному дару Марины нужна буря.

В июне Сергей приезжал в Коктебель, где с няней и дочкой жила Марина. Здесь же отдыхали его сестры, а также Ася с очередным мужем и вторым сыном. Все приглядывались к семейству Эфронов. Что-то настораживало в демонстрируемой Мариной идиллии. Возможно, чрезмерная экзальтация Марины.

6 июня 1914 года она вдруг читает Максу и Вере Эфрон только что написанные стихи, посвященные Сергею. Первое — уже известное нам «Я с вызовом ношу его кольцо…» и новый вариант:

Нет, я, пожалуй, странный человек,
Другим на диво! —
Быть, несмотря на наш XX век,
Такой счастливой!

Не слушая речей (о тайном сходстве душ),
Ни всех тому подобных басен,
Всем объявлять, что у меня есть муж,
И он прекрасен.

Волошину интонация восторга кажется чрезмерной. Сестры Сергея настораживаются — женщины всегда подмечают тонкости, заметили и взгляды Марины в стороны иных романтических объектов. Что тут поделать, молодая женщина, полная сил, своевольная, отчаянно влюбчивая — да у нее еще вся жизнь впереди. А у мужа, увы, слишком много забот. Статус Сергея —

добровольно принятый, как хранителя Королевы и ее вечного рыцаря, кажется несколько шатким. Это эффектно для юношеских фантазий, но никак не в серьезной взрослой жизни.

Марина продолжает провозглашать свою веру в счастливый брак, словно заговаривая себя от какой-то напасти, от ложного шага. Марина чувствует, что друзья не очень верят **в** перспективу их брака с Сергеем. Тайные сомнения и страх мучают ее все сильнее. Она еще плохо знает себя. Верит в стержень несгибаемой воли, но и отчаянная потребность в эмоциональных взрывах терзает ее, как ни скрывай, под оболочкой слов.

О мистической вере Марины в сны знали все. Пересказывание сновидения, бесконечное толкование деталей, а потом «узнавание» в случившемся ночных предсказаний — постоянная забота Марины. А вот астрология для нее пока закрыта — увлечение ею еще не охватило мистически настроенных дам. Но эпизод, случившийся на башне волошинского дома, Марина запомнила, хотя и зачеркнула в своей памяти начисто, вымарала черными чернилами, как глупую ошибку в тексте.

Худая высокая татарка из компании коктебельских гостей была не молода, не умна, не талантлива. Хотя сама она верила в обратное, а еще в то, что она гречанка и потомственный астролог, посвященный в тайны звезд. Она часто бралась толковать Марине сны и однажды предложила пойти дальше — поговорить о том, что можно прочесть по небесным книгам. Начертав предварительно на больших листах разноцветными карандашами траектории движения небесных светил по времени рождения Марины и Сергея, она, с загадочным и непроницаемым лицом, пригласила Марину уединиться на верхней веранде, где в это сумеречный день никто не загорал.

Сели на сложенные прямоугольником бревна. Море и небо тонули в свинцовой дымке, давили своей весомой мощью и обещали непогоду. Вещунья покрывала лоб тонкой синей косынкой с бахромой из монеток. Полагала, что так убедительней выглядит в роли посредницы звезд.

— Марина, я не стану вам лгать. Смотрите сами. — Она положила на деревянный пол разрисованные листы. Тонкая бронзовая кожа астрологини обтягивала резкие скулы.

— Нет, увольте, я ничего в этом не понимаю. Расскажите сами. — Марина отвернулась, выпуская дым.

— О вас? О Сергее Яковлевиче? О вашем браке?

— Начнем с брака — это наиболее понятная сфера»

— Зря вы так думаете. — Женщина помедлила. — Я могу быть откровенна?

— Не страдаю падучей и не слишком впечатлительна.

— Вы с Сергеем Яковлевичем родились с разницей в три дня: вы 26 сентября 1892, Сергей — 29 сентября 1893. То, что вы отмечаете свои дни рождения вместе и считаете себя рожденными в один день, для звезд не существенно. Три дня в этом случае — огромное пространство. Астрология — наука точная. Здесь много о чем можно говорить… Я старше вас, и у меня большой астрологический опыт.

— А если короче? — Марине не нравилась многозначительность пророчицы, намеревавшейся, по всей видимости, ее поучать и пугать.

— Короче? Как скажете. — Женщина поняла, что эта задиристая поэтесса ей не доверяет, и не стала ходить вокруг да около, стараясь смягчить удар: — С точки зрения астрологии, этот брак изначально обречен на катастрофическую неудачу. Смотрите сами: стоящие рядом два солнца, а между ними Сатурн Сергея. Такое расположение превращает вашу семейную жизнь в тюрьму, в клетку… Каждый будет пытаться из нее вырваться. Процесс болезненный, длительный и, увы, безнадежный.

— Ну, это можно сказать о большинстве так называемых счастливых семейных пар.

— Особенность состоит еще и в том, что вы рождены под знаком Весов, которым присуща одна специфическая черта: они всегда правы. Ваша воля сильно доминирует над волей мужа.

— И от этого бремени, как из клетки, должен рваться Сергей? А если такое заточение с любимой и заботящейся о нем женой — спасение для него?

— У Сергея Яковлевича доминируют другие планеты. Он мягок, доверчив, предан, но, увы, к сильным поступкам вряд ли предрасположен. Те путы, которыми оплетаете его вы, однажды станут для него мучительны. Он будет страдать, пытаясь вырваться, но..» Так и не рискнет. В гороскопе ваши пути расходятся, но брак остается нерушим. Ваш странный и опасный союз скреп — лен звездами. Ловушка — космическая ловушка. Смотрите вот на этот треугольник: вы сами попали в западню. А вот эта звезда! Говоря иначе — Черная карма. От нее нет спасения.

— Обречены оба? — Марина рассмеялась. — Вы меня жутко напугали. Кроме того, вы угадали: я всегда права. Только это не от расположения звезд, а от ума и способности анализировать ситуацию.

— О, да! — Женщина улыбнулась. Два зуба у нее отсутствовали, и улыбка получилась чуть ведьмачья. К тому же было ясно, что Марина ей не нравилась. — Очень скоро… Боюсь, этой же осенью, вам выпадет большое испытание. И вам, и вашей

самоуверенности. Звезды показывают — смотрите вот на это пересечение линий: страшное испытание…

— Ой, не надо. Хватит с меня Черных карм! — Марина отвела руку астролога с листами гороскопов, поднялась и потянулась. — Пугать меня бессмысленно. Вы же должны видеть там по вашим звездам, что меня и смерть никогда не пугала.

— Запомните, смерть — это далеко не самое страшное. И не самое мучительное. Это просто обрыв нити. Но у нее есть другие обличил — и тут уж большое разнообразие пыток. Как вы относитесь к разлуке?

— Лучше, чем к встрече. А к бедам у меня больше доверия, чем к водевильному счастью.

— Все верно… Вам будет очень нелегко, — пробормотала женщина, легко сбежала по деревянной лестнице.

* * *

К осени 1914 года стало ясно: сценарий семейной идиллии исчерпал себя. Марина пресытилась материнскими восторгами и заботами, жертвенным обожанием Сергея. Игры в мать Ариадны оказались слишком утомительными. Каждый день — одно и то же. Да еще няньки такие капризные — кто дерзит, кто ворует! А эта последняя говорит «ведьметь» и «полтолоны» вместо «панталоны», и ведь Аля за ней повторяет! Но попробуй сделать замечание. Горничная убирается кое-как — по углам пыль, для Сергея это смерть! Готовит по-деревенски и жадничает, на масле экономит, какой-то жир вонючий добавляет. Ариадна вечерами канючит — спать ее укладывай, сказки рассказывай. «Мать» — лицо прикладное — вроде приложения к своему чаду по его обслуживанию, выращиванию. Роль второго плана. Марину же интересовали только сольные партии. С мужчинами дела всегда обстояли сложно. Теоретически Марине нужна была влюбленность в брутального властелина, повелителя, хозяина. Безответная, с надрывом, бурей страстей, с общественным резонансом, в конце концов! И победой! Эпатаж — самая приятная дразнилка для буржуа, погрязших в своей прописной морали. Вечный бой — покой для Марины смертелен. Иссушенная пустыня покоя не способна вскормить эмоцию, всколыхнуть стихи. Она все еще примерная жена, но кипение лавы внутри опасно — давление неизрасходованных страстей велико — взрыв может случиться даже от пустяка.

Марина придирчива, мрачна, неразговорчива. Вспыхивает от любой мелочи, устраивает разносы прислуге, преследует Сергея

бесконечными замечаниями: он решительно все делает не так! Он не способен на простейший поступок! Счастливый муж лишь шире распахивает синие глаза и виновато улыбается. Знает, что не ловок, не оборотист, не инициативен. А если Марина и сердится — так она права. Он любит и такую — грозную, неудовлетворенную, смотрящую на него, как на надоевший предмет. Марина необыкновенная. Надо соответствовать! Вот если бы он мог написать что-то как Блок или Мандельштам. Не дано, увы. Дано любить ее и терпеть. Всякую, какая ни есть. И верить: она бы без его поддержки не выдержала.

Осень 1914-го — в Москве пора литературных вечеров, художники вернулись с летнего отдыха, многое надо показать, прочесть, похвастаться. Заклятые друзья жадно ждут новостей.

Марина ничего нового, способного потрясти поэтический «олимп», не написала. Зато она отменно хороша — челка до бровей, стрижка спартанского мальчика, звон монист и браслетов, голубой дым сигареты, заволакивающий рассеянный взгляд. Рядом Сергей — милый, ясноглазый, не сексуальный — серафический. Верный рыцарь и принц.

Они вошли в уже задымленную гостиную, обходя ритуал приветствий. Какой-то литературный вечер. Мужской голос нудит нечто томное, распевное, кажется, трагедию, написанную гекзаметром. Марина сторонится упоенного чтением автора с невидящим взором слепца. На ней узкая стального цвета юбка плотного крепа с единственной крупной пуговицей из серебристого перламутра у пояса. Изумрудная, цыганских очертаний атласная блузка, словно играет с ветерком. Браслеты позвякивают, клубится дым папиросы… На нее заглядываются. Масса новых лиц, знакомые засыпают новостями.

— Мы весь август провели в Крыму, в Мисхоре… Там отвратительное море. А у художника Антипова жена сбежала с цирковым трубачом!

— В Сорренто жутко сыро! Уверяю вас — болото! Алексей Максимович, правда, выглядит бодрячком и всех приглашает… Ну, уж — увольте! И так радикулит прихватывает!

— Горький не чуток к новым веяниям! Сказал, что я слишком уж поразить стараюсь. Что поэзия — не гимназическая игра в шарады.

— Глупости! В Сорренто самый сухой воздух на побережье. От спины — лопухи надо прибинтовывать. Поверьте, батенька, как рукой снимет. А «новые веяния» — продукт скоропортящийся. Пока до Сорренто довезли — они-с уже с душком!

— В Париже повальное сумасшествие: все носят мятые бесформенные балахоны и жемчуг до пупа! Даже ниже! Ну, до

самой (шепот). Шляпы огромные и сверху клумба… У одной так и вспыхнула — кто-то пепел с балкона стряхнул. Такой скандал! Кстати! Марина, в моде бирюза! Особенно иранская — она ярче!

— Вот моя как раз иранская. — Марина, звякнув браслетами, вскинула тонкую руку с серебряной змейкой, усыпанной бирюзой. — Старинная вещица и мощный оберег от…

Марина осеклась на полуслове, Сергей, слушавший ее болтовню в пол-уха, оглянулся, увидел застывший у губ мундштук с дымящейся папиросой, лицо, как в детской игре «Замри!», и остановившийся взгляд. В кресле в углу сидела рыжая дама, одетая в черный пиджак, белую блузку мужского типа. Она тоже смотрела на Марину распахнутыми, подведенными серыми тенями глазами. Сергей ожидал воплей — он решил, что встретились две давние подруги. Но тишина и игра в «замри» продолжалась. Ему показалось, что эти мгновения тянулись бесконечно. Дамы, так гипнотически впившиеся друг в друга взглядами, оказались незнакомы. Женщин представили: критик, поэт Софья Парнок, поэт Марина Цветаева.

Больше Сергей ничего не слышал и не замечал. То, что произошло, не могло не поразить его. Случилось нечто невероятное — это он понял сразу. Извержение Карадага в немом синема — тишина и конец света! Нет, ошибиться нельзя — взрыв взаимной любви с первого взгляда. Но не такой, как у них с Мариной там, в Коктебеле — здесь клубилась и душила серой плотская, телесная страсть.

Сердце сразу сказало: «Милая!»
Все тебе — наугад — простилая,
Ничего не знав, — даже имени! —
О люби меня, о люби меня!

Я Вас люблю! — Как грозовая туча
Над Вами — грех!..

Эти слова Марины беззвучно насыщали паузу с первой же минуты, а написаны они были той же бессонной ночью.

Вернувшись домой далеко за полночь, Сергей постарался не выдать волнение. Ему не терпелось начать разговор, но он страшно боялся выяснения отношений. Они договорились никогда не лгать друг другу. Так, может, лучше не задавать лишних вопросов? А вдруг он ошибся? А если нет и она пожертвует им? — Он слишком долго развязывал в спальне перед трюмо галстук, слишком аккуратно вешал в шифоньер сюртук, старательно обирая с сукна шерстинки от Марининого мехового

воротника. Стоял молча, не зная с чего начать. И она молчала. Сидела на краю кровати, до половины сняв левый чулок и забыв о нем. На дымившейся папиросе рос столбик пепла, упал на ковер. Сергей решился:

— Что-то произошло? У вас с Софьей Парнок был такой вид…

— Был вид… — рассеянно повторила она. — Был, и что с этого… — Мотнув головой, она загасила окурок и закурила новую папиросу.

— Все знают о ее лесбийских связях. Бедный муж — декоративное прикрытие.

— Что тут особенного? И от чего он такой уж «бедный»? Сейчас женские симпатии никого не удивляют! Даже не слишком экстравагантно. Экстравагантно везде твердить, что любишь своего мужа, который, между прочим, так и не сумел превратиться из брата в любовника. — Последнее Марина прошипела едва слышно, но Сергей вздрогнул, как от удара. Злит его или правда? Бели правда… Он не сомневался, что его с Мариной плоть в полном согласии с душой — в гармоничном союзе. «НЕ любовник…» — это же приговор. Только не впадать в панику, она обожает позлить, выдумывая всякую чепуху. А завтра начнет утверждать совсем иное. С тем же упорством.

— Марина…

— Что Марина! Знаю — что я Марина. И знаю также точно, что *я* — прежде всего — Поэт! И вам известно, что душе, чтобы рожать стихи, нужны впечатления. Для мысли впечатлений не надо, думать можно и в одиночной камере. И, может быть, в камере как раз лучше, чем где-либо. Чтобы ничто не мешало.

— Я мешаю? Аля? Дом?

— Напротив! Вы должны мешать! Но не также! — Она взяла рубашку, которую он снял. — У вас отвратительно поглажен воротничок! Почему вы не сделаете замечание Глаше? И валенки! Сколько раз повторять: валенки! Опять стоите в носках на холодном полу. Вы хуже грудного младенца! — Марина вытащила из-под кровати коротенькие мягкие валенки и швырнула мужу. — Температура нам не нужна. Поймите, ваши болезни, капризы прислуги, заботы о детском стуле — не те впечатления, которыми кормятся стихи! Надеюсь, это ясно?

— Нужны другие эмоции… — Сергей прошептал: — Я — не то. И не тот… Это ясно.

— Ничего не поняли! — Марина вскочила, обошла комнату. — Да я вас безумно люблю! Но нельзя же всю жизнь писать об этом! Душе необходима встряска, потому что она в состоянии покоя не существует… Покой для души есть анестезия: умерщвление самой сущности. Спячка! — Марина снимала и

разбросала по ковру вещи — тоненький лепесток блузки повис на подлокотнике кресла, как увядший цветок. Подвязки для чулок полетели к абажуру ночника. В каждом движении — дрожащий нерв, интерлюдия к истерике. — Поймите же, мне элементарно скучно! Ск-у-у-чно. Вы женились не на пошлой домохозяйке. Может, заметили?

— Заметил. — Сергей сжал челюсти. Ему тоже хотелось кричать, жаловаться, обвинять. Но он не позволил себе изменить спокойный, хотя и достаточно иронический тон. — Вам необходимо шокировать благовоспитанную светскую публику. Быть на виду. Как вашему любимому Маяковскому — поэту-бунтарю, городскому глашатаю, пророку! Необходимо быть уличным хулиганом! Из презрения к сытым буржуа! — Размахивая руками в подражание Маяковскому, Сергей смахнул с подоконника фарфоровую вазочку с гиацинтами. Бросился собирать осколки, порезался, чертыхнулся, зализывая кровь на пальце.

— Зря бушуете, — Марина снизила тон. Накинула халат, туго затянула на поясе шнур с шелковыми кистями. — Есть ситуации, над которыми я не властна. — Она закурила, стряхивая пепел в лужицу с несчастными цветами. — Есть нечто внутри, чему противиться бесполезно! Я не могу не писать стихов! Я не могу любить платья в розовых оборках… И этих ваших цветочков в пошлых вазочках! Я не хочу прозябать с голодным сердцем, занятым лишь материнскими заботами! Хочу, хочу — любить!!! Жадно, страстно, как бифштекс с кровью! Любить всей собой, каждой клеточкой, каждым толчком крови…

Сергей постарался не подать вида, не показать, как боль скрутила внутренности. Нагнулся над осколками, стал собирать их в газету, кусая губы, чтобы не заплакать. А она, швырнув ему щетку, ушла в свой кабинет — писать. Те самые стихи, что прозвучали с первым же взглядом на Софью.

Да, у него не стальной характер. Но были вещи, которые Сергей не мог бы совершить даже под страшными угрозами: солгать, предать, сделать больно Марине, близкому человеку. Да и далекому, чужому — любому. Признаться — он ни разу не раздавил жука или таракана. И он любил цветы! А Марина — презирала. Предпочитала лишь прочное и солидное: деревья, плющ. А не эти, вечно умирающие, немощные украшения гостиных. И он — «синеглазый рыцарь» — украшение жизни поэта Марины Цветаевой… Немощное украшение. Устал… Сейчас надо было собрать силы. Надо было терпеть. И, возможно, совершить нечто решительное! — Он посмотрел на букетик нежно благоухающих гиацинтов, который хотел было поставить в

другую вазу, но в сердцах бросил его в совок. Надо быть крепким и сильным, как дерево.

А ситуация изменилась решительно. Буря, шквал, землятресение… Марина полюбила. Полюбила страстно, впервые в жизни — всем своим существом, без оглядки, без разделения души и тела. И тело, ранее мешавшее, заговорило своим языком. Оно истосковалось, оно хотело того самого, запретного для Марины ранее, без чего она теперь боится умереть «уйти — и не испытать!» Но почему такая вспышка страсти к женщине?

Причин много. По крайней мере — основных три. Первая: в психофизическом складе Марины изначально присутствовало мужское начало. Ее фигура, внешность, повадки, склад ума, эмоциональные проявления явно не характерны для женского типа.

Не типично и повышенное внимание к особам своего же пола. Девушки и девочки всегда привлекали Марину: в ее ранних стихах девочки всегда любимые… Если у Аси друг, то у Марины непременно — подруга. Была и повесть о подруге Вале Генерозовой, написанная в четвертом классе гимназии… А пронесенные через всю жизнь влюбленности к Марии Башкирцевой, Беттине фон Арним, Саре Бернар, Соне Холлидей…

Марину с детства тянуло к девочкам. Ни к каким греховным играм эти симпатии не приводили, но они будоражили эмоции, обостряли ощущения. Спартанское воспитание Марии Александровны, подавлявшее в дочках женственное начало, способствовало развитию мальчишеских черт характера — пожалуй, тоже довольно веская причина. Она многое объясняет в привязанности юной Марины к Сергею.

Обделенная материнской любовью, совсем еще девочка, Марина сама испытала потребность проявить себя матерью в отношениях с Сережей Эфроном, так же, как и она, потерявшим мать при трагических обстоятельствах.

В притягательности облика Сергея для Марины не последнюю роль сыграли его юношеский, почти девический облик, почти женственная нежность и мягкость характера. Тогда Марина, считавшая физиологию в любовных отношениях непреодолимой стеной, не выбрала бы мужественного, спортивного мужчину. Именно Сережа — книжный юноша, инфантильный мечтатель, не умеющий драться, ухаживать за девицами, пренебрегающий спортом, далекий от эротических забав, не нес угрозы «плотской связи», которой так боялась в отношениях с мужчинами Марина. Он, умеющий лишь одно — распахнуть душу и подарить ее избраннице в вечное пользование — пришелся Марине впору.

И вот — конец игре. Надоело — пресно, скучно. И вдруг —

эта бледная молодая женщина в черном мужском пиджаке, с белым пластроном и обезьянкой на тонком ремешке. О, Марина ощутила всем существом: их взгляды не просто пересеклись — они врезались друг в друга, высекая искры. От макушки до кончиков пальцев пронзило током, словно от соприкоснувшихся проводов. С первого же взгляда энергетики Парнок и Цветаевой образовали взрывное алхимическое соединение, начавшее цепную реакцию отнюдь не шуточной мощи.

С этого мгновения Марина знала, что никто, кроме Сони Парнок, для нее в мире не существует. Ничего, кроме ее лица, рук, ее голоса. И первое стихотворение цикла «Подруга» — гимн любви, в котором почти каждая фраза заканчивается восклицательным знаком. Марина нашла то, о чем мечтала.

Сердце сразу сказало: «Милая!»
Все тебе — наугад — простила я,
Ничего не знав, — даже имени! —
О, люби меня, о, люби меня!

Марина и Соня обе странницы, «обе беспутные», т. е. идущие своими путями, по выражению самой Марины. Одна поэтесса, другая литературный критик и тоже поэтесса. Одной только-только исполнилось 22, второй — уже 29. Грандиозная любовь, не знающая препятствий, раздумий и колебаний, вспыхнула мгновенно.

Потом была перекличка стихами, циклы стихов, посвящения, признания, отчаянные всхлипы — все оттенки самого высшего накала интимных чувств отражены в поэтических сочинениях влюбленных. А в реальности — полтора года сплошных любовных мук, восторгов, безумия, счастливого Забытья, суда совести, упоение отчаяния.

Уже строчки из первого стихотворения цикла «Подруга» полны трепетного счастья на грани страха:

За эту дрожь, за то — что, — неужели,
Мне снится сон? —
За эту ироническую прелесть,
Что Вы — не он.

Три месяца две влюбленные до безумия женщины проводят время в ласках и разговорах. Раскрыть свою душу до конца — разве такое возможно с мужчиной? Их любовь так чутка, что за обидами следуют бурные примирения, за расставаниями —

горячие встречи. Взаимопонимание их тел так полно, что Марина впервые переживает эротические наслаждения, не ведомые ранее. Сценарий лесбийской любви — более нервной, чем любви с мужчиной, устраивает обеих — они безудержно предаются ласкам, безудержно говорят, безудержно пишут. Эта любовь породила, как считают специалисты, лучшие стихи Цветаевой и сделала из Софьи Парнок недюжинного поэта.

Умопомрачение впервые открытого для нее эротического наслаждения и осознание греховности этого наслаждения дают поэзии Марины накал борьбы, вызывают образы охоты, поединка, боя.

Греховность и преступность, страсть и порок, страх и желание терзают Марину. Но что может остановить ее? Кто мог осмелиться «учить жить» Марину? Да и кого бы она послушалась? И уж если она сама себе это разрешила, то кто осмелится запретить?

Марина любит ощущение хождения по канату — риск, опасность, затаивший дыхание зал далеко внизу: Эффектные трюки — г ее стихия. Эти ощущения как раз нужны стихам — они пишутся, словно сами по себе. «Любовь рифмуется с кровь», но на уровне высокой поэзии. Опасность всегда завораживает зрителей. Вот только зрители в этой истории подкачали — не целомудренные были времена.

«Марина и Соня!» — сенсация на три дня. Удерживать внимание этим альянсом долго было бы трудно. В их круге все знали о соединении новой пары, но никаких взрывов общественного мнения, давно к таким вариантам привыкшего, новость не вызвала. Все приняли этот роман с Соней почти как должное: очередной каприз литературных дам — шушуканья, сплетни в гостиных. Пошлость. Сестры Сергея и даже Пра обсуждали с подругами событие в письмах и надеялись, что Марина, хоть и увлеклась серьезно, сохранит благоразумие.

Даже муж, даже родственники только изредка косо поглядывали, но никаких ультиматумов, никаких скандалов… Обывательское болото! Ведь раны Марины сочатся кровью: Соню не оставишь, без любви не жить. Сергей и Аля без нее — пропадут. Со всех сторон стена, со всех сторон беда! Куда сбежать? Марина страдает, нервы раскалены добела.

— Сергей, Сереженька! — кричала она ночью, не нащупав рядом в постели его острое плечо. — Где вы!

— Я писал. — Он пришел из кабинета, нелепый в мешковатой голубой пижаме, волосы всклокочены. Привычка ерошить двумя пятернями волосы, выдававшая умственное напряжение, раньше умиляла Марину. Теперь смешна. Бог мой, как он жалок! Бедный,

бедный мальчик! Кто еще выдержит такую пытку!

— Сядьте, пожалуйста, дайте руку… Мне страшно. И больно. Очень больно. Я попала в западню. Из нее нет выхода! Послушайте! — она опустилась на колени возле кровати, с мольбой заглянула в его глаза: — Если любите меня — спасите! Я не могу так больше жить… В ящике секретера заряженный браунинг!.. Пристрелите меня! Будет легче, всем легче, поверьте…

— Да Бог с тобой, родная! — Сергей в ужасе отшатнулся, потом обнял вздрагивающие от рыданий плечи. — Марина, это мучительно для нас всех. Я даю вам свободу — пользуйтесь, сколько надо. Я подожду. Ведь пройдет же у вас эта «болезнь». Пройдет… А мы с Алей подождем. — Его теплые слезы капали на ее шею.

— «Болезнь»! — она села, закурила, задумчиво сдвинув брови. — Как правильно вы сказали: болезнь! Какое-то заразное бешенство. Я не в себе. Я не понимаю себя. — Она подняла на него испуганный детский взгляд: — Заберите меня! Отнимите меня у нее! Заприте тут! Клянусь! Все, все кончено! Кончено! Только держите меня крепче, родненький!

Решено — связи конец. На следующий день в доме Сони в свете синей лампы, превращавшей утро в лунную ночь, состоялась сцена расставания — душераздирающая, поскольку и Марина и Соня рвали по живому.

— Вот сейчас ты просто повернешься и уйдешь к мужу, дочке, семье. — Соня была похожа на привидение — озаренная голубоватым светом, будто окаменевшая. — А потом, — она подняла негнущуюся алебастровую руку, — потом, знаешь, что будет? Ты вообще пройдешь мимо… Мимо меня… Как мимо чужой могилы… — Рука упала, Марина зажмурилась, чтобы не видеть, как посыплются гипсовые осколки.

— Прощайте навсегда… — прозвучал бескровный голос.

— Это жестоко, Соня! — Вспыхнув, Марина рванулась к двери. Громкий хлопок и торопливый стук каблучков по лестнице. Умчалась, чтобы никогда не возвращаться в этот дом.

А на следующее утро 23 октября Марина пишет чудесное по тонкости, трогательности и точности стихотворение: «Под лаской плюшевого пледа вчерашний вспоминаю сон…» Марина в замешательстве. Она не понимает, что произошло. Неужели это все — «для чего не знаю слова» — в самом деде, закончилось? А если закончилось, то выход один — в небытие, в вечный сон. Надо успеть все выразить в стихах. Такой любви она еще не знала. «Что это было — быль иль не быль? Кто победил, кто побежден?» Стихи льются один за другим — переливы слов, блуждание в

дебрях спутанных чувств создают дивной красоты рисунки. Боль выплескивается на бумагу — вот — полтетрадки исписаны круглым четким почерком. Полегчало, отлегло. Жить можно. Стоя у окна и барабаня по залитому дождем стеклу ноготками, Марина уже не жалеет себя, она просто констатирует факты:

Взгляд отрезвленней, грудь свободней,
Опять умиротворена.
Не знаю, почему. Должно быть,
Устала попросту душа.

«Все каторжные страсти слились в одну»

Жизнь без Сони — какая она? Увы, не успела понять. Днем, переходя Большую Лубянку, подняла глаза и увидела несущиеся саночки, а в санках Соня с высокой брюнеткой, с той самой — недавно отвергнутой подругой. Санки пронеслись, заметая стоящую на обочине Марину. В снегу по колено — бедный замерзший Кай, — в это мгновение она чувствовала, как уходит жизнь и леденеет ее сердце. Такой боли ревности, такой обиды и оскорбления она не переживала никогда. Она не знала, что значит быть брошенной. Не знала, что значит, когда ей предпочитают другую. Такого унижения даже вообразить не могла. Она никогда не была побежденной. А от ударов, которые еще предстояло пережить, изобрела объяснение — оправдание победителя на любой случай: «Жизнь я прожила в случайных местах, со случайными людьми, без всякой попытки корректива. Все события моей жизни настолько меньше моей силы и моей жажды, что *я* в них просто не вмешиваюсь: чего тут исправлять!»

Марина, столько раз в жизни терпевшая фиаско, ни разу не призналась в том, что случился провал по ее вине. Просто она не желала бороться с пустяками и с тем, что заведомо ниже ее желаний. Не вмешивалась в непосильное, отстраняла нежеланное, позволяя жизни и обстоятельствам творить свой беспредел. Но не класть на лопатки. Попросту отворачивалась с высокомерным безразличием.

Бороться за Соню не пришлось — подруги бросились в объятья, как после долгой разлуки — «Кто победил, кто побежден?» Примирение было бурным. После размолвки подруги стали чаще бывать вместе, практически не расставаясь. Марина совершала набеги домой — за необходимыми вещами, приглядеть за хозяйством, хотя оно ее меньше всего волновало.

Однажды Сергей застал жену дома, пишущую в кабинете. Рядом валялся раскрытый чемодан.

— Марина, вы надолго? Насовсем? — просиял Сергей и тут же стал рассказывать об Але. Девочка такая способная, что стоит нанять учителя. Или заниматься самим?

Марина обернулась и посмотрела с неожиданным презрением.

— Что я еще должна решать в вашей жизни? Я сейчас не мать. Я наоборот — мечтаю о матери, о сильном старшем друге. Дорогой мой, ответственность за других — это не просто. Хочется, чтобы тебя взяли в ладони, как Дюймовочку, и пылинки сдували! Я же молила вас на коленях: «Не отпускайте меня!» Ах,

да что вы можете удержать…

— Скажите, что нужно сделать? Чем я могу помочь вам?

— Опять то же самое! «Скажите, скажите!» Да я, я мечтаю, чтобы сказали мне! Я всегда хотела служить, всегда исступленно мечтала слушаться, довериться, быть вне своей воли, быть младше! Быть в надежных старших руках! — Она говорила горячо и как всегда верила, что в ее словах последняя истина. Спорить было совершенно бесполезно. Тем более, что аргументы стремительно менялись: то нужна свобода, то необходима сильная рука, то требуется дружеское отстраненное понимание, то, оказывается, страстный любовник…

— Я не хочу, а может, и не могу, стреноживать вашу волю. Вы вырветесь и не заметите, как на бегу разрушите все! Вам не нужен хозяин, поверьте… Вам нужен чуткий, сочувствующий зритель! — Сергей театрально раскланялся. — Всегда к вашим услугам.

— Ах, ну почему вы никак не поймете сути ситуации: как поэту — мне не нужен никто. Как женщине, т. е. существу смутному — мне нужна воля: воля другого к лучшей мне. А воля — это уже насилие. — Повернувшись на каблуках, Марина победно вышла, оставив Сергея побежденным. Нет, он понимал все тоньше и глубже, чем казалось ей в пылу спора. Просто он любил ее.

Сильный человек любого пола Марине-женщине был нужен как добыча в борьбе за самоутверждение. Чем сильнее, сложнее, талантливей противник — тем важнее победа. Все силы, все чары поэзии, все обольщения слова направлены на то, чтобы завоевать его, подавить «собой-лучшей». Той, которой она хотела бы быть и какой, в сущности, себя с полной уверенностью считала: самой умной, самой красивой, а главное — Поэтом. Не поэтессой — глупое определение, с дурной претензией на особость, нечто мелкое и визгливое, вроде болонки — для кружевных подушек. Поэт — голос другой, мощь другая, да ведь и стать иная. Дог, Мышастый — что-то из этой породы. Его, Мышастого глаза — бесцветные, безразличные и беспощадные…

Сергею сочувствовали. Он старался ни с кем не встречаться, боялся обсуждений поведения Марины, сожалений. Но знакомые торопились высказаться: «Да, красивая особа, решительные, дерзкие до нахальства манеры. Избалованная и, вообще, несмотря на стихи, — баба, вы уж меня простите, железная, без сентиментов!» Или: «Поймите, Сергей Яковлевич, Марина очень умна. Наверное, очень талантлива. Но человек она холодный, жесткий; она никого не любит…» «Зачем вам это? Разве это семья? И ведь ни капли стыда: везде появляется с Парнок — обе в черном, держатся за руки и глаза похотливые». После таких

отзывов надо было драться, Сережа не умел, но приятельские отношения с доброжелателями порывал навсегда.

Рождество 1914-го подруги решают провести вдвоем в Ростове Великом. Сергей оповещен, как о чем-то само собой разумеющемся. У него и прав нет вмешиваться в Маринино решение. Потому что она — ОНА!

Марина собирает вещи, звеня браслетами. На кровати раскрытый чемодан, в который летят платья. Отбросив куклу Али, Марина придирчиво выбирает белье. Сергей возится рядом — что-то отверткой подкручивает в замке чемодана.

— Оставьте, вы мне мешаете. У вас все равно ничего не получится. Перевяжу ремнем, а там возьму у Сони или куплю новый.

— Марина скажите, я ненормальный? Своими руками провожаю неверную жену?

— Не поняла? Это вы про меня?! Я — неверная?! — она демонстративно расхохоталась. — Полагала, что вы, именно вы, меня должны понять! Я по-своему верна. ПО-СВОЕМУ! Иначе, чем обычные женщины. И сильнее! Я же всех вас люблю! Тебя, дочь, Соню. Всех люблю, каждого по-своему. И в этом — моя правда!

— Ну вот — все получилось, прекрасно закрывается, — Сергей щелкнул замком. — Значит, все же уезжаете…

— Вы намерены меня задержать? — Марина хмыкнула. — Не станете. Полагается же мне кусок счастья от рождественского пирога?

— У меня, надеюсь, будет. Придут сестры, Алечка их ждет. Купили такие чудесные книжки — огромные с картинками! Елку непременно поставлю до потолка. В стеклянной комнате.

— Смотрите, не простудитесь и не простудите ребенка. — Марина огляделась: — Ничего не забыла? Я в велела Глафире каждый вечер давать вам в постель теплое молоко с содой и йодом. Пожалуйста, принимайте лекарства, как я сказала.

— Все же жаль… — робко заикнулся Сергей, мечтавший о Рождестве в этом доме. Он думал, что череда ежегодных праздников в этих комнатах будет очень длинной. Они состарятся, Марина уютно устроится с вязаньем у камина, а дети Али станут разворачивать подарки, хрустя тонкими бумажками… Почему так быстро все кончилось?

— Славно! Вроде, ничего не забыла. Я привезу всем из Ростова подарки — там шали расписные чудесные делают! Давай прощаться. С Алей не буду — поднимет рев. Я люблю вас, родной мой.

Как бы она хотела, чтобы это было так, чтобы не мучила раздвоенность, чтобы страсть к Соне не окрашивала траурным

светом греховность. Поэт — гипнотизер. Не только для других. Но главное — для себя самого. Она — особенная. Ее верность — особенная. И любовь — особенная. Это просто надо уметь понять.

В письме, адресованном Вере Эфрон, Марина пишет:

«Сережу я люблю на всю жизнь, он мне родной, никогда и никуда от него не уйду. Пишу ему то каждый, то — через день, он знает всю мою жизнь, только о самом грустном я стараюсь писать реже. На сердце — вечная тяжесть. С ней засыпаю и просыпаюсь.

Соня меня очень любит, и я ее люблю — и это вечно, и от нее я не смогу уйти. Веселья — простого — у меня, кажется, не будет никогда, и вообще, это не мое свойство. И радости у меня до глубины — нет. Не могу делать больно и не могу не делать».

Веселье, конечно, не простое. С подтекстом трагедии. С надрывом. Московские барышни резвились в Ростове, они были счастливы, они были одни… На них дивились простые бабы на ярмарке. Что они понимали, бедные?

В монастырскую гостиницу две хрупкие молоденькие женщины вселились, не скрывая бурной радости. Одни! Одни со своей страстью. И даже мысли о грехе остались далеко, в другом измерении. А стихи у Марины пошли самые откровенные. На такие она раньше не решалась.

Как я Вам — хорошеть до старости —
Клялась — и просыпала соль,
Как трижды мне — Вы были в ярости!
Червонный выходил король.

Как голову мою сжимали Вы,
Лаская каждый завиток,
Как Вашей брошечки эмалевой
Мне губы холодил цветок.

Как я по Вашим узким пальчикам
Водила сонною щекой,
Как Вы меня дразнили мальчиком,
Как я Вам нравилась такой…

И тут же, в монастырской гостинице Ростова Великого Марина пишет:

Безумье — и благоразумье,
Позор — и честь,
Все, что наводит на раздумье,
Все слишком есть —

Во мне. — Все каторжные страсти
Свились в одну! —
.....
— Что ни скажи! —
Я виртуоз из виртуозов
В искусстве лжи.

В начале 1915-го сразу же после возвращения домой, начались новые заботы, опять приходится внушать себе, что так жить — можно. Что раздвоенность между долгом и любовью — состояние для Поэта продуктивное.

Тем более что стихи сами собой так и льются из-под пера Марины. Она пишет целыми циклами: Ахматовой, Блоку, о Москве… Однажды она сказала, что пишутся стихи хорошо, когда болит душа… Когда невозможно просто жить, и только стихи, которые и есть изболевшая душа, превращаются в жизнь. У Сони то же самое… Стихи, стихи, стихи…

В марте уже звенела капель. На скатерти в синей вазочке живые подснежники, прибывшие из Крыма. Нежные, в чем душа держится: тоненькая жилка стебелька и голубоватый куполок почти не раскрытого цветка. Головки свешены — за что? Зачем? Почему явились, пробивая снег, и вот — умирают, отдав красоту двум углубленным в свои муки людям. Маринины пальцы крутили зеленую нить стебля. Ну, как такую немощь любить? Нет, не для нее сии наслаждения — букеты, вазы, герани, клумбы. Сильный жилистый каштан или тополь, к которому можно прижаться и черпать силу… Обед стыл, есть не хотелось. В тишине четко ходил латунный маятник больших сурового вида часов.

Сергей решился на разговор:

— Марина, я способен понять ваши отношения с Софьей, вашу поэтическую потребность необычных ощущений… — Он комкал слова, мял салфетку, кончики пальцев дрожали. Смотреть в глаза Марине избегал, словно был виновен в том, что не проявляет восторга, как истинный друг. — Я способен терпеть, ждать… Но, если честно признаться — мне больно, я измучен. Запутался, во всем виню себя..; Короче: мне надо немного отстраниться. Это первое. Второе — я записался медбратом в санитарный поезд, уезжающий на фронт.

— Вы с ума сошли! Там же стреляют! — Марина вскочила, уронив с колен салфетку и замученный подснежник.

— Стреляют, убивают, множество раненых, убитых. Это

страшно, Марина. Преступно сидеть тут молодому мужчине. — Он не сказал, что уезжает от того, что терпеть ситуацию в семье больше не в силах, что умереть легче.

— Вы же поступили в университет! А занятия? Историко-филологический факультет! Отец вами бы так гордился…

— Марина, все отговорки в ситуации войны — подлость.

— Вы ослаблены, больны. Малейшая простуда, перенапряжение…

— Перенапряжение у меня здесь. Простите…

Он поднялся и вышел, расправив плечи. Он не хотел выглядеть жалким. Высокий, стройный, решительный. Ему пришлось долго уговаривать медкомиссию дать разрешение на работу в поезде. Дали, после третьей попытки. Теперь он не подкачает.

Муж уехал, и Марина с трудом призналась себе, что вздохнула с облегчением. Сережа под пулями? Сережа в смертельной опасности? Ужасно! Ужасно! Но что такое смерть? Игра, в которую все рано или поздно играют все. «Уж сколько их упало в эту бездну…» Настанет день — шагнет и он и она.

А пока — жить! Впереди лето. Марина с Соней, с Асей с Алей, няней и Асиным кавалером собираются с 20 мая уехать в Коктебель. Между подругами отношения накаленные: каждая боится быть брошенной, обиженной. Каждая боится страданий ревности. Быть оставленной для Марины — ситуация неприемлемая. Для Сони — вариант уже пережитый не раз. Но отношения с Мариной особые. А Марине уже светят и манят другие огоньки.

Марина подготавливает отступление — пишет сразу два стихотворения, как бы заранее отстраняясь от Сони. Давая понять, что отпускает ее.

«Мне нравится, что вы больны не мной…» и «Хочу у зеркала, где муть и сон туманящий…»

И вот в небольшом семейном кругу, в присутствии Аси, ее кавалера — будущего мужа М.А. Минца, Марина объявляет:

— А сейчас я почитаю новое. Только что написалось.

Спокойно, как всегда, с легким траурным оттенком читает оба стиха.

Финал звучит прощально и даже с грубоватым вызовом: «Благословляю Вас на все четыре стороны…»

Воцаряется гробовая тишина, у Сони в глазах потерянность, похоже, она на грани обморока…

— Это все про меня? — чуть слышно, онемевшими губами произносит она.

В этот момент Марина играла с судьбой в американскую

рулетку: «да» или «нет»? Конец или продолжение? Что же выбрать?

— Нет! Конечно не о тебе, — выпалили она, тем самым затянув разрыв еще на несколько месяцев.

А 27 мая Марина и Ася, Соня и Лиза (сестра Сони), Аля и Андрей с двумя няньками уезжают на юг к Волошиным. И снова, получив встряску словно мимо пролетевшей пулей — разлукой, Марина и Соня вместе. Месяц они живут в Коктебеле, карабкаются по горячим камням взгорья, собирают камушки, одаривая друг друга самыми милыми. Моря Марина не любит — ни его огромности, ни его обособленности, которую невозможно присвоить, не величия, с которым не потягаться. Его невозможно влюбить в себя. Всем одинаково лижет пятки! Им можно только пассивно любоваться, а созерцательности деятельная Марина не выносит. Скорее всего, просто не научилась с морем дружить. Не приняла ласку величавого гиганта, не вступила в игру с ним.

Потом на три недели подруги уезжали в Малороссию, в Харьковскую губернию, на дачу Лазуренко, в Святые горы… Там Марина счастлива: Соня принадлежит только ей, а стихи пишутся легко.

Синим вечером на террасе пьют чай. На зеленеющем западном крае неба чернеют верхушки елок. Под кругом лампы целое кладбище сгоревших огнепоклонниц-мошек. Поют комары, и где-то у соседей играет фортепьяно. Шопен…

— И не верится, что война, — говорит Соня, зевнув.

— А ее и нет — только комары, елки и мы. — Марина зажмурилась, пряча под веками огненное зарево над горевшей деревней. Там, недалеко от пожарища, на путях стоит белый поезд с красными санитарными крестами. Суетятся одетые в белое фигурки. А этот — с длинными, худыми руками, ну куда ему носилки тащить…

* * *

Засучив рукава заляпанного кровью медицинского халата, Сергей пытается заткнуть одеялом разбитое стекло вагона. Борьба неравная — торчат осколки стекол, врывается ветер, одеяло рваное и мокрое, никак не хочет помочь медбрату Эфрону. Он сильнее сжимает зубы, наваливается изо всех сил, не страшась кровоточащих порезов, и вот — вышло!

Санитарный поезд, в котором медбратом работал Сергей Яковлевич Эфрон, курсировал по южному фронту в районе Тирасполя. Сожженные деревеньки, беженцы, гниющие на полях

трупы, брошенные голодные дети. Широко распахнутые Эфроновские глаза полны неизбывного ужаса и страдания.

С каждым днем из Сергея каленым железом чужой беды выжигало собственную боль. На его руках умирали молодые парни, женщины, дети. Однажды под обстрелом он упорно тащил к насыпи старика, кровь, бьющая толчками из раны, заливала глаза. Тащил и тащил, закусив губу. Словно от этого зависело всеобщее благополучие или, хотя бы, судьба его дочки. Или этого старика.

— Чего мертвого волочить? — крикнул Эфрону санитар Покасько, курносый весельчак, любивший посмеиваться над медбратом с жидовской фамилией. Да и было над чем: уж очень неуклюжим он оказался. Про таких говорят «руки-крюки»! Если несет по вагону таз с помоями, непременно вагон тряхнет на повороте, и все на себя выплеснет. Если нужно кипяток принести — уж наверняка руки Сергея будут обварены, да и другим, кто рядом, достанется. Он всем спешил помочь, но лекарства терялись, шприцы бились в самый неподходящий момент, повязки сбивались. Он смиренно опускал глаза под ливнем ругательств. И верно, неумеха — это факт. Так еще и невезение глобальное. Где другого пронесет, этого бедой накроет. Словно сговорился материальный мир мстить за инородную серафическую сущность молоденького добровольца. Но тих и добр, милосерден и безотказен, как девица. Кто помирает — ночь просидит, одного не бросит. Сам как скелет и от усталости качается, но отказа от него не услышишь. А ведь такие еще как нужны.

Ночью, при свете керосинки, поглядывая в заросшее щетиной лицо хрипящего мужика, на обрывках записной книжки убитого сегодня студента-математика, мелко исписанных формулами, пишет сестре Елизавете: «У меня сейчас появился мучительный страх за Алю. Я ужасно боюсь, что Марина не сумеет хорошо устроиться этим летом и что это отразится на Але. Мне бы, конечно, очень хотелось, чтобы Аля провела это лето с тобой… Одним словом, ты сама хорошо поймешь, что нужно будет предпринять, чтоб Але было лучше. Мне вообще страшно за Коктебель.

Лиленька, буду тебе больше чем благодарен, если ты поможешь мне в этом. Только будь с Мариной поосторожней — она совсем больна сейчас.

Это письмо или уничтожь, или спрячь поглубже».

Сергей великодушен. Мало кто в подобной ситуации способен понять, что увлечение Марины — не каприз пресыщенности, не привычка к вседозволенности, а больная

страсть — ее наказание. Он боится за нее, но еще сильнее за оставшуюся практически без матери дочь.

Но Елизавета ничем помочь не смогла. Да и могла ли она что-нибудь сделать? Когда Сергей самоустранился, куда же ей соваться? Как она может взять Алю на лето, если мать не считает нужным отдавать ее? С Мариной ей не справиться.

Уехав из Коктебеля, подруги целых три недели провели в Святых Торах, а в конце августа 1915 года вернулись в Москву. Вскоре появился и Сергей. Худющий, коротко остриженный, на узком лице — распахнутые глаза, а в них вопрос и затаенный страх. Аля бросилась с визгом к отцу, повисла на его шее. Марина поцеловала мужа в щеку, отметила:

— Небрит. Аля! Оставь отца и марш мыть руки. Не хватает подцепить какую-то заразу. Сергей! Вам же не надо объяснять: немедленно мыться! Мне в доме тиф не нужен.

— Это, Мариночка, грязь въелась. Я уже в бане отмывался… Полная дезинфекция. Господи, как я рад! Алечка так выросла и красавица… Боже, Боже, благодарю тебя!.. А… Вы будете жить с нами?

— Ну, разумеется, дорогой мой рыцарь! — Марина все же решилась обнять мужа. — Как же *я* истосковалась, как боялась за вас! Будто все эти снаряды пролетали сквозь меня. — Краем глаза она осмотрела комнату. — Только надо все здесь привести в порядок. Дом ужасно запущен.

Марина озадаченно ходила по комнатам. Выброшенные из его вещмешка и ее с Алей чемоданов вещи занимали свои места. А потом стиранной гирляндой повисли во дворе под окнами — Глафира постаралась.

Жизнь пошла почти по-прежнему. У Марины своя, как всегда бурная… У Сони она стала появляться редко, наскоком. В сентябре-октябре почти каждый день писала по стихотворению и торопилась прочесть их в литературном салоне. Это все новые и новые вихри чувств. Марина вне времени, вне войны, вне народных волнений, политических дрязг. Вне опыта Сережиного ужаса в санитарном поезде. Марина, вообще, отделила себя ото всех и вся — лишь изредка слышится в ее произведениях мрачный отголосок внешних событий. Но главное — она сама — та необъятной глубины и сложности музыка, что звучит в ней и требует переложения в слово. Музыка Марининой души. А детские влюбленности в революции и героев-террористов отброшены как хлам.

Домой она приходила все такая же гордая, красивая, ухоженная, с наманикюренными пальчиками, звеня серебряными браслетами, обнимала Алю, целовала читавшего университетские

учебники Сергея. И упархивала к своим тетрадям. Ненасытная жажда острых впечатлений, хождения по канату над бездной определяет ее повышенный тонус. «Ненасытим мой голод на грусть, на страсть, насмерть».

Ей только 23 года, она чувствовала себя умудренной и так много повидавшей и испытавшей на своем веку женщиной. Той осенью становилось все яснее, что будущего у Сони и Марины нет. Постепенно из взаимного влечения стала вырастать взаимная вражда.

Сердце — любовных зелий
Зелье — вернее всех.
Женщина с колыбели
Чей-нибудь смертный грех.
Ах, далеко до неба!
Губы — близки во мгле…
— Бог, не суди! — Ты не был
Женщиной на земле!

Это защитная речь всем женщинам, прощение их ошибок. А главное — самооправдание.

А своим двоим любимым, Сереже и Соне, посвящено другое стихотворение, написанное 20 декабря 1915 года:

Лежат они, написанные наспех,
Тяжелые от горечи и нег.
Между любовью и любовью распят
Мой миг, мой час, мой день, мой год, мой век.
И слышу я, что где-то в мире — грозы,
Что амазонок копья блещут вновь.
— А я пера не удержу! — Две розы
Сердечную мне высосали кровь.

Марина еще не поняла: с Парнок кончилась ее юность. А зрелость, какая она получится? На следующий день после последних стихов, посвященных Софье, Цветаева принесла покаяние мужу.

Он и не ждал. Он и не знал, что узел завязан — Соня ушла навсегда из жизни Марины.

Он тихо спал под сопение Али, кроватку которой любил ставить рядом, если Марина не ночевала. А она была комнатой выше, и она решала их судьбу.

Вошла, зажгла свет, озарив комнату голубыми сумерками,

льющимися из фарфоровой лампы на цепях. Встала, как умела стоять — прямо и гордо. Синий шелк халатика струится до полу, превращая фигуру в изваяние.

— Сергей, проснитесь. Я должна сказать вам нечто важное.

Он похолодел — это могло означать все, что угодно. Сел, пригладил волосы.

Голос Марины звучал глухо:

Я пришла к тебе черной полночью,
За последней помощью.
Самозванцами, псами хищными,
Я дотла расхищена.
У палат твоих, царь истинный,
Стою — нищая!

— Я мучила вас, простите меня за эти осколки ворованной радости. За все и навсегда.

В кроватке стояла и смотрела Аля. Взрослыми, огромными глазами. Молча, словно поняла все, что происходило в эти мгновения. А до конца не понял никто. Марина не могла знать, что покаяние, принесенное мужу на всю жизнь, не покроет ее грядущих увлечений, измен. Не могла знать, что никакие пропасти между ней и Сергеем развести их уже не смогут. Что «поползет она за ним, как собака», несмотря на пропасти и расколы. Одно верно — гомоэротических связей в ее жизни больше не будет. В «Письме к Амазонке», написанной в Париже гораздо позже, есть фраза: «Больше меня этим не обольстишь».

Сергей понял, что выдержал испытание и что ежели таковые еще повторятся, тактика будет та же: понимание, отстранение, прощение. Только бы сил хватило.

Цикл стихотворений о Парное названный «Подруга», позже Марина переименовала, назвав «Ошибка». Только это ничего не меняло. Маринина судьба вышла на новый — единственно возможный для нее как человека и поэта путь. Стало ясно — ее поэзия питается новой страстью, как вампир свежей кровью.

Как не старайся объяснять многое в жизни Цветаевой метафорами ее стихов, натяжки слишком велики. Нельзя не признать: она легко играла судьбами — значительно легче, чем хотела показать в творчестве. «Я *всегда* разбивалась в вдребезги, и все мои стихи — те самые серебряные сердечные дребезги». Воспаряла на высоту мастерски воссозданной ею страсти — взрывоопасной, чреватой трагедиями, надрывом любви-ненависти — и бросалась вниз — в пропасть отверженности, неразделенности. Чтобы оставить на страницах тетрадок

сверкающие «сердечные дребезги» стихов и начать все снова.

Эта нескончаемая чреда горений на костре любовных страстей — неотъемлемая составляющая существования Цветаевой Поэта — «топливо» вечно пылающей души творца.

«Мой странный, мой прекрасный брат»

В конце декабря 1915-го Марина уехала в Петербург, или, как он теперь назывался, Петроград. И уже третью неделю она с большим успехом покоряла питерские литературные круги. Она познакомилась со множеством петербургских поэтов. К сожалению, с Александром Блоком, Николаем Гумилевым и Анной Ахматовой встретиться ей не удалось. Особенно огорчила не-встреча с Ахматовой, ради которой, собственно, Марина и рвалась в Питер.

Стихи Цветаевой появляются на страницах столичного журнала «Северные записки», имя ее было известно, к ней отнеслись с любопытством и с интересом. Цветаева посещала литературные салоны, слушала петербуржцев, сама много читала. Она как бы несла миссию посланца литературной Москвы литературному Петербургу. Марина не могла не знать, что ее сравнивают с Ахматовой и даже противопоставляют ей. Образовалось как бы два лагеря поклонников той и другой поэтессы. Это подстегивало ее азарт. Зная, что резонанс о ее вечере дойдет до Ахматовой, Марина читала как никогда вдохновенно, с некой даже приподнятостью» Казалось, слушать ее готовы были без конца. «Читаю весь свой стихотворный 1915 год — а все мало, а все — еще хотят. Ясно чувствую, что читаю от лица Москвы и что этим лицом в грязь — не ударяю, что возношу его на уровень лица — ахматовского».

После чтений пили чай с сушками. Кто-то принес варенье — с продуктами в городе было уже плохо. Цех питерских поэтов и особенно поэтесс украдкой и с любопытством рассматривал москвичку. Все знали о ее недавнем романе, анализировали сопровождавшие его стихи, сочувствовали Эфрону и — завидовали.

Цветаева выглядела по-иному, чем ожидали многие в контексте довольно эпатажного романа с Парнок — нет и налета салонности, вызова. Черное платье, простая стрижка, ни тени косметики. Лишь звенящие браслеты, да два серебряных колечка. Во всем облике некая небрежность и нарочитая простота. Взгляд спокойный, рассеянный, отстраненный. Из-за слоистого голубого дыма бесконечной папиросы — бледное лицо, низкая челка, сомкнутые, немногословные губы. Ей аплодировали, просили

повторить. В публике зала сидел и тот, которого она хотела завоевать.

В Петербурге Цветаева впервые услышала Мандельштама. Полузакрыв верблюжьи глаза, двадцатишестилетний поэт вещал:

«Поедем в Ца-арское Се-ело,
Свободны, веселы и пьяны,
Там улыбаются уланы,
Вскочив на крепкое седло…»

Он совсем не был похож на лихого улана и весельчака. Но писал с редкостной силой — это Марину завораживало в первую очередь. Она сумела оценить мощный дар молодого поэта, его своеобразное обаяние. Подсознательно включился процесс охоты. После расставания с Парнок требовалась эмоциональная пища, душа просила огня, сердце — влюбленности в незаурядность, в гения. Влюбленности Марины в творческих мужчин, даже часто почти придуманные, не были вовсе бескорыстны. Цветаева не раз говорила о людях, которым имела каприз писать, что «приведет их в историю за собой». Слова пророческие — десятки персонажей вплыли в круг интересов исследователей творчества Цветаевой лишь потому, что вращались возле нее. Марина ждала от покоренного ею поэта самого большого и ценного дара — посвящения в Музы, написанных о ней и для нее стихов — способных войти в историю. Этот самый желанный плод любви она могла бы получить от Мандельштама. Да и для нее наиболее действенным оружием в арсенале обольщения было перо. В случае Мандельштама — чары неодолимые — уж он-то сумеет оценить их.

Закинув голову, полуопустив веки, так, что тени от загнутых ресниц ложились на щеки, отчеканивая ритм, подчеркивая мелодику стиха, он самозабвенно читал самое новое.

Цветаева приняла бой, «в первую голову» она читала «свою боевую Германию» и «Я знаю правду! Все прежние правды — прочь!». В самый разгар войны это было криком гуманизма:

Я знаю правду! Все прежние правды — прочь!
Не надо людям с людьми на земле бороться…

Чувства, выраженные в этих стихах, были близки Мандельштаму, он тоже работал над антивоенной темой. В ответ он прочел «Дифирамб Миру»:

Мы научились умирать,
Но разве этого хотели?..

Стихи московской поэтессы и питерца перекликались эхом, темы вторили друг другу: праздник духа — дуэль. Возникло ощущение духовного родства и телесного притяжения.

Мандельштам подарил Марине только что вышедший сборник «Камень» с надписью: «Марине Цветаевой — Камень-памятка. Осип Мандельштам. Петербург 10 янв. 1916».

Всю ночь они гуляли по городу, читали стихи, искренне наслаждаясь мастерством друг друга. И еще много читали Ахматову и восхищались в два голоса.

— Я знаю — Ахматова сильнее меня Поэт. Ни чуточки зависти, только преклонение. — Не кривила душой Марина.

— Больше-меньше — тут не мера. Анна Андреевна другая. Другой голос, другое напряжение энергии.

— Мы с ней антиподы в плане человеческом, да и по сути поэтической личности. Я люблю в Ахматовой больше всего то, чего сама не умею. Ее сдержанность, гармоничность! Огонь, но укрощенный. — Марина искоса поглядывала на профиль спутника — закинутую голову, крупный, ходящий на выгнутой шее кадык, лицо с опущенными веками. Ресницы были богатейшие, так, что глаза казались вовсе закрытыми. А от того речь Осипа была похожа на изречения слепого оракула. И понимал этот оракул Марину с полуслова.

— У вас с Анной Андреевной разный тип горения. Внешняя сдержанность Ахматовой как бы скрывает внутренний пожар. Она наблюдает со стороны. Вы же бушуете вся в открытую. Вся лава стиха выплескивается наружу. И с какой мощью!

— Увы, я — живу крайностями. Иначе не получается. То чернокнижница, то монахиня. Перепады «давления» заводят механизм моих стихов. Вот и получается плач. А то и рыдания. — Марина в светлом цигейковом полушубке и сдвинутом на ухо белом беретике чувствовала себя неотразимой — этот странный гений был целиком в ее власти.

— Вы громкая. Изнутри громкая. Даже когда шепчете — всегда кажется, что кричите. У Анны Андреевны другой голос.

— Для меня стихи Анны — это дар Божий, явленный миру в прекрасной женщине.

— А вы не завистливы, Марина, — редкость в нашем кругу. Или лукавите? — Не поворачивая головы, он искоса глянул на спутницу.

— Я всегда говорю, что хочу.

— А делаете тоже, что вам хочется?

— Стараюсь не хотеть того, что не могу достать.

— «А виноград-то зелен»! — он положил руки на ее плечи. — Меня достать просто. Но только вам, Марина. Для других я абсолютно несъедобен.

Поцелуй открыл новый роман Марины, головокружительный, потому что ее партнером был Поэт, которого она сразу возвеличила, поставила выше себя.

— А знаете, что я теперь непременно должна сделать? — отстранившись, не убирая рук с его плеч, она посмотрела прямо в это особенное, по-детски торжественное лицо: — Я должна подарить вам свою Москву!

Так начинался новый роман. В «Истории одного посвящения» Цветаева вспоминала «чудесные дни с февраля по июнь 1916 года, дни, когда я Мандельштаму дарила Москву». Когда 20 января Цветаева вернулась домой, Мандельштам приехал с ней. Представила гостя мужу:

— Сергей, знакомься — Осип Мандельштам. Он тебе понравится. Почти Пушкин, ну уж молодой Державин — точно. И совершенно особенный. Он поживет у нас. Я хочу подарить Осипу свою Москву.

— Приятно познакомиться, — Сергей пожал петербуржцу руку и подумал: «Надолго ли?» — Он знал стихи Мандельштама, чувствовал звенящую струну в интонации Марины, обещавшую серьезное увлечение гостем. — Чрезвычайно рад!

Сергей ожидал увидеть некоего Питерского Аполлона. Приехал милый, курчавый, застенчивый еврей, с томным взглядом из-под кукольных ресниц. Испуганный, неловкий и от того казавшийся надутым. Марина в гостя впилась со всей своей ненасытностью на новых талантливых людей. Осип прожил в Москве две недели. Уехал, прощаясь навсегда, сказав Марине с интонацией уходящего на дуэль улана:

— Меня засасывает. С этим надо как-то покончить. — И посмотрел на нее с трагической обреченностью. О, какая боль, какая скорая и мучительная разлука!

После его отъезда Цветаева написала первое обращенное к нему стихотворение — прощальное:

Никто ничего не отнял —
Мне сладостно, что мы врозь!
Целую Вас — через сотни
Разъединяющих верст…
…..
Нежней и бесповоротней

Никто не глядел Вам вслед…
Целую Вас — через сотни
Разъединяющих лет.

— Я не знала, что он вернется, — объяснила она Сергею, сообщив через несколько дней, что Осип приезжает в Москву снова. — И посвятила ему прощальные стихи. Вот. — Марина прочла Сергею пару четверостиший.

— Пронзительно… — Сергей отвернулся.

Что почувствовал он, кроме гордости за поэтическое мастерство жены, услыхав эти строки? И как не могла понять она, что даже безоглядная преданность Сергея не защищает его от боли! Такие рыдания, такой надрыв — другому! Такое восхищение — другим!

Мандельштам вернулся в Москву в том же феврале, и до самого лета потянулась череда его «приездов и отъездов, наездов и *бегства,* по выражению Цветаевой. Он ездил в Москву так часто, что даже подумывал найти там службу и остаться жить.

И помчались в угаре взаимного увлечения, в пьянящих парах поэзии, в бесценном величии московских соборов эти чудесные дни с февраля по июнь 1916 года, дни, когда Цветаева «Мандельштаму дарила Москву».

Был ли между ними роман в настоящем смысле слова? Да. К тому же — совсем не тайный. И для Мандельштама эти отношения значили больше, чем для Цветаевой. «Божественный мальчик» и «прекрасный брат» в Мандельштаме были для нее важнее возлюбленного. Пылкая Марина будила в мечтательно-дремлющем философе чувственность и способность к спонтанной и необузданной любви. Но не только способность к любви, а и к стихам о любви. От стихов, написанных Марине, ведет начало любовная лирика Мандельштама. Но тон задавала она:

Откуда такая нежность?
Не первые — эти кудри
Разглаживаю, и губы
Знавала темней твоих…

Всходили и гасли звезды
(откуда такая нежность?),
всходили и гасли очи у самых моих очей.

Моментальной фотографией запечатлена прогулка Цветаевой и Мандельштама по Москве. Балагуря на взлете радости, Марина

учила его свободе чувств. Так легко и так пронзительно, оказывается, звучат эти сочиненные мимоходом «пустячки»:

Ты запрокидываешь голову —
Затем, что ты гордец и враль.
Какого спутника веселого
Привел мне нынешний февраль!

Преследуемы оборванцами
И медленно пуская дым,
Торжественными чужестранцами
Проходим городом родным…

Вместе с собой Цветаева дарила Мандельштаму Москву и Россию. Может быть, с нею он впервые побывал в Кремле.

Из рук моих — нерукотворный град
Прими, мой странный, мой прекрасный брат…
Облака — вокруг,
Купола — вокруг,
Надо всей Москвой —
Сколько хватит рук! —
Возношу тебя, бремя лучшее,
Деревцо мое Невесомое!

Не только влюбленность влекла Мандельштама в Москву. Они подпитывались друг другом — у каждого было чем поделиться с собратом по перу. Ко времени их встречи Мандельштам был сложившейся личностью с вполне определенными взглядами не только на поэзию, но и на историю. Нет сомнения, что в обычном житейском плане Цветаева опережала Мандельштама, но в плане духовном и философском заметно отставала — она еще не вникала в такие проблемы, которые занимали Осипа. Дружба с Цветаевой открыла завзятому питерцу Москву, незнакомую еще Россию, перевернула его представление не только о мире, но и о самом себе.

Но и для Цветаевой эта дружба не прошла бесследно. Серьезность и глубина мандельштамовскими размышлений о мире, об истории и культуре и для нее открыли новый простор, и у нее появилось «вольное дыхание». Ее поэзия одновременно стала и шире, и глубже. Как Мандельштам по стихам, обращенным к Цветаевой, перешел в новый этап своего творчества, открыл ими сборник «Tristia», так и она

«мандельштамовскими» стихами начала новый этап своей лирики — «Версты». Ими открылась эпоха взрослой Цветаевой. В дни их дружбы ей было 23, ему — 25 лет.

Цветаева возвеличивает Мандельштама. Свой, рожденный из хаоса, вне поэтических школ, «невоспитанный» стих она противопоставляет мандельштамовскому:

Я знаю: наш дар — неравен.
Мой голос впервые — тих.
Что Вам, молодой Державин,
Мой невоспитанный стих!

Влюбленную Марину все восхищает в Осипе — он так умен и совершеннейший ребенок! Зимой ходил в смешной вязаной шапке с завязанными под подбородком «ушами» — боялся простуды. Весной — опасался луж и промоченных ботинок. Не забывал надеть галош. Прогулки ограничивались походами по городу — лесопарковые зоны, обожаемые Мариной, страшили Осипа разнообразными опасностями — укусами клещей, бандитами, безлюдьем, змеями.

Еще в феврале у Патриарших они подошли к горке, с которой на санях съезжали к замерзшему пруду дети. Хохот, яблочный румянец, искрящийся на солнце снег. Осип хмурился, по его мнению, прогулка затянулась.

— Давайте скатимся с горки, «молодой Державин»! — сверкнула азартно глазами Марина, выпросив у какого-то паренька салазки.

— Вы что, Марина! — испуганный не на шутку Осип оттащил ее за рукав подальше от накатанного края. — Я ни за что не поеду, да и вас не пущу. А вдруг лед провалится? Смотрите, он еле держится! Или ногу сломаете? У меня вообще кости с детства хрупкие.

Марина смеялась — это восхитительно: совершеннейшие нелепости от глубокого философа! Она была счастлива.

Сергей вел себя, как решил — с участливостью и безразличием брата. Но как Же ему плохо! Ведь после Сони, покаяния Марины был такой взрыв сближения! И страсть у них была! Была! И снова он один. Так в чем же дело? Неужели не понятно: он — живой! Ему так нужна близость с Мариной, это блаженное ощущение полного единства… Но она и не собирается вернуть счастливый миг. Она наслаждается близостью с другим. Ладно, это можно вытерпеть. Главное — Алечка здорова, необычайно способна, обожает отца, и в университете он идет первым. Сестра говорит:

— Терпи, милый, ради дочки терпи и ради себя — ведь ты ж ее больше жизни любишь.

Весной Марина объявила:

— Сергей, я вас поздравляю! На лето вы останетесь в Москве совсем один! Можете заниматься целыми днями. Сестра уезжает, а мне надо в доме Иловайских в Александрове ее Андрюшку пасти. Аля и няня едут со мной. Ну и Осип — на парное молочко. Мне кажется, у него слабое здоровье.

Раньше считалось, что парное молоко необходимо исключительно Сергею.

* * *

Городок Александров Владимирской губернии. Черемуха, рыжие коровы на косогорах, земляника в траве у железнодорожного перегона…

Лето 1916-го — мимо мчатся на поля сражений эшелоны с солдатами. Проносятся, бедолаги, с песнями, заглядываясь на мимолетных девчат. Марина, вместе с деревенскими бабами, машет им платочком, потом пишет пронзительные стихи.

Она неутомимый пешеход, часами с детьми гуляет по окрестностям. Чуть позади, косясь опасливо на пасущихся бычков, плетется, спотыкаясь, Мандельштам.

— Жителю города такие марш-броски противопоказаны. Я искусан комарами, натер ногу. Носки не штопаны, ботинки трут! — Бурчит он.

— Главное — сердце без дыр и нагрузку выдерживает. Я-то ходок знаменитый. — Быстроногая Марина чуть сбавила темп. — Сердце у меня из этих мест — крестьянское — сплошной мускул, несущий меня вскачь. Сердце не поэта, а пешехода. Пешее сердце от всех моих предков. Вы думаете, я пользуюсь лифтами? Нет! Я их бегом по лестнице обскакиваю.

…Наискось от дома старое кладбище — любимое место прогулки детей и явная мука Мандельштама. Он побаивается проваленного склепа, возле которого непременно возятся дети, опасливо обходит могилы.

— Зачем вы меня сюда привели? Мне страшно. — Ему неможется — петербуржец и крымовец к косогорам не привык. Слишком много коров, слишком много крестов. — Вы рассеянная какая-то, думаете о покойниках, про меня забыли.

Марина смотрит на цифры на крестах, высчитывая жизненные сроки. С умиротворением:

— Хорошо лежать!

— Совсем не хорошо. Вы будете лежать, а по вас ходить.

— А при жизни не ходили?

— Метафора! Я о ногах, даже сапогах говорю.

Приезжие монашки предлагают купить вышитые рубашки. Их темные лики путают Осипа.

— А я каждый раз, когда вижу монашку (монаха, священника, какое бы то ни было духовное лицо), — стыжусь, — признается Марина. — Стихов, вихров, окурков, обручального кольца — себя.

Она знает, что этим темноликим старицам известно о ее бледноглазом друге — Мышастом. Его-то и вихры, и окурки, и оскорбленное изменами обручальное кольцо не смущает. Он принимает ее такой, какая она есть, и Марина его любит.

Мандельштам все время в беспокойстве — из дома его тянет на прогулку, с прогулки — домой. Томится, когда не пишет, а пишется ему редко — раз в три месяца по стиху.

Как-то утром вдруг, не предупредив загодя, собрался уезжать в Крым.

На вокзале уже из поезда крикнул: «Марина Ивановна! Я, может быть, глупость делаю, что уезжаю? Марина Ивановна (паровоз уже трогается) — я, *наверное,* глупость делаю! Мне здесь (иду вдоль движущихся колес), мне у Вас было так, так… (вагон прибавляет ходу, прибавляю и я) — мне никогда ни с… Мне так не хочется в Крым!»

Исчезающему в дали поезду долго махали дети.

«Сбежал окончательно», — поняла Марина. Упоительного романа с перекличкой стихами, как с Парнок, не получилось. Он был влюблен, но чувствовал себя неуютно в чужой семье, да и Марина оказалась слишком напориста, слишком искриста для него. Он так любил покой, уединение с томами прекрасных книг… Марш-броски по Москве и деревенские прогулки окончательно ввели в паническое состояние флегматичного философа. И все же Марина получила от него драгоценный дар.

Вскоре из Коктебеля пришло письмо — прощальное стихотворение Мандельштама. После него наступил конец — все, что Цветаева и Мандельштам могли сказать друг другу, было сказано в стихах.

Как скоро ты смуглянкой стала и к Спасу бедному пришла, не отрываясь целовала, а гордою в Москве была.

Нам остается только имя, чудесный звук на долгий срок.

Прими ж ладонями моими пересыпаемый песок.

Драгоценный песок слов с его ладоней — Марина поняла. Правда, этот поэтический финал касается лирических отношений. Продолжение профессиональных было куда печальней. Расхождение в поэтике и взглядах приведет к яростной дискуссии

в прессе. Уже позже, когда Цветаева окажется в эмиграции, Мандельштам разгромит ее стихи, посвященные Добровольческой армии, как и само Добровольчество, а она даст отпор прокоммунистическим настроениям Мандельштама.

Ахматовой Цветаева посвятила цикл стихов. Цветаевские славословия Анну Андреевну не тронули, она не ответила на «Стихи к Ахматовой». Несколько поздних ее отзывов о Цветаевой более чем сдержаны… А встречу с царственной нищенкой Ахматовой, случившуюся в Петербурге в 1940 году, Цветаева отнесла в категорию «невстреч» — ни поэтического, ни человеческого контакта не получилось.

* * *

Этим летом Сергей Эфрон окончательно оставил службу в военно-санитарном поезде. Его призвали в армию, и он должен был пройти курс военной подготовки в школе прапорщиков. До этого он успел побывать в своем любимом Коктебеле — ему необходим был отдых.

Вернулся омраченный. Под глазами круги и кашель, надрывающий грудь.

— Вы, кажется, вовсе не отдохнули, — Марина нахмурилась, пощупала лоб. — Температурите.

Сергей поймал ее руку, прижал к щеке, закрыл глаза.

— Это от тоски. Я очень соскучился.

Он даже не намекнул, что присутствие Осипа Мандельштама в жизни Марины отодвинуло его с законного места супруга на роль фигуры родственника второго плана. Отчаянье толкало к решительным действиям. Едва закончив первый курс университета, Сергей подал прошение о приеме добровольцем в армию и был призван на фронт, вначале в качестве слушателя школы прапорщиков.

— Школа прапорщиков не санаторий. Уверена, что тебя скоро выпустят, — при таком самочувствии какая служба? Есть же специальная медицинская комиссия?

— Комиссию я прошел. Признали годным, — Сергей снова лукавил, ему пришлось отчаянно проситься на военную службу.

— Но я жду ребенка. Мне будет трудно.

— Сейчас всем трудно. Постараюсь поскорее перевестись в Москву.

В январе Марина с округлившимся животом шла за ротой прапорщиков, отправлявшихся на вокзал. За руку ее держалась четырехлетняя Аля. Она не могла оторвать глаз от отца, так

страшно преображенного длинной шинелью, фуражкой. Он шел в строю таких же серых людей, уже в другой, грозной и строгой жизни с отрешенным лицом. Под пули германцев.

Но и это не породило у Цветаевой ненависти к «врагу». На третий год войны у нее появилась формула, которая и потом, в годы Гражданской войны, выражала ее отношение к происходящему:

Сегодня ночью я целую в грудь
Всю круглую воюющую землю…

Для Цветаевой мир не делился на «наших» и «немцев». «Ненависть — ниц! Сын — раз в крови», — скажет она позже. Это великая формула — формула всепобеждающей человечности. Подлинного всеобщего человеческого родства. Марина не меняла свои принципы. Увы, не менял их и беспрерывно воюющий мир.

«Пал без славы орел двуглавый…»

Москву трясло как в лихорадке. Ощущение надвигающейся грозы носилось в воздухе. Что-то смутное, тяжкое, наваливалось на грудь, мутило мысли. Цветаева не хотела замечать происходящего вокруг. Какие-то государственные перевороты, какие-то петиции, воззвания, митинги! Новые партии, новые лица, всплывавшие на гребне смуты, — и все что-то хотят. Бурно, самоотверженно. Вроде, для России, но ведь яснее ясного — для себя. Разинутые рты, воздетые в призыве длани, знамена, знамена! Себе монумент лепят. Себя в историю вколачивают. Слухи, слухи… Война, страсти, страхи… Ощущение одно — досада. И еще нечистоплотность — все время помыться хочется. Как это все некстати! Как нелепо вторгается грубая сила «социальных сдвигов» в ее личное жизненное пространство, ее личное бытие. Марина ждет ребенка. Должен родиться сын. Сомнений нет — ей нужен мальчик, только мальчик — маленький Орленок, наследник цветаевской породы. Беременность проходит трудно, от Сережи подолгу не бывает вестей. Только маленькая Аля — помощница и подруга — всегда рядом, тихонько слушает, дает советы. Отгоняя стихами страхи и тревожные мысли, Цветаева писала ночами. Писала трудно, стихи не шли, не вдохновляло и не волновало все непонятное и пугающее, что происходило за стенами дома. «Политика — всегда грязь», «газеты — нечисть» — это убеждение прочно вошло в сознание с детства. Тогда понятие «политика» было для

строптивой Муси еще некой абстракцией, синонимом скуки, а газеты — кипой пыльной бумаги на безупречном глянце рояля. Отвращение осталось на уровне физиологии. Интуиция или знания, пришедшие из каких-то других источников информации, редко обманывали Марину. Она не ошибалась даже в таких ситуациях, в которых терялись люди, куда *более* опытные в житейском смысле.

27 февраля в Москве пронеслась весть о государственном перевороте в Петрограде, а вечером телефонная связь со столицей прервалась. На другой день утром начали бастовать заводы, остановились трамваи, не вышли газеты. На Воскресенской площади против Государственной думы целый день продолжался многолюдный митинг. Москва всколыхнулась, но ничего чрезвычайного не происходило: ни стрельбы, ни уличньОс боев или беспорядков. Не было и победных песен.

Интеллигенция, так давно ждавшая общественных перемен, пребывала в эйфории и жаждала приступить к созиданию нового прогрессивного государства.

Максимилиан Волошин, проводивший зиму в Москве, бурлил энергией. Словно Буревестник, он носился по городу, восторженно делился с друзьями и знакомыми планами, проектами. Многие разделяли его энтузиазм и веру в блестящие перспективы обновления государства, кто-то держался настороженно. Огромная фигура Макса источала такую надежность и силу, что спорили с ним редко.

Макс вторгался в комнату Марины, неся с собой свежее дыхание близкой весны. Сколько радости было на его львином лице, сколько восторга звенело в блестящих тирадах! Марина лишь натягивала до ушей плед и сильнее вжималась в мягкий, спасительный диван. Вбегавшая за гостем горничная спешно забирала его шляпу и пальто. Аля, рисовавшая «синюю революцию» на чистой стороне каких-то рукописей, оставшихся из архива деда, вскакивала, чтобы сделать книксен.

— А скоро и этих глупостей вовсе не будет! — Максимилиан протягивал девочке великанскую ладонь и деликатно сжимал ее крошечную ручку. — Вот так лучше — верно? Рукопожатие — это открытый жест содружества, независимо от пола и возраста. Знаешь, ведь это я научил твою знаменитую маму здороваться — совать для пожатия не какую-то вялую дохлую рыбу, а честную, сильную ладонь.

— Мама вообще очень сильная. Она, наверно, боялась повредить людям руку и потому не сжимала ее, а давала только дотронуться.

— Сильная? А я вот не вижу! — он подошел к дивану

Марины, та даже не обернулась. — Все лежите, драгоценная моя! Так всю историю на диване и пролежите. Там вся Москва в красных флагах! У всех банты, автомобили в лентах! Второго марта образовалось Временное правительство! Это великий этап! Ве-ли-кий!

— Угу…

— Вы хоть в курсе, что император Николай третьего дня отрекся от престола?

— Глаша сказала, ей дворник доложил.

— А вчера отрекся от престола и его брат Великий князь Михаил Александрович! Это же — свобода! Первый акт русской революции свершился бескровно! — потирая руки, Макс большими шагами мерил комнату.

— Теперь наступит всеобщее благоденствие, — подала бесцветный голос Марины.

— Да! Наступит! Вот газета «Исторический вестник», — Макс достал из кармана сложенные листы и, развернув их на нужном месте, протянул Але:

— Прочти Алечка маме!

— Все сначала?

— Вот отсюда! — ткнул Максов палец в хрустнувший лист.

— «…над русской землей взошло яркое солнце, живительные лучи которого должны согреть ее теплом и светом, вызвать наружу ее творческие силы, столь долго находившиеся под гнетом старой власти…»

— Аля, накрой меня пледом, познабливает. И тошнота подкатывает, — не сдержалась Марина.

Такого рода речи про «живительные лучи» она всегда считала фальшивкой и обманом, кто бы их не произносил. Высказала бы все это Максу, но сил не было. — Ой, кабы вы знали, Макс, тошно-то как! Мальчик. Несомненно, он — мучитель мой! Ради сына я перетерплю все. И даже «солнце благоденствия» или что там еще у вас должно согреть нас, несчастных, — спустив ноги в деревенских носках, она села, кутаясь в принесенный Алей плед. Строгие глаза смотрели из-под челки невесело. — Вот, боюсь, только не дождемся мы его «живительных лучей». Развал какой-то! Булочник сбежал, молочница третью неделю не ходит. Глаша на соседнюю улицу за молоком бегает.

Максимилиан бурно огорчился:

— «Булочник сбежал!» Как можно такие пошлости говорить? В такой эпохальный момент! И кому? Поэту! Пророку! Мне не верите, послушайте, что Блок матери написал — он сам мне дал, чтобы я ей прочел — зрение старушку подводит. Слушайте, читаю:

«Произошло чудо и, следовательно, будут еще чудеса. Никогда никто из нас не мог думать, что будет свидетелем таких простых чудес, совершающихся ежедневно… Казалось бы, можно всего бояться, но ничего страшного нет, необыкновенно величественная вольность, военные автомобили с красными флагами, солдатские шинели с красными бантами, Зимний дворец с красным флагом на крыше…»

— Максик, пожалуйста, я сейчас не в силах оценить чудеса с красными флагами.

— Вы же Блока боготворите! Для вас Александр — пророк и серафим.

Марина, слегка закинув голову, поглаживая живот, заговорила тихо:

Над церковкой — голубые облака,
Крик вороний…
И проходят — цвета пепла и песка —
Революционные войска.
Ох, ты барская, ты царская моя тоска!
Нет лиц у них и нет имен, —
Песен нету!
Заблудился ты, кремлевский звон,
В этом ветреном лесу знамен.
Помолись, Москва, ложись,
Москва, на вечный сон!

— Как раз на Пасху, 2 марта писаны. А вот еще, простенькое, но от души:

Пал без славы
Орел двуглавый.
— Царь! — Вы были неправы.
Помянет потомство
Еще не раз —
Византийское вероломство
Ваших ясных глаз…

— Это мама написала, когда Царь Николай Второй отрекся от государства. Отрекаться — стыдно! — Аля смотрела хмуро, рисуя на альбомном листе синие знамена, отлично понимая, что красные — это вероломство, убившее двуглавого орла. Марина не знала, что те же чувства испытывал смотревший в эти дни на революционные толпы писатель Иван Бунин. Лица марширующих

под знаменами казались ему серой, мертвой, смердящей массой. Он уже предвидел деятельный захват власти большевиками, угадал в ней удаль лихого бандитизма и безнаказанного грабежа.

13 апреля 1917 года у Марины родилась вторая дочь. Роды проходили трудно и долго. Едва переведя дух, смахнув прилипшую ко лбу потную челку, белыми губами переспросила доктора:

— Девочка?! Вы уверены? Странно… — И отвернула голову к стене, ничем больше не интересуясь.

Девочку Марина назвала Ирой, препоручила няне и до года ни одной строчкой о ней не вспоминала. Ни записи, ни слова, сплошное разочарование, обида. К тому же скоро выяснилось, что девочка родилась слабенькой. С ней надо было много возиться, все время кормить. Да и похвастаться перед знакомыми нечем. Очевидно то, о чем стараются упоминать как можно деликатней — Марина не сумела полюбить девочку. Материнского тепла, женского инстинкта в ней и раньше было немного. Но Аля восхищала способностями, и Сергей был рядом, и няни, и благополучие — все вместе складывалось в большое, благоуханное, как ветка тогдашней крымской акации, счастье. Ирина же воспринималась как насмешка судьбы, каверзная помеха Марининой, и без того ставшей нелегкой, жизни. Слыша бесконечное нытье ребенка, Марина злилась: весь этот сюжет с неудачным материнством, словно вышедший из какого-то мрачного романа Эмиля Золя, не мог иметь отношения к ее жизни.

Дальше — хуже. В мае скоропостижно скончался в Москве второй муж сестры Аси — Маврикий Александрович Минц. Ася, только что уехавшая со своими мальчиками в Крым, примчалась обратно, но не успела даже на похороны. Она вернулась в Коктебель к детям, к Пра и Максу, но через два месяца случилось несчастье. В Коктебеле умер от дизентерии ее младший сын — годовалый Алеша. Сплошные слезы и похороны.

В Москве же с каждым днем ощущалось наступление разрухи и всяческих напастей — то эпидемии, то грабежи, то погромы. С продуктами все хуже, дрова кончаются, крыша течет, хозяин, следивший за починкой дома, говорят, бежал к брату в Грецию. А с ним исчез и ковер с лестницы, бронзовый звонок, да и сами резные двери на улицу. Прислуга разбежалась по своим деревням, где, вроде, пока было сытнее. На Цветаеву, долго после рождения дочери болевшую, наваливались реальные житейские заботы, необходимость думать о детях, муже, будущем семьи. Из прислуги осталась одна Глаша. Помогала вести хозяйство сестра Сергея Лиля. Одна радость — Сергей с августа перевелся служить

в Москву. Зачислен в 56-й пехотный запасной полк, обучает строевой службе солдат. Домой приходит еле живой. Лицо прозрачное, кажется, вот-вот растает.

— Сережа, дорогой мой, вы убиваете себя. Надо что-то делать. Кого-то просить помочь с медкомиссией! Высокие идеалы, подвиг — это для вас важнее, я понимаю. А оставить жену с двумя детьми на руках можно? — Марина злилась на всех, а больше всего на Ирину, вывозившуюся в грязных пеленках и никак не дававшую себя помыть.

— Тяжелое сейчас время… — Сергей слонялся по комнате, перекладывая с места на место какие-то тряпки. В быту он был человеком беспомощным совершенно. Только Марина могла не замечать этого, так как сама скользила над поверхностью быта, от рождения полагая, что для обслуживания хозяйственных проблем есть специальные люди.

— Я надеялся, что окажусь сильнее. Оплошал. Страшно подумать, что будет дальше. Уже сейчас — сравнительно в хороших условиях — от одного обучения солдат устаю до тошноты и головокружения.

— Совершенно ясно — есть только один выход: нужно просить, чтобы вас направили в легкую артиллерию! — Марина, наконец, справилась с Ирой, туго завернула закатывавшуюся криком девочку в одеяльце.

— Как вы не понимаете! Не могу я, это нечестно, — старался он перекричать ребенка. — Легкая — слишком безопасно. Если артиллерия, тогда уж тяжелая. Господи! Как она жалобно верещит!

Марина передала на руки мужу кричавшую Иру. Сергея качнуло, он сел, неловко ухватив ребенка.

— И этот человек говорит о тяжелой артиллерии! Богатырь! Я умоляю вас хотя бы взять отпуск и поехать к Волошиным. Вам необходима передышка: отдых, тепло, солнце, белый хлеб. В Москве голодно, упорно говорят, что к зиме наступят настоящий голод и холод. Нам всем надо скорее уезжать на юг — здесь не выживем! — Марина дала ребенку соску, и крик умолк. Сразу стало тихо. — Сережа, мне страшно…

* * *

Шла война, революция, страна разваливалась на глазах. Цветаева надеялась переждать в Крыму московскую смуту. В первых числах октября она приехала в Крым одна, чтобы разведать обстановку и вернуться в Москву за семьей. Дети

остались с сестрой Сергея. В Крыму ситуация оказалась действительно не столь угрожающей. Хотя сахар и керосин давно выдавали по карточкам, но были солнце, море, белый хлеб, виноград. А главное — здесь были Ася и Макс с Пра — близкие и нужные ей люди. Марина выехала из Феодосии домой в последний день октября. О том, что происходило в эти дни в столицах, она не знала.

Марина увозила с собой пугающие впечатления от революционных событий в Крыму, происходивших под лозунгом восславленных Максом свобод. Революционные солдаты громили винные склады. Это была буйная, безудержная толпа, подогретая жаждой грабежа и безнаказанностью. Красные реки старого вина алели кровью на мостовой и в сточных канавах.

Ночь. — Норд-Ост. — Рев солдат. — Рев волн.
Разгромили винный склад. — Вдоль стен
По канавам — драгоценный поток,
И кровавая в нем пляшет луна.

По дороге в Москву в поезде Цветаева узнала о революции и уличных боях в Москве. Весь вагон вслух читал купленные на станциях газеты. На каждой новой станции, в каждой следующей газете подробности звучали все страшнее. Пятьдесят шестой полк, где служит Сергей, защищал Кремль. Убитые исчислялись тысячами, в каждой новой газете появлялись все новые страшные подробности…

Они оба написали об этих днях: Марина рассказ «Октябрь в вагоне». Сергей — «Октябрь».

Сокращая описания подробностей, приведем его рассказ здесь:

«Это было утром 26 октября. Помню, как нехотя я, садясь за чай, развернул «Русские ведомости» или «Русское слово», не ожидая, после провала Корниловского выступления, ничего доброго.

На первой странице бросилась в глаза напечатанная жирным шрифтом строчка:

«Переворот в Петрограде. Арест членов Временного правительства. Бои на улицах города».

Кровь бросилась в голову. То, что должно было произойти со

дня на день, и мысль о чем так старательно отгонялась всеми, — свершилось.

Предупредив сестру (жена в это время находилась в Крыму), я быстро оделся, захватил в боковой карман шинели револьвер «Ивер и Джонсон» и полетел в полк, где, конечно, должны были собраться офицеры, чтобы сговориться о ближайших действиях.

Я знал, наверное, что большевики будут сражаться за Москву, но я недооценивал их силы, их поражение казалось мне несомненным.

Мальчишеский задор, соединенный с долго накапливаемой и сдерживаемой энергией, давали себя чувствовать так сильно, что я не мог побороть лихорадочной дрожи.

В небольшом помещении Офицерского собрания — давка. С большим трудом протискиваюсь в середину. По лицам вижу, что настроены сдержанно, но решительно. Большинство наивно уверено в успехе несуществующих антибольшевистских сил.

— Вы подсчитайте только, — кипятится молодой прапорщик, — в нашем полку триста офицеров, а всего в Московском гарнизоне тысяч до двадцати. Ведь это же громадная сила! Я не беру в счет военных училищ и школ прапорщиков. С одними юнкерами можно всех большевиков из Москвы изгнать.

— А после что? — спрашивает старый капитан Ф.

— Как — после что? — возмущается прапорщик. — Да ведь Москва-то это — все. Мы установим связь с казаками, а через несколько дней вся Россия в наших руках.

— Вы говорите как ребенок, — начинает сердиться капитан. — Сейчас в Совете рабочих депутатов идет работа по подготовке переворота, и я уверен, что такая же работа идет и в нашем полку. А что мы делаем? Болтаем, болтаем и болтаем. Керенщина проклятая! — И он, с раздражением отмахнувшись, отходит в сторону.

…Я вышел из казарм вместе с очень молодым и восторженным юношей — прапорщиком М., после собрания пришедшим в возбужденно-воинственное состояние.

— Ах, дорогой С.Я., если бы вы знали, до чего мне хочется поскорее начать наступление. А потом, отдавая должное старшим, я чувствую, что мы, молодежь, временами бываем гораздо мудрее их. Пока старики будут раздумывать, нам надо действовать решительно.

Нерасторопность офицеров Московского гарнизона привела к полнейшей путанице и потере времени. Пока решались организационные меры по сбору полков, выбору нового командующего, большевики в спешном порядке занимали стратегические военные точки — ангары с артиллерией,

боеприпасами. Вырисовывалась картина грандиозного бедствия.

Только что вырвавшийся из Петрограда юнкер Михайловского училища приносит страшные вести.

— Господа офицеры! — Голос его прерывается. — Я прямо с поезда. Я послан, чтобы предупредить вас и московских юнкеров о том, что творится в Петрограде. Сотни юнкеров растерзаны большевиками. На улицах валяются изуродованные тела офицеров, кадетов, сестер, юнкеров. Бойня идет и сейчас. Женский батальон в Зимнем дворце, Женский батальон… — Юнкер глотает воздух, хочет сказать, но только движет губами. Хватается за голову и сбегает с трибуны.

Несколько мгновений тишины. Чей-то выкрик:

— Довольно болтовни! Всем за оружие! — подхватывается ревом собравшихся.

На трибуну, минуя председателя, всходит полковник Генштаба. С минуту молчит. Потом, покрывая шум, властно:

— Если передо мною стадо — я уйду. Если офицеры — я прошу меня выслушать!

Все стихает.

— Господа офицеры! Говорить больше не о чем. Все ясно. Мы окружены предательством. Уже льется кровь мальчиков и женщин. Я слышал сейчас крики: в бой! за оружие! Это единственный ответ, который может быть. Итак, за оружие! Но необходимо это оружие достать. Кроме того, необходимо сплотиться в военную силу. Нужен начальник, которому мы бы все беспрекословно подчинились. Командующий — изменник! Я предлагаю тут же, не теряя времени, выбрать начальника. Всем присутствующим построиться в роты, разобрать винтовки и начать боевую работу. Сегодня я должен был возвращаться на фронт. Я не поеду, ибо судьба войны и судьба России решается здесь — в Москве.

Тут же решением совета полковник Генштаба Дорофеев был назначен командующим.

— Господ офицеров, могущих держать оружие в руках, прошу построиться тут же, в зале, поротно. В ротах по сто штыков — думаю, будет довольно, — приказывает наш новый командующий.

Через полчаса уже кипит работа. Роты построены. Из цейхгауза Александровского училища приносятся длинные ящики с винтовками. Идет раздача винтовок, разбивка по взводам. Составляются списки. Я — правофланговый 1-й офицерской роты. Мой командир взвода — молоденький штабс-капитан, высокий, стройный, в лихо заломленной папахе. Он из лазарета, с незажившей раной на руке. Рука на перевязи. На груди белый крестик (командиры рот и взводов почти все были назначены из

георгиевских кавалеров).

Раздается команда:

— 1-й взвод 1-й офицерской, становись!

Бегом строимся. Входит полковник Дорофеев:

— Господа, поздравляю вас с открытием военных действий. Вашему взводу предстоит первое дело, которое необходимо выполнить как можно чище. Первое дело дает тон всей дальнейшей работе. Вам дается следующая задача: взвод отправляется на грузовике на Б. Дмитровку. Там находится гараж Земского союза, уже захваченный большевиками. Как можно тише, коротким ударом, вы берете гараж, заводите машины и, сколько сможете, приводите сюда.

Выполнив задание, возвращаемся с добычей (шесть автомобилей) обратно. На передних сиденьях шофер и пленные солдаты, сзади офицеры с наганами наготове. С треском проносимся по улицам. На Охотнинской площади при нашем приближении толпа шарахается в разные стороны.

Александровское училище — наш штаб, сборный пункт. Нас восторженно встречают и поздравляют с успехом. Несемся назад, захватив с собой всех шоферов.

Подъезжая к Дмитровке, слышим беспорядочную ружейную стрельбу.

Еще до Дмитровки соскакиваем с автомобилей. Стреляют совсем близко — на Дмитровке. Ясно, что атакуют гараж. Выстраиваемся.

— Вдоль улицы пальба взводом. Взво-од… пли!

Залп.

— Взво-од… пли!

Второй залп. И… тишина. Невидимый противник обращен в бегство. Бежим к гаражу.

— Кто идет?! — окликают нас из ворот. Капитан называет себя.

— Слава Богу! Без вас тут нам совсем плохо пришлось. Меня в руку ранили.

Через несколько минут были доставлены в Александровское училище остальные автомобили. Мы отделались дешево. Один легко раненный в руку.

* * *

Я не запомнил московского восстания по дням. Эти пять-шесть дней слились у меня в один сплошной день и одну сплошную ночь.

Кремль был сдан командующим войсками полковником Рябцевым в самом начале. Это дало возможность красногвардейцам воспользоваться кремлевским арсеналом. Оружие мгновенно рассосалось по всей Москве. Большое количество его попало в руки мальчишек и подростков. По опустевшим улицам и переулкам Москвы затрещали выстрелы. Стреляли всюду и отовсюду и часто без всякой цели. Излюбленным местом для стрельбы были крыши и чердаки. Найти такого стрелка, даже если мы ясно обнаружили место, откуда стреляли, было почти невозможно. В то время как мы поднимались наверх — он бесследно скрывался.

В первый же день начала действий мы отбили артиллерию: два легких орудия и семьдесят снарядов. Кроме того, в наших руках были два броневых автомобиля. Кажется, они еще раньше были при Александровском училище.

В актовом зале собрались студенты, они пришли записываться в роты.

— Молодцы коллеги! — восклицает кто-то из офицеров. — Я сам московский студент и горжусь вашим поступком.

В ответ застенчивые улыбки. Между студентами попадаются и гимназисты. Некоторые — совсем дети, 12–13 лет.

— А вы тут что делаете? — спрашивают их со смехом.

— То же, что и вы! — обиженно отвечает розовый мальчик в сдвинутой на затылок гимназической фуражке.

Юнкерами взят Кремль. Серьезного сопротивления большевики не оказали. Взятием руководил командир моего полка, полковник Пекарский.

Ночью несем караул в Манеже. Посты расставлены частью по Никитской, частью в сторону Москвы-реки. Ночь темная. Стою, прижавшись к стене, и вонзаю взгляд в темноту. То здесь, то там гулко хлопают выстрелы…

Вскоре в училище выясняется, что большевикам сдан Кремль вместе с арсеналом.

Командующий сидит, опустив глаза, с лицом словно маска — ни одна черта не дрогнет.

— Я сдал Кремль, ибо считал нужным его сдать. Вы хотите знать почему? Потому что всякое сопротивление полагаю бесполезным кровопролитием. С нашими силами, пожалуй, можно было бы разбить большевиков. Но нашу кровавую победу мы праздновали бы очень недолго. Через несколько дней нас все равно смели бы. Теперь об этом говорить поздно. Помимо меня — кровь уже льется.

— А не полагаете ли вы, господин полковник, что в некоторых случаях долг нам предписывает скорее принять

смерть, чем подчиниться бесчестному врагу? — раздается гневом голос.

— Вы движимы чувством — я руководствуюсь рассудком.

…С каждым часом становится труднее. Все на ногах почти бессменно. Не успеваешь приехать после какого-либо дела, наскоро поесть, как снова раздается команда:

— Становись!

Нас бросают то к Москве-реке, то на Пречистенку, то к Никитской, то к Театральной, и так без конца. В ушах звенит от постоянных выстрелов (на улицах выстрелы куда оглушительнее, чем в поле).

Большевики ловко просачиваются в крепко занятые нами районы. Сегодня сняли двух солдат, стрелявших с крыши Офицерского общества, а оно находится в центре нашего расположения.

Продвигаться вперед без артиллерии нет возможности. Пришлось бы штурмовать дом за домом.

Прекрасно скрытые за стенами, большевики обсыпают нас из окон свинцом и гранатами. Время упущено. В первый день, поведи мы решительно наступление, Москва бы осталась за нами. А наша артиллерия… Две пушки на Арбатской площади, направленные в сторону Страстной и выпускающие по десяти снарядов в день.

У меня от усталости и бессонных ночей опухли ноги. Пришлось распороть сапоги. Нашел чьи-то калоши и теперь шлепаю в них, поминутно теряя то одну, то другую.

Большевики начали обстрел из пушек. Сначала снаряды рвались лишь на Арбатской площади и по бульварам, потом, очень вскоре, и по всему нашему району. Обстреливают и Кремль. Сердце сжимается смотреть, как над Кремлем разрываются шрапнели.

Стреляют со Страстной площади, с Кудрина и откуда-то из-за Москвы-реки — тяжелыми (6-дюймовыми)..

Опять выстраиваемся. Наш взвод идет к генералу Брусилову с письмом, приглашающим его принять командование всеми нашими силами. Брусилов живет в Мансуровском переулке, на Пречистенке.

Выходим на Арбатскую площадь. Грустно стоят наши две пушки, почти совсем замолкшие. Почти все окна — без стекол. Здесь и там вместо стекол — одеяла.

Москва гудит от канонады. То и дело над головой шелестит снаряд. Кое-где в стенах зияют бреши раненых домов. Но… жизнь и страх побеждает. У булочных Филиппова и Севастьянова толпятся кухарки и дворники с кошелками.

На углу Власьевского из высокого белого дома выходят несколько барышень с подносами, полными всякой снедью:

— Пожалуйста, господа, покушайте!

— Что вы, уходите скорее! До еды ли тут?

Но у барышень так разочарованно вытягиваются лица, что мы не можем отказаться. Нас угощают кашей с маслом, бутербродами и даже конфетами. Напоследок раздают папиросы. Мы дружно благодарим.

— Не нас благодарите, а весь дом 3. Мы самообложились и никого из вас не пропускаем, не накормив.

Над головой прошелестел снаряд.

— Идите скорее домой!

— Что вы! Мы привыкли.

Прощаемся с барышнями и двигаемся дальше.

Пречистенка. Бухают снаряды. Чаще щелкают пули по домам. Заходим в какой-то двор и ждем, чем кончатся переговоры с Брусиловым. Все уверены, что он станет во главе нас.

— Ну что, как? — спрашиваем посланных к нему делегатов.

— Отказался по болезни.

Тяжелое молчание в ответ.

Мне шепотом передают, что патроны на исходе. И все передают эту новость шепотом, хотя и до этого было ясно, что патроны кончаются. Их начали выдавать по десяти на каждого в сутки. Наши пулеметы начинают затихать. Противник же обнаглел как никогда. Нет, кажется, чердака, с которого бы нас не обстреливали. Училищный лазарет уже не может вместить раненых. Окрестные лазареты также начинают заполняться.

После перестрелки у Никитских Ворот вернулся в училище в последней усталости. Голова не просто болит, а разрывается. Иду в спальню. За три койки от моей группа офицеров рассматривает ручную гранату. Ложусь отдохнуть. Перед сном закуриваю папиросу.

Вдруг рядом, у группы офицеров, раздается характерное шипение, затем крики и топот бегущих ног. В одно мгновение, не соображая ни того, что случилось, ни того, что делаю, валюсь на пол и закрываю уши ладонями.

Оглушительный взрыв. Меня обдает горячим воздухом, щепками и дымом и отбрасывает в сторону. Звон стекол. Чей-то страшный крик и стоны. Вскакиваю. За две койки от меня корчится в крови юнкер. Чуть поодаль лежит раненный в ногу капитан. Оказывается, раненный в ногу капитан показывал офицерам обращение с ручной гранатой. Он не заметил, что боек спущен, и вставил капсюль. Капсюль горит три секунды. Если бы капитан не растерялся, он мог бы успеть вынуть капсюль и

отшвырнуть его в сторону. Вместо этого он бросил гранату под койку. А на койке спал только что вернувшийся из караула юнкер. В растерзанную спину несчастного вонзились комья волос из матраса.

Юнкера, уже переставшего стонать, выносят на носилках. Следом за ним несут капитана. Через полчаса юнкер умер.

…Выясняется, что помощи ждать неоткуда. Мы предоставлены самим себе. Но никто, как по уговору, не говорит о безнадежности положения. Ведут себя так, словно в конечном успехе и сомневаться нельзя. А вместе с тем ясно, что не сегодня-завтра мы будем уничтожены. И все, конечно, это чувствуют.

Для чего-то всех офицеров спешно сзывают в актовый зал. Иду. Зал уже полон. В дверях толпятся юнкера. В центре — стол. Вокруг него несколько штатских — те, которых мы вели из городской Думы. На лицах собравшихся — мучительное и недоброе ожидание.

На стол взбирается один из штатских.

— Кто это? — спрашиваю.

— Министр Прокопович.

— Господа! — начинает он срывающимся голосом. — Вы офицеры, и от вас нечего скрывать правды. Положение наше безнадежно. Помощи ждать неоткуда. Патронов и снарядов нет. Каждый час приносит новые жертвы. Дальнейшее сопротивление грубой силе — бесполезно.

— И вы как член Временного правительства считаете возможным прекратить борьбу с большевиками? Сдаться на волю победителей?

— Я не считаю возможным продолжать бесполезную бойню, — взволнованно отвечает Прокопович.

Исступленные крики:

— Позор! Опять предательство. Они только сдаваться умеют! Они не смели за нас подписывать! Мы не сдадимся!

Прокопович стоит с опущенной головой. Вперед выходит молодой полковник, георгиевский кавалер Хованский (убит в 1918 году в Добровольческой армии. — С. З.).

— Господа! Я беру смелость говорить от вашего имени. Никакой сдачи быть не может! Бели угодно — вы, не бывшие с нами и не сражавшиеся, вы, подписавшие этот позорный документ, вы можете сдаться. Я же, как и большинство здесь присутствующих, — я лучше пущу себе пулю в лоб, чем сдамся врагам, которых считаю предателями Родины. Я только что говорил с полковником Дорофеевым, Отдано приказание расчистить путь к Брянскому вокзалу. Драгомиловский мост уже в наших руках. Мы займем эшелоны и будем продвигаться на юг,

к казакам, чтобы там собрать силы для дальнейшей борьбы с предателями. Итак, предлагаю разделиться на две части. Одна сдается большевикам, другая прорывается на Дон с оружием.

Речь полковника встречается ревом восторга и криками:

— На Дон! Долой сдачу!

Но недолго длится возбуждение. Следом за молодым полковником говорит другой, постарше и менее взрачный:

— Я знаю, господа, то, что вы от меня услышите, вам не понравится и, может быть, даже покажется неблагородным и низменным «Поверьте только, что мною руководит не страх. Нет, смерти я не боюсь. Я хочу лишь одного: чтобы смерть моя принесла пользу, а не вред Родине. Скажу больше — я призываю вас к труднейшему подвигу. Труднейшему, потому что он связан с компромиссом. Вам сейчас предлагали прорываться к Брянскому вокзалу. Предупреждаю вас — из десяти до вокзала прорвется один. И это в лучшем случае! Десятая часть оставшихся в живых и сумевшая захватить железнодорожные составы до Дона, конечно, не доберется. Дорогой будут разобраны пути или подорваны мосты, и прорывающимся придется, где-то далеко от Москвы, либо сдаться озверевшим большевикам и быть перебитыми, либо всем погибнуть в неравном бою. Не забудьте, что и патронов у нас нет. Поэтому я считаю, что нам ничего не остается, как положить оружие. Здесь, в Москве, нам и защищать-то некого. Последний член Временного правительства склонил перед большевиками голову. Но, — полковник повышает голос, — я знаю также, что все находящиеся здесь — уцелеем или нет, не знаю — приложат всю энергию, чтобы пробираться одиночками на Дон, если там собираются силы для спасения России.

Полковник кончил. Одни кричат:

— Пробиваться на Дон всем вместе! Нам нельзя разбиваться!

Другие молчат, но, видно, соглашаются не с первым, а со вторым полковником.

Я понял, что нить, которая нас крепко привязывала одного к другому, — порвана и что каждый снова предоставлен самому себе.

Ко мне подходит прапорщик Гольцев. Губы сжаты. Смотрит серьезно и спокойно.

— Ну что, Сережа, на Дон?

— На Дон, — отвечаю я.

Он протягивает мне руку, и мы обмениваемся рукопожатием, самым крепким рукопожатием за мою жизнь. Впереди был Дон».

«Я в ларчике храню погоны»

Вагон набит битком, пахнет продымленными кожухами, навозом, перегаром. Народ самый разный. Все бегут. Куда? Разве поймешь? Разговоры самые жуткие, смесь газетных сообщений, слухов с «рассказами очевидцев». Марина сжалась в углу, царапая карандашом в тетрадке:

«Стараюсь спать. Я не знаю, как Вам писать… Родной, родной мой! Мой, которому молюсь. Сережа не может погибнуть. Вместе прошла целая жизнь — целых шесть лет мы прирастали всей кожей, всеми изгибами души. Вы простили меня за мои осколки ворованной радости. Простите еще раз — ведь я отношусь к Вам так же высоко, как и в дни встречи. От этого и страх за Вас, за Ваше рыцарское безрассудство. Разве Вы можете сидеть дома? Если бы все остались, Вы бы один пошли. Потому что Вы безупречны. Потому что Вы не можете, чтобы убивали других… Потому что Вы беззаветны и самоохраной брезгуете, потому что «я» для Вас не важно, потому что я все это с первого часа знала!

Если Бог сделает это чудо — оставит Вас в живых, я буду ходить за Вами, как собака…»

«Буду ходить за вами, как собака» — не от страха выплеснувшиеся слова, самая серьезная, на всю жизнь данная клятва. Марина никогда не забудет о ней. Двадцать один год спустя, собираясь вслед за мужем в Советский Союз, где — она знает это наверняка — «конец и смерть», Цветаева приписала около последних слов: «Вот и поеду — как собака».

«У меня все время чувство: это страшный сон. Я все жду, что вот-вот что-то случится, и не было ни газет, ничего. Что это мне снится, что я проснусь.

Горло сжато, точно пальцами. Все время оттягиваю, растягиваю ворот. Сереженька.

Я написала Ваше имя и не могу писать дальше».

Все двое суток дороги Марина в нервном ознобе. Мысли, одна страшнее другой, сменяют друг друга. Знает точно: «Если Сергей убит — умру сама». И вот — прибыли! Черный перрон, за ним ночная Москва.

«Черно. В город можно с пропуском. У меня есть совсем другой, но все равно. (На обратный проезд в Феодосию: жена прапорщика.) Беру извозчика. Боюсь услышать. (…) Ни разу — о детях. Если Сережи нет, нет и меня, значит, нет и их. Аля без меня жить не будет, не захочет, не сможет. Как я без Сережи. (…)

Церковь Бориса и Глеба. Наша, Поварская… Крыльцо против двух деревьев. Схожу. Снимаю вещи. Отделившись от ворот, двое в полувоенном. Подходят. «Мы домовая охрана. Что вам угодно?» — «Я такая-то и здесь живу». — «Никого по ночам пускать не велено». — «Тогда позовите, пожалуйста, прислугу. Из третьей

квартиры».

Идут. Жду. Не живу. Ноги, на которых стою, руки, которыми держу чемоданы (так и не спустила). И сердца не слышу. Если б не оклик извозчика, и не поняла бы, что долго, что долго, чудовищно долго.

Шаг. Звук сначала одной двери, потом другой. Сейчас откроется входная. Женщина, в платке, незнакомая.

Я, не давая сказать:

— Вы новая прислуга?

— Да.

— Барин убит?

— Жив.

— Ранен?

— Нет.

— То есть как? Где же он был все время?

— А в Александровском, с юнкерами, — уж мы страху натерпелись! Слава Богу, Господь помиловал. Только отощали очень. И сейчас они в N-ском переулке, у знакомых. И детки там, и сестры бариновы… Все здоровы, благополучны, только вас ждут.

Вносим вещи, отпускаем извозчика, Дуня берется меня проводить. Захватываю с собой один из двух крымских хлебов. Идем. Битая Поварская. Булыжники. Рытвины. Небо чуть светлеет. Колокола.

Заворачиваем в переулок. Семиэтажный дом. Звоню. Двое в шубах и шапках. При чиркающей спичке — блеск пенсне. Спичка прямо в лицо:

— Что вам нужно?

— А вы — кто?

— Мы домовая охрана.

— А я такая-то, жена своего мужа и мать своих детей. Пустите, я все равно войду.

И, наполовину пропущенная, наполовину прорвавшись — шести площадок как не бывало — седьмая.

(Так это у меня и осталось, первое видение буржуазии в Революции; уши, прячущиеся в шапках, души, прячущиеся в шубах, головы, прячущиеся в шеях, глаза, прячущиеся в стеклах. Ослепительное — при вспыхивающей спичке — видение шкуры.)

Снизу голос прислуги: «Счастливо свидеться!» Стучу. Открывают.

— Сережа! Это я! Только что приехала. У вас внизу — ужасные мерзавцы. А юнкера все-таки победили! Да есть ли Вы здесь или нет?

В комнате темно. И, удостоверившись:

— Ехала три дня. Привезла Вам хлеб. Простите, что черствый. Матросы — ужасные мерзавцы! Вы живы — и…»

После горячего супа, приготовленного Лилей, начались торопливые расспросы.

— Цел? Господи, ты цел! — Марина крепко держала руки Сергея, прижавшись к родителям, сопела Аля. Так бы и сидеть всегда втроем, тесно прижавшись, — и ничего бы плохого не произошло.

«Сероглазый гений» — так шестилетняя Аля в стихах называла отца — рассказал, как побывал в самом пекле, как принимал участие в уличных боях. И покинул Александровское училище только после того, как представитель Временного правительства подписал с большевиками условия капитуляции. Марина представила: с ломившей в висках головной болью, Сергей пробирается под пулями, шаркая калошами на распухших ногах. Падают окровавленные мальчишки, студенты, юнкера… Гибнут за идею России, законности и порядка. И не знают еще, что все зря…

— Большевики победили… — Марина не хотела вникать в суть политических интриг и расспрашивать о сути происшедшего. Все это шелуха, а суть — зловещая суть и так с самого начало была ясна. Кончилась Москва, кончилась Россия.

— И надежно победили, с большим перевесом. Если бы я им попался… Или сдался — расстреляли бы на месте…

— Не расстреляли бы. — Прижалась теснее к отцу Аля. — Я все это время молилась! «Спаси, Господи, и помилуй: Марину, Сережу, Ирину, Любу, Асю, Андрюшу, офицеров и не-офицеров, русских и не-русских, французских и не-французских, раненых и нераненых, здоровых и не-здоровых, — всех знакомых и не-знакомых» — я думаю, это правильные слова, раз ты с нами.

— Самые правильные, умница моя дорогая! — Сергей зарыл лицо в ее теплые волосы. Не показывать же слез.

— А как же… Как ты сбежал, папочка? — Аля в неофициальные моменты переходила с отцом на ты — как-то ближе и теплее получалось. Марина — совсем другое дело. Ее Аля и мамой называла чрезвычайно редко. Так постановила сама Марина и протокол не нарушала, в общении не опускалась до понимания пятилетнего ребенка — говорила на равных и с неизбежной дистанцией — уважения и требовательности.

— Мы с моим другом переоделись и тайком сбежали из здания училища.

— Что ж теперь?

— Сопротивляться! Мы их дожмем! — Глаза Сергея вспыхнули огнем, свойственным фанатикам, — убежденность,

вера, жажда подвига светились в их синеве. — И выход один — немедля пробраться на Дон. Там должна формироваться Добровольческая армия для борьбы с большевиками. Думаю, большущая сила соберется!

На следующий день Цветаева с мужем и его другом прапорщиком Гольцевым снова отправились в путь: молодые офицеры стремились пробраться на Дон, Цветаева сама провожала Сергея в Крым. В темном вагоне, по дороге в неизвестность, они читали стихи, потому что революции, войны — это все второстепенно. Уродливые наросты на красоте и гармонии. Главная сила Вселенной — поэзия. Гольцев, погибший на фронте в следующем году, учился в студии Евгения Вахтангова. Под стук колес он прочел стихи молодого поэта, своего друга и тоже студийца, Павла Антокольского. Марина сразу же почувствовала тот настрой возвышенного и чистого романтизма, который уводил к истокам ее влюбленности в немецкую поэзию.

* * *

«В бешеную снеговую бурю приехали в Коктебель. Седое море. Огромная, почти физически жгущая радость Макса Волошина при виде живого Сережи. Огромные белые хлеба. На разговоры и застолье всего несколько часов: в вечер того же дня Сережа, его друг Гольцев и Марина едут на Дон.

Макс Волошин в огромной дохе на приступочке башни жарит лук в чугунной жаровне. А пока жарится, громко рассказывает Сереже и Марине о завтрашних и послезавтрашних судьбах России.

— А теперь, Сережа, будет вот что… Запомни. — И вкрадчиво, почти радуясь, как добрый колдун детям, рисует картинку за картинкой — всю русскую Революцию на пять лет вперед: террор, гражданская война, расстрелы, заставы, Вандея, озверение, потеря лика, раскрепощенные духи стихий, кровь, кровь, кровь…»

— Совсем недавно ты другое говорил. Прекрасным будущим меня заманивал, — Марина макала куском хлеба в луковый соус. — Вкусно»..

— Видишь ли — в энтузиасты ринулся. Но что-то не туда все покатило.

Оптимизм Макса относительно происходящего в России был сильно омрачен событием последних недель. Он внимательно изучал политическую ситуацию, расстановку сил на общественной арене и делал неутешительные выводы. У Цветаевой никогда не было иллюзий относительно власти большевиков и связанных с ними исторических перспектив. Она, не пытавшаяся вникать в политику, отстранявшая от себя эту сферу, как кучу навоза, не подпадала под влияние речей, программ, обещаний. Не обольщалась иллюзиями — ведь сама же видела эти лица, видела этих людей и знала, что ждать от них можно только самого худшего. Удивительно верная оценка политических ситуаций была свойственна Цветаевой на всех этапах ее сложной судьбы. Возможно, провидчество являлось составляющей ее поэтического дара?

Макс, Марина, Сергей старались найти истину в долгом споре. И нашли — одну для всех: неколебимую веру в человеческую личность, первостепенную ее ценность, не подменяемую никакими идеалами коллективизма.

— Да, теперь, Сережа, грядут страшные времена. Ты мои пророчества запомни, — подвел итог Макс.

Сергей опустил глаза:

— Это правда, все так будет, как ты сказал. Да уже есть. Но скажи мне, Макс, ради чего загублена Россия?

— Ради будущего! Революция со всеми грядущими ужасами — это стихия, несущая справедливое возмездие и одновременно очищение от скверны, опутывавшей Русь испокон веков.

— Потом, очистившись в кровавой бане, Россия воспрянет и «ото сна», и от зверства. — Марина с усмешкой покачала головой. — Я такую революцию не приемлю и в возвеличивание «народа» путем уничтожения личности ради какого-то абстрактного «человечества» не верю. Эгоистка я — не нужен мне «возвеличенный народ», который хочет убить моего Сергея.

* * *

Марина уезжала в Москву за детьми, чтобы вместе вернуться в Коктебель — «жить или умереть, там видно будет, но с Максом и Пра, вблизи от Сережи, который на днях должен был из Коктебеля выехать на Дон».

— Эх, Марина Ивановна! Столько раз с этого холмика тебе руками махали. Шесть лет — то туда, то сюда. То прощайся, то встречайся. — Пра перекрестила уезжающих. — Считай, тут у вас дом главный и тут семья. Мы всегда ждем.

— Вот и я говорю: возвращайтесь скорей. Помните: теперь будет две страны: Север и Юг. — Макс даже подмигнул бледно-голубым глазом. — Я же прорицатель. — Но никто не улыбнулся.

Цветаева уехала из Крыма 25 ноября 1917 года. Больше никогда она не вернется сюда, не увидит ни Макса, ни замечательную женщину с профилем Гете в расшитом самодельном кафтане. Камешков, в таком изобилии украшавших пляж, не увидит. Лишь сердоликовая бусина на ее шее — метка единения их всех: Коктебеля, Сергея, общей судьбы — останется навсегда.

* * *

В четвертый раз за два месяца проделала Цветаева путь между Москвой и Крымом. «В вагонном воздухе — топором — три слова: буржуи, юнкеря, кровососы». Она окунулась в самую гущу снявшейся с насиженных мест, взбаламученной России. Люди, люди, люди — всех классов, возрастов и сословий… Страх, ненависть, глупость, подлость…. Доброта… Зверство…

Матерщина… Солдатики присматриваются к Марине. Ее принимают за гимназистку, пытаются разговорить.

«Барышня, а курят! Оно, конешно, все люди равны, только все же барышне курить не годится. И голос от того табаку грубеет, и запах изо рта мужской. Барышне конфетки надо сосать, духами прыскаться, чтоб дух нежный шел. А то кавалер с любезностями — прыг, а вы на него тем мужским духом — пых!

Мужеский пол мужского духа теперь не выносит. Как вы полагаете, а, барышня?»

Я: «Конечно, вы правы: привычка дурная!»

Другой солдат: «А я, то есть, товарищи, полагаю: женский пол тут ни при чем. Ведь в глотку тянешь, — а глотка у всех одинакая. Что табак, что хлеб. А кавалеры любить не будут, оно, может, и лучше, мало ли нашего брата зря хвостячит. Любовь! Кобеля, а не любовь! А полюбит кто — за душу, со всяким духом примет, даже сам крутить будет. Правильно говорю, а, барышня?»

Я: «Правильно — мне муж всегда папиросы крутит. А сам не курит». (Вру.)

Мой защитник — другому: «Так они и не барышни вовсе! Вот, братец, маху дали! А что же у вас муж из студентов, что ль?»

Я, памятуя предостережения: «Нет, вообще так…»

Другой, поясняя: «Своим капиталом, значит, живут».

Мой защитник: «К нему, стадо быть, едете?»

Я: «Нет, за детьми, он в Крыму остался».

«Что ж, дача там своя в Крыму?»

Я, спокойно: «Да, и дом в Москве». (Дачу выдумала.)

Молчание.

Мой защитник: «А смелая вы, погляжу, мадамочка! Да разве теперь в эдаких вещах признаются? Да теперь кажный рад не только дом, что ли, деньги — себя собственными руками со страху в землю закопать!»

Я: «Зачем самому? Придет время — другие закопают. А впрочем, это и раньше было: самозакапыватели: сами себя живьем в землю закапывали — для спасения души. А теперь для спасения тела…»

Смеются, смеюсь и я.

Мой защитник: «А что ж, супруг-то ваш, не с простым народом, чай?»

Я: «Нет, он со *всем* народом».

«Что-то не пойму».

Я: «Как Христос велел: ни бедного, мол, ни богатого: во всех Христос».

Мой защитник, радостно: «То-то и оно! Неповинен ты в княжестве своем и неповинен ты в низости своей… (с некоторым

подозрением): А вы, барышня, не большевичка будете?»

Другой: «Какая большевичка, когда у них дом свой!»

Первый: «Ты не скажи, много промеж них образованного классу — и дворяне тоже, и купцы. В большевики-то все больше господа идут». Вглядываясь, неуверенно: «И волоса стриженые».

Я: «Это теперь мода такая».

Внезапно ввязывается, верней — взрывается — матрос: «И все это вы, товарищи, неверно рассуждаете, бессознательный элемент. Эти-то образованные, да дворяне, да юнкеря проклятые всю Москву кровью залили! Кровососы! Сволочь!» Ко мне: «А вам, товарищ, совет: поменьше о Христах да дачах в Крыму вспоминать. Это время прошло».

Мой защитник, испуганно: «Да они по молодости… Да какие у них дачи — так, должно, хибарка какая на трех ногах, вроде как у меня в деревне… Примиряюще: — Вот и полсапожки плохонькие…»

…До Москвы Марина добралась, но выбраться из нее уже не смогла — оказалась в ловушке. Исполнилось прощальное пророчество Волошина: страна разделилась на «красный» север и «белый» юг. Сережа, Ася, Волошины — на Юге. Она с детьми оказалась на Севере — в эпицентре беды.

Марина еще не осознавала, что навсегда простилась со многими вещами, считавшимися условиями нормальной жизни людей обеспеченного круга: уютным домом, прислугой, налаженным бытом. Что все, ранее кем-то как-то исполняемое, придется делать самой — нот одними этими руками. Не приученными, не умелыми. Слава Богу, сильными.

Ей недавно исполнилось двадцать пять лет. Совсем молодая и совершенно не приспособленная к быту женщина, в сущности — барынька, осталась одна с двумя маленькими детьми в городе, где рухнули все привычные устои и катастрофически разваливался быт: пропали деньги, лежавшие в банке, исчезали еда и дрова, изнашивались одежда и обувь. Все ощутимее становился голод. Жизнь превратилась в дурной сон, мучительный кошмар. А надолго ли? Долго ли терпеть, стискивая зубы? И чего ждать, кроме писем от Сергея? За кого держаться? Марина для себя решила все вопросы единым махом: есть Бытие — жизнь души, стихи, Аля — это все огромно и высоко над. Над бессмыслицей, грязью и безумной морокой, называемой бытом. Себе она оставила Бытие, бытом же гордой душой пренебрегла. Она еще не представляла, как нелегко осуществить придут манную конструкцию в реальности — расчленить Бытие и душащий его быт, не замечать унижения и страх — гордо и принципиально вычеркнуть холод, голод, крысиные пробежки по

кровати, ежедневные усилия прокормиться, едва простиранное белье, заштопанные чулки, дырявые ботинки. Что поразительно — ей удалось, хоть и отчасти, хоть и воровски, вынести свое Бытие за колючую проволоку быта. Барынькой не остаться, остаться Поэтом и человеком со «стальным хребтом» — изменять своим принципам не научилась.

Январским утром 1918 года в двери квартиры Эфронов постучали (веревочка звонка, как и прежняя бронзовая вертушка, исчезли сразу). Звякнув цепочкой, Марина одним глазом посмотрела в щель. На лестничной площадке стоял высокий худой мужчина, по виду — бывший интеллигент. Потертое пальто, потерявшая форму шляпа, «докторский» саквояж. Над губой топорщились рыжеватые усики, глаза скрывали круглые очки. И тихий шепот:

— Это я!

Марина ахнула. Колени подкосились:

— Сережа!

Она быстро впустила его, заперла дверь, прислонилась к ней спиной, не сводя глаз с лица. Вечность стояли молча, впившись глазами друг в друга.

— Пригодилось мои театральные увлечения. — Он отклеил усы, спрятал в карман пальто очки. Улыбнулся широко и криво, стараясь скрыть тревогу и выбитый зуб. — Теперь узнаете?

Марина долго смотрела в это единственно любимое лицо. Потом бросилась к Сергею, прижалась к груди и долго стояла в кольце ее обнявших рук.

— Есть будете? — Марина отстранилась и пошла в комнату. Она не хотела видеть слезы Сергея — знала, как он слез стеснялся. — Картошки мерзлой сварили, немного воблы. На паек выдали. Садись, пировать будем.

— Где Аля, Ира?

— Ира спит в темной комнатке, ее там ничего не беспокоит. И теплее там. Болезненная девочка… Аля — чудо. Она к нашей дворничихе ходит, грамоте ее учит и вот заработок, — Марина поставила тарелку с тремя картошками в мундире. — И шесть фунтов запаса. Господи, вы-то кто теперь? Шпион?

— Ой, Мариночка, какой из меня шпион? В разведку послали сюда в Москву с заданием.

— Добровольцы?

— Мое командование. С ноября служу в Георгиевской роте. Возникла идея — собрать полки по городам и дать им имена этих городов, как бы тем самым поддерживая патриотизм и боевой настрой. Вот меня и командировали, чтобы достать денег и собрать личный состав в Москве. Дали три адреса, к кому можно

обратиться. Но я нашел только одного бывшего офицера. Да и тот разводит руками — ни денег, ни людей. — Длинные пальцы Сергея обдирали кожуру с синеватой холодной картофелины. Марина никогда не видела еще черной каймы под его ногтями. Да и рук таких натруженных никогда не видела. Не из санатория приехал.

— Больно? — Марина осторожно коснулась губы над отсутствующим зубом.

— Ерунда! Это прикладом. У нас там мастер есть — сделает фикс — от своего не отличишь. — Сергей старался бодриться, но сил явно не было. Он положил картошку обратно. — Не обижайся, ничего в горло не лезет. Приболел в пути. Я бы полежал, а? — он прилег на диван не раздеваясь — поношенный сюртук, коротковатые брюки. А носки! Дыра на дыре.

— Я закрою глаза, а вы рассказывайте. — Он поджал колени — свернулся клубком, как любил спать с детства. Марина накрыла его пледом и сверху своей шубой.

— Сережа, дайте мне носки, я поштопаю пока, простирну.

— Мне через час уходить.

— Господи! Куда?

— По адресу еще одному сходить за людьми и пробираться к своим. — Он приподнялся на локте: — Я, наверно, авантюрист оказался. Марина, если бы вы знали, с какими приключениями сюда добирался! В поезде за зубного доктора себя выдал. Так тетка одна ко мне пристала: «Рви, рви, голубчик! Нет мочи больше терпеть, как болит!» И рот разинула.

— Ты у меня белогвардеец. БГ — значит — Бог. Храни вас Бог…

В Москву к Рождеству Добровольцы не добрались. Марина и Аля не дождалась пятнадцати Сергеевых писем. Но все время ждали и писали.

«Милый папа! — писала Аля. — Я так медленно пишу, что прошу дописать Марину. Мне приятно писать Вам. Часто я ищу Вас глазами по комнате, ища Ваше живое лицо, но мне попадаются только Ваши карточки, но и они иногда оживляются, потому что я так внимательно смотрю. Мне все кажется, из темного угла, где шарманка, выйдете Вы с Вашим приятным, тонким лицом. Милый папа, я буду Вас бесконечно долго вспоминать. Целая бездна памяти надо мной. Я очень люблю слово «бездна», мне кажется, что люди, которые живут над бездной, не погибают в буре. И теперь я уже без страха. И, опираясь на мамину руку, я буду жить. Целую Вас от всей моей души и груди. Аля». (27 ноября 1918 года. Москва.)

«Я написала Ваше имя и долго молчала, — продолжала

Марина. — Лучше всего было бы закрыть глаза и думать о Вас, но я — трезва! Вы этого не узнаете, а я хочу, чтоб Вы знали. (Знаю, что Вы знаете!) Сегодня днем — легкий, легкий снег — подходя к своему дому, я остановилась и подняла голову. И подняв голову, ясно поняла, что подымаю ее навстречу Вам…»

Это — одно из последних писем. Потом было долгое молчание. Неизвестность, пугающие предчувствия, постоянное ожидание. Целых два года.

«Бог, не суди, Ты не был женщиной на земле!»

Мать с дочерью идем две странницы.
Чернь черная навстречу чванится,
Быть может — вздох от нас останется,
А может — Бог на нас оглянется.

Все-таки их было двое — шестилетняя девочка и 25-летняя мать, делившие почти на равных тяготы быта и спасительную радость Бытия. Марине нужна была дочь-наперсница, ее уровня мышления, схожих эмоциональных реакций, обширных знаний. Точно так же, как некогда ее мать в своих дочерей, она «вкачивала» в Алю: Поэзию, Музыку, Романтику, Природу, Любовь… Аля оказалась благодатным материалом для материнского творчества. В отличие от самой Марины в детстве она готова была принять все, что исходило от матери. По характеру своему она не была бунтаркой, не была злюкой, упрямицей. Любила все живое — растения, животных, цветы, людям бросалась помогать, легко сходилась и заводила дружбу. А главное — Аля боготворила мать, а Марина — Алю.

Очи — два пустынных озера,
Два Господних откровения —
На лице, туманно-розовом
От Войны и Вдохновения.
Ангел — ничего — всё! — знающий,
Плоть — былинкою довольная,
Ты отца напоминаешь мне —
Тоже Ангела и Воина.

«Она живет мною и я ею — как-то исступленно», «жизнь души — Алиной и моей — вырастет из моих стихов — пьес — ее тетрадок» Аля была тогда вторым «я» Цветаевой. Она не отделяла Алю от себя, зыбко ощущая дистанцию лет между собой и шести-,

восьми-, десятилетней дочерью, не по возрасту чуткой, сообразительной, глубокой.

Они — мать и дочь — всюду появлялись вместе и во дворце искусств, и на литературных вечерах, где читали стихи Бальмонт, Блок, Белый, Цветаева. Обе с челками, стрижены в кружок, обе тонки и скромны в одежде, внимательны и заинтересованы.

«Две эти поэтические души — мать и дочь, более похожие на двух сестер, являли из себя самое трогательное видение полной отрешенности от действительности и вольной жизни среди грез, — вспоминает Константин Бальмонт. — При таких условиях, при которых другие только стонут, болеют и умирают».

Условия и впрямь были не щадящие. Квартира Цветаевой очень скоро пришла в «кораблекрушительный беспорядок»: комнаты потеряли жилой вид, вещи — свой смысл и назначение. Вопль Марины «Моя комната — Ведь я когда-нибудь из нее уеду (?). Или я уже никогда, ни-ког-да ничего не увижу другого, раскрыв глаза, чем: высокое окно в потолке — окаренок на полу — по всем стульям тряпки — топор — утюг (утюгом колочу по топору) — гольдмановская пила…»

Про бытие и быт Цветаевой лучше всего рассказывает ее дневниковая запись «Чердачное».

«Живу с Алей и Ириной (Але 6 лет, Ирине 2 года 7 месяцев) в Борисоглебском переулке, против двух деревьев, в чердачной комнате, бывшей Сережиной. Муки нет, хлеба нет, под письменным столом фунтов 12 картофеля, остаток от пуда, «одолженного» соседями — весь запас! - Анархист Шарль унес Сережины золотые часы «elève de Brèguet» — ходила к нему сто раз, сначала обещал вернуть их, потом (…) обнаглев, начал кричать, что он за чужие вещи не отвечает. — В итоге: ни часов, ни денег.

Живу даровыми обедами (детскими). Жена сапожника Г райского — худая, темноглазая, с красивым страдальческим лицом — мать пятерых детей — недавно прислала мне через свою старшую девочку карточку на обед (одна из ее девочек уехала в колонию) и «пышечку» для Али. Госпожа Гольдман, соседка снизу, от времени до времени присылает детям супу и сегодня насильно «одолжила» мне третью тысячу. У самой трое детей. (…)

Пилю. Топлю. Мою в ледяной воде картошку, которую варю в самоваре. (Долго варила в нем похлебку, но однажды засорила пшеном так, что потом месяцами приходилось брать воду сверху, снимая крышку, ложкой, — самовар старинный, кран витиеватый, не вывинчивающийся, ни шпилькам, ни гвоздям не поддавался. Наконец кто-то — как-то — выдул.) Самовар ставлю горячими углями, которые выбираю тут же из печки. Хожу и сплю в одном и

том же коричневом, однажды безумно-севшем, бумазейном платье, шитом весной 17-го года за глаза, в Александрове. Все прожжено от падающих углей и папирос. Рукава, когда-то на резинке, скручены в трубу и заколоты булавкой.

Потом уборка. — «Аля, вынеси окаренок!» Два слова об окаренке — он их заслуживает. Это главное действующее лицо в нашей жизни. В окаренке стоит самовар, ибо, когда кипит с картошкой, заливает все вокруг. В окаренок сливаются все помои. Окаренок днем выносится, а по ночам выплескивается мною во двор. Без окаренка — не жить. Угли — мука от пилы — лужи… И упорное желание, чтобы пол был чистым! — За водой к Гольдманам, с черного хода: боюсь наткнуться на мужа. Прихожу счастливая: целое ведро воды и жестянка! (И ведро и жестянка — чужие, мое все украдено.) Потом стирка, мытье посуды: полоскательница и кустарный кувшинчик без ручки «для детского сада», короче: «Аля, готовь для мытья детский сад!» — чистка медной солдатской махотки и бидона для Пречистенки (усиленное питание, по протекции той же госпожи Гольдман) — корзиночка, где сумка с обеденными карточками — муфта — варежки — ключ от черного хода на шее — иду. Часы не ходят. Не знаю времени.

Маршрут: в детский сад (Молчановка, 34) занести посуду, — Старо-Конюшенным на Пречистенку (за усиленным), оттуда в Пражскую столовую (на карточку от сапожников), из Пражской (советской) к бывшему Генералову — не дают ли хлеб — оттуда опять в детский сад, за обедом, — оттуда — по черной лестнице, обвешанная кувшинами, судками и жестянками — ни пальца свободного! и еще ужас: не вывалилась ли из корзиночки сумка с карточками?! — по черной лестнице — домой. — Сразу к печке. Угли еще тлеют. Раздуваю. Разогреваю. Все обеды — в одну кастрюльку: суп вроде каши. Едим. (Если Аля была со мной, первым делом отвязываю Ирину от стула. Стала привязывать ее с тех пор, как она, однажды, в наше с Алей отсутствие, съела из шкафа пол-кочна сырой капусты.) Кормлю и укладываю Ирину. Спит на синем кресле. Есть кровать, но в дверь не проходит. — Кипячу кофе. Пью. Курю. Пишу. Аля пишет мне письмо или читает. Часа два тишина. Потом Ирина просыпается. Разогреваем остатки месива. Вылавливаю с помощью Али из самовара оставшийся — застрявший в Глубине — картофель. Укладываем — или Аля или я — Ирину. Потом Аля спать идет.

В 10 часов день кончен. Иногда пилю и рублю на завтра. В 11 часов или в 12 часов я тоже в постель. Счастлива лампочкой у самой подушки, тишиной, тетрадкой, папиросой, иногда — хлебом.

Пишу скверно, тороплюсь. (…)

Не записала самого главного: веселья, остроты мысли, взрывов радости при малейшей удаче, страстной нацеленности всего существа *(Л.Б.)* — все стены исчерканы строчками стихов и NB! для записной книжки. Не записала путешествий по ночам в страшный ледяной низ, — в бывшую Алину детскую — за какой-нибудь книгой, которую вдруг безумно захотелось, не записала постоянной нашей с Алей настороженной надежды: «Не стучат ли? Кажется, стучат!» (Звонок не звонит с начала революции, вместо звонка — молоток.) (…) Аля, накинув синюю шубку, шитую, когда ей было два года, или я, не накинув ничего — вниз, ощупью, вскачь, в полной тошноте, сначала мимо лестницы без перил (спалили), потом по этой лестнице — к цепочке парадной двери. (Кстати, можно войти и без нашей помощи, только не все знают.)

Не записала своей вечной, одной и той же — теми же словами! — молитвы перед сном. (…)

Я хотела записать *только день*».

У Алиной кроватки:

— Где лебеди? — А лебеди ушли.
— А вороны? — А вороны — остались.
— Куда ушли? — Куда и журавли.
— Зачем ушли? — Чтоб крылья не достались.
— А папа где? — Спи, спи, за нами Сон,
Сон на степном коне сейчас приедет.
— Куда возьмет? — На лебединый Дон.
Там у меня — ты знаешь? — белый лебедь…

В описании «только дня» короткое упоминание самого главного — тех регулярных часов работы, ради которых и стоило переживать, пересиливать жуть холода и нищеты. Каждый день, словно исполняя принятую перед кем-то присягу, Цветаева бралась за перо. Не было таких обстоятельств, что могли дать ей «отгул». Если не сочинялось — правила черновики, старые записи. И рядом непременно сидела Аля. Из этого ежедневного труда и вырастала «жизнь души».

«Быт справлен», теперь обе могут работать. Когда исчезли школьные тетрадки, Марина стала сшивать четвертушки листов почтовой бумаги или все бумажное, что удавалось найти. Тетрадки поменьше были и у Али. Никаких листков, всегда теряющихся, записок на обрывках — точность, аккуратность крайне безалаберной в быту Цветаевой по отношению к писанию удивительна. Ее архивы, ее аккуратнейший почерк, ее

бережливость к своему писательскому труду резко контрастируют с полным пренебрежением к бытовым удобствам, порядку, чистоте.

«Люди, когда приходят, только меня растравляют: «Так нельзя жить. Это ужасно. Вам нужно все продать и переехать».

Продать! — Легко сказать — все мои вещи, когда я их покупала, мне слишком нравились, поэтому их никто не покупает.

19-й год, в быту, меня ничему не научил: ни бережению, ни воздержанию.

Хлеб я так же легко беру — ем — отдаю, как если бы он стоил 2 копейки (сейчас 200 рублей). А кофе и чай *я* всегда пила без сахара».

К мучительной убогости быта Марина относилась легко — она молода, упорна, у нее много сил, огромен.

Запал энергии, поддерживаемый постоянными увлечениями, источниками «веселья, остроты мысли, взрывов радости при малейшей удаче, страстной нацеленности всего существа». Это характер ее дара — жизнелюбивого, жадного к страстям, увлечениям. И главное — к результату Бытия — «продукту» творчества — «жизни души».

Накинув на плечи облезлые шубы, мать и дочь садятся за стол и умолкают. Кусочка стола — в разные стороны сдвинуто все, что мешает, — Марине достаточно, чтобы перенестись в другое измерение. Аля знает, в эти часы Марину нельзя отвлекать вопросами — она погружена в другой мир. Заговорила Марина, натолкнувшись, видимо, на какую-то ассоциацию:

«— Аля! Моя мать всегда мечтала умереть внезапно: идти по улице и, вдруг, со строящегося дома — камень на голову! — готово.

Аля, чуть позабавленно:

— Нет, Марина, мне это не особенно нравится, камень… Вот если бы — все здание!»

И снова тишина, поочередное снование школьных перьев в старинную фарфоровую чернильницу. Марина пишет пьесы о Марии-Антуанетте, Байроне, Казанове, Комедиантах. Мир грез, создаваемый ею, сейчас так далек от промерзлой Москвы! В нем она — творец, и высшее наслаждение — видеть горящие во время чтения ее пьес глаза. Это молодые студийцы. Марина пишет для них. Она нашла того самого Павлика Антокольского, стихи которого читал в вагоне ей и Сергею его товарищ. Они подружились, Цветаева стала своей в коллективе молодежной студии Евгения Вахтангова и тут же увлеклась актером и режиссером Юрием Завадским — юным талантливым красавцем.

Ангельское лицо, золотые кудри с серебряной прядью сводили с ума его поклонниц. Попала в сети очарования Юрия и Марина.

Вернее — ринулась сама со всем пылом своего темперамента, с даром написанных для него пьес.

После романа с Софьей Парнок и потока стихов, после внезапной (и плодотворной в творческом плане) увлеченностью Мандельштамом, стало окончательно ясно: стихи требуют подпитки. Им нужна энергия пылающей души Марины. И она умела вспыхнуть! Увлечься, вознося до небес своего избранника. При остром уме ей удавалось вызвать в себе головокружительную страсть даже к малозначительным объектам — удивительный феномен! Истории развивались по схожим сценариям: вначале — вспышка счастья, все озаряющая светом, все заслоняющая весенним цветением. Затем непременно — разочарование — трагическое, рыдающее и — вполне хладнокровное, язвительное разоблачение кумира. Весь процесс часто отражен в стихах.

Ее осуждали за многочисленные увлечения: муж где-то на войне, может, даже погиб, в доме помойка, дети заброшены, а она… В самом деле, она многими увлекалась в эти годы, у нее были романы — как эфемерные, так и вполне реальные. Многим предметам страсти она писала стихи. Марина была искательницей. «Искательницей приключений», сказано в стихах, но это неправда. Она искала не приключений, а душу. Душу — родную душу. Это ощущалось как жажда или голод, кидало от восторга к разочарованию, от одного увлечения к другому. «Ненасытим мой голод», — написала она в пятнадцатом году. В двадцатом призналась в интонации более драматической:

> А все же по людям маюсь,
> Как пес под луной…

И несколько месяцев спустя — с большой горечью: «Ненасытностью своею перекармливаю всех…» Наблюдение точное. Мало кто мог выдержать напор Дружбы экспансивной женщины, безудержного стремления отдать себя и постигнуть другого целиком. Романы Цветаевой — не просто секс, не секс в первую очередь а, чаще даже, совсем не секс, а лишь его отблески R стихотворных построениях. В те годы Цветаева не раз повторяла, что «главная ее страсть — собеседничество. А физические романы необходимы, потому что только так проникаешь человеку в душу». Тело казалось лишь оболочкой души, с которой она жаждала слиться. Тело — преграда, навязанная необходимостью:

…Нельзя, не коснувшись уст,
Утолить нашу душу!

Может быть, в поэте существует некий душевный вампиризм, требующий насыщения? Увлечения Цветаевой следовали одно за другим. И от большинства из них она освобождалась стихами. Опустошив уже неинтересный ей «сосуд», переходила к следующему. О прежнем герое часто злословила или просто забывала. Отсюда — нередкие у нее перепосвящения стихов.

Многое из написанного в связи с такими встречами не имеет ни малейшего отношения к эротике. Предметы ее увлечений (героизированные собственной поэтической фантазией) не только открывали шлюзы стихотворным потокам, но и утверждали Цветаеву в реальности собственного существования. В превосходстве Бытия над убийственными мучительствами быта.

«Чаще всего она чересчур увлекалась людьми, чтобы не охладевать к ним, опять-таки, чересчур… в слишком заоблачные выси она возносила их, чтобы не поддаваться искушению низвергнуть, — писала взрослая Аля, — слишком наряжала в качества и достоинства, которыми они должны были бы обладать, не видя тех, которыми они, быть может, обладали… Не женское это было свойство у нее! — ведь *наряжала* она других, а не себя… И в этой ее душевной человеческой непринаряженности и незагримированности таилась одна из причин ее разминовений и разлук — возникновения ее стихов — сейсмограмм внутренних потрясений».

В безумные революционные годы Цветаева ухитряется существовать сразу в трех измерениях — в голодном, нищем, унизительном быту, в иллюзорном галантном Бытии исторических пьес, карнавалах влюбленностей, и постоянно — на фронте, рядом с Сергеем.

На стене комнаты широким размахом обращение к Сергею:

Чем только не писала — и на чем?
И под конец — чтоб стало всем известно!
Что ты мне Бог, и хлеб, и свет, и дом!
Расписываюсь радугой небесной.

И лезвием на серебре коры
Березовой, и чтобы всем известно,
Что за тебя в огонь! В рудник! С горы! —
(что ты — един и нет тебе поры —)

Друзьям в тетради и себе в ладонь,

И, наконец, чтоб было всем известно —
Что за тебя в Хвалынь, в Нарым, в огонь!
Расписываюсь радугой небесной.

Признание на стене — неспроста — это лозунг, клятва. Главное, чтобы все видели, ведь в Борисоглебском частенько собирались участники студии. Для всех — вовлеченных в круг «избранных душ» и критически настроенных наблюдателей — Марина старалась все расставить на свои места: увлечения — высокие игры Бытия. Сергей — вечность, Небесная радуга. И никакой путаницы или перестановки здесь быть не может.

* * *

Дымит буржуйка — все же трубу не удалось надежно Вывести в окно — сплошные щели. А холод настигает. Холод — одно из малых бедствий, которые трудно переносит Марина, легко справлявшаяся с жарой.

— Марина, по-моему, печку пора «кормить», а здесь остались только щепки!

— Положи пока щепки! У меня руки в мыле. — Марина плечом поправила свесившуюся прядь. Стирала она своим манером: на стол красного дерева, принадлежавший, как и вся мебель гостиной, к купленному к свадьбе гарнитуру, раскладывалась замоченная ткань. Намылив щетку, Марина истово старалась справиться с грязью. Получалось чудовищно — но что еще хотеть от быта? Серое мыло пахнет застарелой помойкой, стиранное белье расползается дырами… Значит — снова штопать. А в Севилье цветут гранаты. Такие грациозные лепестки в бордовой кожице… Окна замка темнеют, лишь одном едва заметна на занавеси тонкая девичья тень… Здесь встретятся Анри и Казанова.

— Марина, но печка собирается погаснуть. Она уже съела щепки, которые я ей дала.

— Пфф! — В сердцах отбросив щетку, Марина взяла топор и хищно огляделась, выискивая жертву. Выбор пал на резной стул, обитый гобеленом (тоже из гарнитура), примерилась и рубанула со всего маха. Вонзившийся в плоть дерева топор застрял. Вогнала его поглубже ударами чугунного утюга. Вот вам и замки и менуэты! Хрясь!

— Марина! Это же ваши любимые стулья! Вам не жалко?!

— Ничего давно не жалко. Дажё себя. — Она продолжала

расчленять стойко сопротивлявшийся стул — часть мебели уже ушла в буржуйку, остальная ждала своей очереди.

— Итак, одно окно, за бледной шелковой шторой и силуэт… Анри должен торговаться.

— Аля, читайте дальше. Вы остановились на реплике Анри.

— «Анри (смеясь и отстраняясь).

— … не забывайте — мы авантюристы: сначала деньги, а потом любовь.

Казанова (падая с облаков):

— Какие деньги?»

— Аля! Ты можешь читать громче! Я работаю топором!

— Хорошо! Я буду читать громче. Только можно вас спросить? Почему вы часто пишите «авантюрист»?

— Так. Слово нравится.

— Он непременно должен быть красивый?

— Думаю, да. Красавцем не обязательно. Обворожительным — непременно. — Марина выломала последнюю ножку, выкусила зубами с ладони занозу. — Поняла? Это интересный, смелый, умный и обворожительный человек.

— Значит, как папа? Авантюрист — это как наш Сережа?

Марина метлой собрала в совок щепки и высыпала их за дверцу печки.

— Аля, все деревяшки потом у печки горкой сложишь аккуратно. — Марина разогнулась, отвела со лба челку, прищурилась задумчиво. Собрала со стола «постиранную» рубаху и бросила в таз с водой, уже полный белья. Стерла со стола мыльную воду грязной тряпкой, не глядя, отбросила ее под стол. Улыбнулась с тайной радостью:

— Нет. Не как папа. Как Юрий Завадский.

— Потому что он артист на сцене среди замков и роз, а папа на войне?

Аля! Авантюрист — это особый тип человека. Рыцарь — тоже. Наш папа рыцарь, и он никогда не сможет стать авантюристом.

— А кого вы сейчас больше всего хотели бы видеть — Юрия или папу?

— Конечно папу! Прекрати расспросы, Аля. Мы так никогда не дочитаем этот акт, а я не допишу пьесу.

Сергей… Каждую секунду они ждали шагов на лестнице, письма, весточки. Каждый раз перед сном перед старой иконой Николая Чудотворца, подаренной Цветаевым к свадьбе с отеческим благословением, просили хмурого бородатого старца совершить чудо — сохранить жизнь «Белого лебедя». Сергей стал идеей, символом. Идеальный рыцарь, сражающийся за родину. Единственная любовь, символ дома, мира. Непорочность,

верность.

Но идеи бесплотны. Часто, застывая мраморным изваянием, они больше похожи на памятник, у подножия которого идет совершенно не касающаяся каменного героя жизнь.

Роман с Завадским продолжался полтора года и, в сущности, был вполне платоническим, вернее — безответным. Марина была увлечена им, он — другими. Да она и не претендовала на место в постели или в сердце этого редчайшего экземпляра мужской породы. Зато Марина писала пьесы для него — героические авантюрные истории из XVI–XVIII веков, в которых бушевали высокие страсти, звенели шпаги, вились хитросплетения интриги, искрился юмор и бокалы… Писала, мечтая увидеть своего героя в созданных ею образах.

И еще одно захватывающее увлечение пережила Цветаева в эти годы — Сонечкой Голлидэй.

Она появилась в тот зимний день, когда Цветаева читала в студии Вахтангова свою «Метель». Их познакомил Антокольский:

> «Передо мной маленькая девочка. С двумя черными косами, *с* двумя огромными черными глазами, с пылающими щеками. Передо мною — живой пожар. Горит все, горит — вся… И взгляд из этого пожара — такого восхищения, такого отчаяния, такое: боюсь! такое: люблю!»

Софья Евгеньевна Голлидэй — тогда актриса Второй студии Художественного театра — была всего на четыре года моложе Цветаевой, но из-за маленького роста, огромных глаз и кос казалась четырнадцатилетней девочкой.

«Сонечку знал весь город. На Сонечку — ходили. Ходили — на Сонечку. — «А вы видали? такая маленькая, в белом платьице, с косами… Ну, прелесть!» Имени ее никто не знал: «такая маленькая»…» — вспоминала Цветаева в «Повести о Сонечке».

Они подружились. Всю первую половину девятнадцатого года Сонечка была частым гостем в доме Марины — дружила с Алей, умела играть и общаться с больной Ириной. Дружба с Сонечкой была горячей и напряженной. В молодой актрисе, бедно одетой, часто голодной, но всегда готовой поделиться последним, слишком непосредственной, с неуживчивым характером, с вечно неудачными Любовями, Цветаева разглядела «Женщину — Актрису — Цветок — Героиню», как написала она, посвящая Голлидэй пьесу «Каменный Ангел».

Сонечка исчезла так же внезапно, как и появилась: бросила Москву и вскоре вышла замуж. «Сонечка от меня ушла — в свою женскую судьбу, — писала Цветаева. — Ее неприход ко мне был

только ее послушанием своему женскому назначению: любить мужчину…»

Была ли это гомоэротическая связь, как несколько лет назад с Софией Парнок? В «Повести о Сонечке», Где Цветаева с огромной нежностью описывает свою дружбу с Сонечкой, она дает понять, что физической близости между ними не было: «Мы с ней никогда не целовались: только здороваясь и прощаясь. Но я часто обнимала ее за плечи, жестом защиты, охраны, старшинства…»

«Повесть о Сонечке» Марина Цветаева написала в эмиграции, получив известие о смерти своей московской подруги.

О потребности в увлечениях Цветаевой в чумные московские годы упоминать необходимо. Без этого не понять феномен ее творчества и уникальность любви к Сергею. Но это повествование о другом. О странном, подчас не осуществимом совмещении Единственности и множества. О лукавой игривости и тяжкой длани поэтовой любви. О безмерности души, осененной даром.

Пьесы Марины в студии так и не были поставлены, увлечения приходили, озаряли и уходили. В блистательно образованном князе С.М. Волконским, про которого было известно, что он вообще не интересуется женщинами, Марину привлекло его происхождение — княжеское и «декабристское», его порода, высокий строй мыслей. Общение с этим красивым, безупречно воспитанным и прекрасно образованным человеком, который представлялся Марине Учителем, было для нее источником бурного творчества. Стихи, посвященные кн. Волконскому, не оставляли Марину до отъезда из России. Обращенный к нему цикл стихотворений Марина озаглавила «Ученик».

Эти увлечения Цветаевой — увлечения этическое и эстетическое, на взлете которых было написано так много, спасли Поэта в страшный 1919 год, а испытание нуждой — укрепило милосердие и щедрость в душе Марины, столь опасно скользившей на грани эгоцентризма и равнодушия.

> «Милый 19-й год, это ты научил меня этому воплю! Раньше, когда у всех все было, я и то ухитрялась давать, а сейчас, когда ни у кого ничего нет, я ничего не могу дать, кроме души — улыбки — иногда полена дров (от легкомыслия!), — а этого мало.
>
> Раньше, когда у всех все было, я все-таки ухитрялась давать. Теперь, когда у меня ничего нет, я все-таки ухитряюсь давать».

В характере Цветаевой проявляются не столь заметные в обеспеченные времена черты. Легко быть щедрой в благополучии. Когда эгоистка делится последней картошкой, а белоручка

хватается за самую грязную работу, не теряя при этом внутреннего света, даруемого творчеством, — хочется думать, что это оценивается по иной шкале духовной зрелости, чем благодеяние толстосума. Бескорыстная, доверчивая, Марина бросается в предприятия мучительные и безнадежные, дабы прокормить семью. Она, не раздумывая, помогает людям, делится последним. Таких примеров много, и каждый — та самая луковка, которая в притче о грешнице перевесила на чаше весов недобрые поступки.

Какой библейской проникновенностью окрашена бескорыстная девятнадцатилетняя дружба Цветаевой с Константином Дмитриевичем Бальмонтом — беспрерывная, на ровном дыхании обожания и преклонения. Преклонения перед уникальностью всего существа этого невероятного старика. Бальмонт принадлежал к тем редчайшим людям, с которыми Марина вслух, а не в письмах, была на «ты» и опекала, хорошо зная заоблачную утонченность его души, его редчайшую непрактичность, крайнюю неприспособленность к быту.

В голодные 1919–1920 годы Цветаева старалась поделиться с Бальмонтом последним. Собрав «гостинец» — несколько картошек, мешочек крупы и пакетик СО щепоткой настоящего чая, Марина пришла в холодный и голодный дом больного Бальмонта.

«Поэт — в женском шотландском крест-накрест платке — в постели — безумный холод, пар колом — рядом блюдце с картошкой, жаренной на кофейной гуще.

— О, это будет позорная страница в истории Москвы! Я не говорю о себе как о поэте, я говорю о себе как о труженике. Я перевел Шелли, Кальдерона, Эдгара По… Не сидел ли я с 19-ти лет над словарями, вместо того, чтобы гулять и влюбляться?! Ведь я в буквальном смысле — голодаю. Дальше остается только голодная смерть! Глупцы думают, что голод — это тело. Нет, голод — душа, тотчас же всей тяжестью падает на душу. Я угнетен, я в тоске, я не могу писать!»

— Бальмонтик, милый, я же такая предприимчивая стала! В Тамбовскую губернию ездила, добывала пропитание в деревнях. Куски ситца какие-то завалялись от прежних времен, Алины детские вещички. Взяла, чтобы на съестное что-то выменять.

Марина села в кресло у постели.

— Добрые люди научили в деревню ехать.

— Может, и добрые, но дураки. — Исподлобья глянул Бальмонт. — Ты ведь неумеха — тебя только и посылать торговаться. Хорошо, живая вернулась.

— Зато привезла из Тамбовской губернии незабываемые

впечатления. Теперь я видела, с кем сражается Сергей, от кого спасает Россию Белая гвардия.

— Вандалы, жестокие вандалы… И без экскурсий ясно.

— Все же гостинец добыла. Не густо, они там в деревне сами голодают. Новая власть ловко грабить научилась. Грабят всех, грабят с удовольствием и даже с вдохновением, отбирают все подряд: хлеб, сало, вещи. Награбленное делят на месте грабежа. О, картина для «Пугачева»…

— Это называется «коммунизм» — все отобрать и поделить меж членами банды! — детски-голубые глаза старика подчеркивали белизну пышных волос.

— Именно! Вот уж два года, как со всех сторон слышу: «Коммунизм прекрасен, коммунисты — ужасны!» Коммунисты — люди, есть и плохие, есть хорошие. Не их я ненавижу, а коммунизм. Идея подлая. — Глаза Марины сузились, и кулаки сжались, как для удара. И ударила бы, и подралась, как бы знать, из-за кого голодает этот чудесный, вдохновенный старик. Так ведь не «кто-то» — идея! Идею расстрелять надо!

— Идея грабительская! Подняла со дна человеческих душ все дурное и темное. Большевистские лозунги прикрывают грязь, ложь, насилие. Человека нет — пропал человек! — Бальмонт приподнял с подушек свою львиную голову в серебристом венце седых волос. — Скажи, Марина, это еще надолго?

— Пусть грабят. А мы будем писать. Послушай:

Пышно и бесстрастно вянут
Розы нашего румянца.
Лишь камзол теснее стянут:
Голодаем как испанцы.
Ничего не можем даром
Взять — скорее гору сдвинем!
И ко всем гордыням старым —
Голод: новая гордыня.

— Голод — новая гордыня. Это ты верно, верно… А гордыня — большой грех. Так ведь живот подводит!

— Эх, Бальмонтик, не голода страшусь, не грехов. Ты прав: в людях проснулись темные инстинкты, это и угнетает больше всего, больше голода и холода. Ведь затевали все ради освобождения народа… — Марина закурила. — Видела я этот нищий народ, замученный грабежами, убийствами. И вот что написала:

Если душа родилась крылатой —

Что ей хоромы — и что ей хаты!
Что Чингис-хан ей и что — Орда!
Два на миру у меня врага,
Два близнеца, неразрывно-слитых:
Голод голодных — и сытость сытых!

В эмиграции Марина продолжала трогательно заботиться о старом поэте. На посвященном Бальмонту благотворительном вечере в парижском зале Социального музея она читала написанное с удивительной теплотой и трепетом «Слово о Бальмонте». Призывала русскую эмиграцию не оставлять на себе «несмываемого пятна: равнодушия, с которым она позволяет страдать больному великому поэту».

* * *

Писем от Сергея не было, но сами они непременно писали, складывая написанное в шкатулку, до оказии. Ведь она могла появиться в любую минуту. И потому всякую минуту прислушивались. В мае можно было открыть окно и, сев на подоконник, обозревать подступы к дому. Аля смотрела на изгиб грязной, выщербленной мостовой, уходящей в арку соседнего дома, и загадывала: сейчас, вот сейчас, прямо сейчас пробежит собака с рыжим хвостом и покажется Он. В шинели, фуражке. Поднимет голову, увидит ее и…

На жестяной подоконник тут же, завидев Алю, слетела парочка голубей. Белая — конечно голубка, у нее на шее еще амулетик какой-то на шнурочке в перышках прячется. А Сизый — ее муж. Крыльями защищает и никогда первый крошку не схватит. Аля им припасала от своих сухарных запасов. И не удивляет ее, что в 19-й год всех городских голубей съели, а эти прилетают и откуда — никак не удается заметить.

«Аля, Аля, иди скорей сюда!» Голос Марины звучал требовательно — она готовила и как всегда в такой момент была требовательна и решительна. Видимо, немало душевных сил требовало это пренебрежение к голоду, нищенству, унизительной, беспролазной нищете. Стойкости к бедам старалась научить Марина любимую дочь. Вот один из воспитательных эпизодов.

Рассказ Али, написанный в мае 1919-го, называется «Подвиг»:

«Аля, Аля, иди скорей сюда!» Я иду к ней и вижу — на кухонной тряпке лежит мокрый червяк. А я больше всего боюсь червяков. Она сказала: «Аля, если ты меня любишь, ты должна

поднять этого червя». Я говорю: «Я же вас люблю душой». А Марина говорит: «Докажи это на деле!» Я сижу перед червяком на корточках и все время думаю: взять ли его или нет. И вдруг вижу, что у него есть мокрый селедочный хвост. Говорю: «Марина, можно я его возьму за селедочный хвост?» А она отвечает: «Бери его, где хочешь! Если ты его подымешь, ты будешь героиня, и потом я скажу тебе одну вещь».

Сначала я ничем не ободрялась, но потом взяла его за хвост и приподняла, а Марина говорила: «Вот молодец, клади его сюда на стол, вот так. Клади его сюда, только не на меня!» (Потому что Марина тоже очень боится червяков.) Я кладу его на стол и говорю: «Теперь Вы правда поверили, что я Вас люблю?»

«Да, теперь я это знаю. Аля, ведь это был не червяк, а внутренность от пайковой селедки. Это было испытание». Я обиделась и говорю: «Марина, я вам тоже скажу правду. Чтоб не взять червяка, я готова была Вам сказать, что я Вас ненавижу».

Частям Белой армии так и не удалось войти победителями в Москву. На некоторое расстояние они еще продвинулись — 3-й Марковский полк дошел до Щигров после чего началось отступление. И Рождество марковцам пришлось встречать не в Москве, а на Кубани, в станице Кущевской. А дальше снова был Дон. В живых с того времени осталось меньше сотни человек, и в их числе — подпоручик Эфрон…

Отступление завершилось в Новороссийске трагической эвакуацией в Крым. 15 марта 1920 года транспорт «Маргарита» с марковцами на борту пришел в Севастополь. 22 марта генерал Деникин сдал командование вооруженными силами на Юге России генералу Врангелю. Новым главнокомандующим было сделано большое производство офицеров, иногда — даже через чин. Скорее всего, тогда Сергей Эфрон, ветеран-марковец, и стал поручиком.

Марковская дивизия заняла восточный участок Перекопской позиции, упиравшийся в Сивашский залив. Тотчас приступили к укреплению обороны: установили проволочные заграждения, на валу вырыли окопы, на правом фланге соорудили пулеметный редут. Штаб 3-го полка с пулеметной командой, в которой состоял поручик Эфрон, расположился в деревушке Щемиловке.

В любой ситуации Сергей находил время, чтобы написать Марине отчет о прошедшем дне. Ему так не хватало общения с ней, не хватало ее самой, безмерно любимой. Каждую минуту он думал о ней и мысленно пересказывал жене все впечатления, ощущения. Его внутренняя жизнь стала формой диалога, в котором он открывал Марине самое сокровенное. Сергей Эфрон — человек не слишком расположенный к задушевным беседам,

скорее, молчаливый, ни разу никому не рассказывал о бедах, преследовавших его на фронте, ни одним словом, даже в письмах к сестрам или Волошину, не жаловался на Маринины измены — бывшие и нынешние, о которых доходили слухи. Он принимал ее такой, как есть, и такую боготворил. Как выяснится потом — единственный мужчина в жизни Марины со своей единственной, все понимающей, всепрощающей любовью.

> «Мне страшно, страшно, Мариночка! У поручика N гранатой разворочена часть лица. Но он еще жив и с булькающей кровью из губ вырываются звуки — то ли стон, то ли слова… Я наклонился, я хочу понять… Я весь забрызган кровью и мозгом. А снаряды свистят совсем рядом. Может, следующий — мой…»

> «Опять отступаем — ночь, грязь непролазная, ноги растерты в кровь, кашель удушающий и все время мучительное чувство, что нет во мне ни силы, ни доблести. Груз один, а не боец…»

«Нет, не подумай — я не трушу, не прячусь за чужие спины, я поднимаю своих пулеметчиков в атаку… Вроде и не я — кто-то Свыше дает мне силы и дыхание. Страшное, ослепляющее желание спасти Россию, в которой мы были так счастливы. Спасти Россию, а значит тебя, детей, дом… Мы защищаем Крым — и это тоже символ — наш Крым… Я знаю, что отстаиваю Макса и его, а значит, наш мир…» — Это не странички дневника, это непроизнесенные монологи, с которыми жил в эти дни и шел на смерть Эфрон.

Несколько раз красные начинали наступление, пытаясь преодолеть Перекопский вал и ворваться в Крым. Но оборону белых им прорвать так и не удалось. (Потом, в эмиграции, по запискам мужа Марина станет писать поэму «Перекоп».)

Последнее дошедшее до нас письмо Сергей Эфрон написал в Коктебель Волошину 24 сентября 1920 года, находясь под Александровском (ныне Запорожье). «…Обучаю красноармейцев (пленных, конечно) пулеметному делу. Эта работа — отдых по сравнению с тем, что было до нее. После последнего нашего свидания я сразу попал в полосу очень тяжелых боев… Часто кавалерия противника бывала у нас в тылу, и нам приходилось очень туго. Но, несмотря на громадные потери и трудности, свою задачу мы выполнили… Все дело было в том, у кого — у нас или у противника — окажется больше «святого упорства». «Святого упорства» оказалось больше у нас».

Но через неделю Сергей Эфрон сделал к неотправленному

письму карандашную приписку: «За это время многое изменилось. Мы переправились на правый берег Днепра. Идут упорные кровопролитные бои. Очевидно, поляки заключили перемирие, ибо на нашем фронте появляются все новые и новые части. И все больше коммунисты, курсанты и красные добровольцы. Опять много убитых офицеров».

* * *

Три пласта, в которых жила в эти годы Марина Цветаева: бытовой московский; тот, что на Дону, за которым следит то с надеждой, то с отчаяньем; и «шальной», творческий, воплотивший героику и романтику XVIII века, отражены в ее поэзии. Марина пишет стихи, пьесы, прозу. Она вобрала в себя все, и каждый раз это *«другая* Цветаева.

Она и в самом деле сильно изменилась, не только внутренне — внешне. Женский расцвет Марины пришелся на последние годы мирной жизни, благополучия, радости. Счастливая мать и жена хорошела, не ведая, что у порога ждут ее страх за близких, унижения, физическая и душевная боль — жестокие фантомы старения.

Марина, прошедшая через разрушительный шторм революции, — женщина отцветшая. Вне пола, вне возраста. Женственностью она, за коротким исключением, никогда не отличалась, но и возможность быть элегантной ушла от нее навсегда. Двадцатишестилетняя женщина, не потерявшая жажду влюбленности, была вынуждена выбрать «стиль нищенства». На застиранных тряпках, как и на измученной душе, не так видны следы выживания, потерь, обид, злобы, затравленности. Какие духи? Какие каблуки? Цветочное мыло для волос? Оставьте, это просто смешно вспоминать.

Пропал ее неистребимый румянец, от которого она так страдала в юности, на коже землисто-смуглого оттенка появились морщинки; юношеская стройность обернулась поджарой худобой. От прежней Марины оставались ее золотистые волосы, зеленые глаза и летящая походка.

«Пшеничная голова, которую Марина постоянно мыла, приходя к нам, в ванной… Волосы были очень красивые, пышные. Одутловатое бледное лицо, потому что на голой мерзлой картошке в основном; глаза зеленые, «соленые крестьянские глаза», как она писала», — так вспоминала Цветаеву девятнадцатого-двадцатого года ее подруга Вера Звягинцева. «… Всегда перетянутая поясом, за что я ее про-.тала «джигит». Она

носила корсет для ощущения крепости…»

Одета Цветаева была соответственно своей бедности, своему пренебрежению к моде и своему пониманию чувства долга. Ради последнего она подпоясывалась «не офицерским даже, — как она сама пишет, — а юнкерским, 1-й Петергофской школы прапорщиков, ремнем. Через плечо, офицерская уже, сумка, снять которую сочла бы изменой». Зимой обувалась в валенки, в другое время года в башмаки, часто без шнурков. Платья донашивались старые или перешивались из портьер, бывших пальто — из чего придется, а потому выглядели, по словам Звягинцевой, «несусветными». Теперь Цветаевой и в голову не пришло бы одеться в одно из своих прежних «необыкновенных, восхитительных» платьев. Время женственных нарядов для Марины миновало, и два из них, уцелевшие от Сухаревки, перешли к Сонечке Голлидэй вместе с замечательным коралловым ожерельем. Цветаевой не было еще и тридцати, а она уже навсегда прощалась с молодостью:

Неспроста руки твоей касаюсь,
Как с любовником с тобой прощаюсь.
Вырванная из грудных глубин —
Молодость моя! — иди к другим!

Это думалось и писалось без особого сожаления, но и без иронии. Она понимала, что и сама жизнь, и поэзия се переходят в новое качество. Природная гордость и чувство достоинства не позволяли Цветаевой относиться к своему положению иначе, чем с веселым презрением. «Неприлично быть голодным, когда другой сыт. Корректность во мне сильнее голода, — даже голода моих детей».

Она не отягощает близких жалобами, не просит, но легко берет в дар, веря в «круговую поруку дружбы».

Чуть позже Марина записывает в дневнике обращение к «друзьям»: «Жестокосердые мои друзья! если бы вы, вместо того, чтобы угощать меня за чайным столом печеньем, просто дали мне на завтра утром кусочек хлеба… Но я сама виновата, я слишком смеюсь с людьми. Кроме того, когда вы выходите, я у вас этот хлеб — краду». Цветаева считала, что дать почувствовать всю бездну своей нищеты и отчаяния безнравственно. И она смеялась — изображая беззаботность сытости. «Признание в нужде ставит более благополучного в невыносимое положение дающего, ведь богатство и сытость должны угнетать тех, у кого они есть. Гораздо легче было взять — и для нее самой, и для того, у кого берешь».

И тут же вопль: «Есть ли сейчас в России (…) настоящий

созерцатель и наблюдатель, который мог бы написать настоящую книгу о голоде: человек, который хочет есть — человек, который хочет курить — человек, которому холодно — о человеке, у которого есть и который не дает, о человеке, у которого нет и который дает, о прежних щедрых — скаредных, о прежних скупых — щедрых, и, наконец, обо мне: поэте и женщине, одной, одной, одной — как дуб — как волк — как Бог — среди всяческих чум Москвы 19-го года. Я бы написала — если бы не завиток романтика во мне — не моя близорукость — не вся моя особенность, мешающие мне иногда видеть вещи такими, какие они есть».

«Завиток романтика» — стальная жила жизнелюбия, отторжение ко всему, что не подвиг, не полет, не вдохновение. Презрение к вторжениям в поэтический мир ее Бытия «чумных бед» быта.

Порою кажется, что жестокие испытания, ниспосланные ей и Сергею — проверка души на прочность. Проверка Маринного дара на человечность. Проверка человеческой сущности на совместимость инакостей. Во всех тех условиях, которые ставит Поэту мир непоэтов, безмерности — мир мер.

«Что ты любим! любим! любим! — расписываюсь — радугой небесной»

Марина разжигает самовар, выхватывая голыми руками угли из печки. Дует, плюет на пальцы — больно все же.

— Сегодня у нас будет жареное мясо! — шутит, плюнув на взбухающий пузырь.

— Мариночка, надо было тряпкой хватать… — Аля старательно дует на ладонь матери.

Кожа на руках задубела от стирок в ледяной воде, возне с грязью, углями, пилами — невпроворот забот от этого вовсе незаметного, необременительного хозяйства. Бывало, только успевай отчитывать Машку да Глашку за неповоротливость. И деньги плати им за труд. А если денег ни копья, а зова поэтиного никто не отменил — «языка вещего» не вырвал, не вставил в Маринины мозги Глашкины извилины, все равно дом не потянешь. Еле-еле вывезти воз быта, что бы от голода не сгинуть, в грязи не потонуть.

В зеркало она не смотрит — незачем. Махнуть расческой, умыться, косо глянув в отбитый прямоугольник над умывальником. Жуть… Тусклый свет лампы в 25 свечей, мыльные засохшие разводы на стекле. Малосильность голой лампочки кстати — нечего тут разглядывать. А каково будет Сергею увидать

ту, с чьим образом он прошел все испытания?

Как змей на старую взирает кожу —
Я молодость свою переросла…
Не похорошела за годы разлуки!
Не будешь сердиться на грубые руки,
Хватающиеся за хлеб и за соль?
— Товарищества трудовая мозоль!..

* * *

Ноябрь, морозы, на плечах матери и дочери облезлые шубы. Но и они не спасают — в комнате немногим теплее, чем на улице. В самоваре похлебка из горсточки пшена. Вот уже два дня картошку по пайку не выдают. Нет и хлеба. Маленькая полугнилая луковка, которую Марина подобрала на улице, бережно очищена и брошена в варево. Все — кушать подано! Аля делает удовлетворенную мордочку и не осмеливается спросить, где они будут добывать еду завтра.

Марина разливает в плошки «супчик». На секунду задумывается и начинает говорить особым «стихотворным голосом»:

Когда-нибудь, прелестное созданье,
Я стану для тебя воспоминаньем,
Там, в памяти твоей голубоокой
Затерянным — так далеко-далеко.
Забудешь ты мой профиль горбоносый,
И лоб в апофеозе папиросы,
И вечный смех мой Коим всех морочу,
И сотню на руке моей рабочей —
Серебряных перстней, — чердак-каюту,
Моих бумаг божественную смуту…
Как в страшный год, возвышенный Бедою,
Ты — маленькой была, я — молодою.

— Вы всегда будете молодой. — Сдерживая слезы, Аля с преувеличенным старанием шарила ложкой по дну тарелки. Но ни кусочка картошки или морковки не обнаружила. Совсем уж расплакалась, соскочила с табурета и обняла Марину:

— Вы — самая прекрасная на свете. А такие никогда не старятся! Честное слово!

— С чего бы это? От веселой жизни?

— От того, что вы суп не едите. У молодых не бывает аппетита от влюбленности.

— Значит, именно поэтому я вовсе не голодна. — Марина перелила свой суп в Алину плошку, отошла к окну, закурила.

— Мне многие говорят: «Марина Ивановна, вы чрезвычайно мужественный человек. Писать стихи в этом повседневном ужасе!» Я отвечаю: «Помогает мой авантюризм, легкое отношение к трудностям». Кажется, они не верят. И советуют мне определить на зиму тебя с Ириной в хороший дом для детей.

— В приют?!

— Особенный, самый лучший, с американской едой. И там всегда тепло.

— Ты будешь с нами, Марина?

— Вряд ли. Я буду вас навещать.

Цветаева изо всех сил старалась подняться над схваткой, в сражении с бытом стать насмешливым посторонним наблюдателем. Она бодрилась, заявляя о презрении к унижениям, нищенству, голоду. А как иначе? Ныть, попрошайничать? А стальной хребет воли?

И. ведь она же Поэт! В сущности, Марина всего лишь молодая женщина, рожденная для того, чтобы быть постом и принявшая на свои плечи непосильную ношу — спасти себя и детей в чумные революционные годы. Бой за выживание был неравным, гордый смех Марины спасал от унижения бедой, но не спасал от беды.

Ирина оказалась для матери мучительной обузой, едва ходила и почти не умела говорить. Но всегда была голодна и невнятным своим лепетом настойчиво долбила: «Кусить дай!» На одной ноте, не умолкая, бубнила, бубнила… — хуже пытки. Нытье больного ребенка раздражало, мучило, сбивало с творческого настроя, вопило о беспомощности Марины, унижало достоинство всепобеждающей духовности творца. Оно ее просто убивало.

Уходя, Марина и Аля часто привязывали Ирину к креслу, чтобы девочка не упала и, ползая, не натворила бед. Кораблекрушительный быт Цветаевой, грязь, холод и голод в ее доме приводили людей в ужас. Все жили трудно, но существовать с двумя маленькими детьми в таком убожестве — это уж слишком. А привязанная к стулу, вымаливающая «кайтошки дай!» девочка и вовсе разбивала сердца. Необходимо было пережить наступающую зиму 1919/20 года, и было очевидно, что Цветаева не в состоянии обогреть и прокормить детей. Она понимала это и в середине ноября отдала их в приют в Кунцево, считавшийся образцовым и снабжавшийся американскими продуктами.

Надеялась спасти, а вышло наоборот.

Когда через месяц Цветаева приехала проведать дочерей, оказалось, что обе тяжело больны. Аля в горячечном бреду, чуть ли не при смерти! Марина в ужасе схватила любимую дочь, завернула в пальто и на каких-то попутных санях довезла до дому. Болезнь тянулась больше двух месяцев, врачи не могли поставить диагноз, температура почти постоянно приближалась к критической. Отчаяние и надежда Цветаевой сосредоточились на столбике градусника, колебавшегося у самой опасной черты. Писать она не могла, это мучило, не давало возможности хоть ненадолго спрятаться в привычном убежище, дать вырваться мучившей боли. Когда стало ясно, что Аля поправляется, Цветаева схватилась за работу. Она не издавалась больше шести лет и, узнав о возможности издать книгу, решила составить сборник стихов тринадцатого — пятнадцатого годов с названием «Юношеские стихи». Это тогда она писала о полудетских мечтах, южном цветении, сиреневом тумане предчувствий. Кружение строк, хрупкость, нежность — откуда такое было в Марине? И куда делось? Работа отгоняла черные мысли. Стало очевидно, Ирину надо забрать из приюта. Но как поддержать жизнь двух больных детей? В комнате Цветаевой по утрам не больше 4–5 градусов тепла по Цельсию, хотя она топила даже по ночам. И с питанием совсем плохо. Сестра Сережи просила отдать ей девочку на время, но и она еле держалась на ногах. Холодным разумом Марина понимала, что жизнь девочки висит на волоске, но и спасать ее не бросалась. Знала: не вытянуть все равно, да и что это за жизнь у дитя-инвалида. Еще в такое-то время. Со дня на день случится неизбежное — это она понимала.

В начале февраля 1920-го Цветаевой сообщили, что Ирина умерла. Марина не вздохнула с облегчением — она испугалась, наконец, осознав реально, что потеряла ребенка.

— Вы заберете тело или оставите приюту на захоронение? Тогда пишите заявление. — Говорила ей, глядя презрительно, инспектор по приютам.

Марина написала заявление, не поднимая глаз, подвинула листок женщине.

— Приехать проститься с дочерью можете уже сегодня.

— Н-нет… Я не могу оставить больного ребенка… Спасибо.

Она ушла, неся на своей спине осуждающий взгляд инспектора: «Даже не простилась с дочерью!» Да и близкие знакомые осуждали Марину. Особое негодование вызывала формулировка ее сообщения: «умерла *Сережина* дочь». Будто она сама здесь лицо постороннее. И брошенная кому-то фраза: «Ей вообще незачем было жить».

«Многое сейчас понимаю: во всем виноват мой авантюризм, легкое отношение к трудностям, наконец — здоровье, чудовищная моя выносливость. Когда самому легко, не веришь, что другому трудно…» «С людьми мне сейчас плохо, никто меня не любит, никто — просто — не жалеет, чувствую все, что обо мне думают, это тяжело… — Никто не думает о том, что я ведь *тоже человек*... - жаловалась она в письме к сестре. — Самое страшное: мне начинает казаться, что Сереже я — без Ирины — вовсе не нужна, что лучше было бы, чтобы я умерла — достойнее! — Мне стыдно, что я жива. — Как я ему скажу?.. Я опять примеряюсь к смерти… Если Сережи нет в живых, я все равно не смогу жить».

От полного отчаянья удерживала Цветаеву Аля, ее близость, необходимость спасти ее, заботиться о ней. Смерть ребенка произвела гнетущее впечатление в писательском кругу и заставила обратить внимание на положение Цветаевой. После гибели Ирины Цветаевой выхлопотали паек. Помощь пришла поздно для Ирины, но помогла спасти Алю. Теперь Цветаева не кормила дочь, а пичкала. В ее волосах совсем рано появились седые нити, в глазах — суетливое беспокойство. Не проморгать, не пропустить!

Спасла Цветаеву идея составить цикл стихов, посвященных Сергею и Белому движению. Само название давало ноту высокого настроя. В «Лебединый Стан» вошли стихи, написанные с весны 1917-го начиная со дня отречения Николая П. Первое стихотворение, как бы эпиграф, вне хронологии событий «На кортике своем — Марина…». Клятва верности мужу и Белому делу.

Постепенно Добровольчество персонифицируется, становится белым лебедем, «моим» белым лебедем: «Там у меня — ты знаешь? — белый лебедь…» Ангел, Воин, Сережа — любимый — тоска по нему, страх за него сплетаются с тоской и страхом за Россию, за Белое дело. Это и история, и любовное письмо, которое пишется, чтобы когда-нибудь, неведомыми путями достигнуть ушей, глаз, сердца любимого. Время неумолимо уносит надежду, интонации переходят в плач, плач — в крик. В страшные «немые» дни февраля двадцатого года рождается стихотворение «Я эту книгу поручаю ветру…» — кульминация сборника. В нем голос Цветаевой достигает трагического звучания:

Я эту книгу поручаю ветру
И встречным журавлям,
Давным-давно — перекричать разлуку —
Я голос сорвала…

Интересно то, что Цветаева, муж которой каждую минуту может погибнуть от пули красных, не проклинает врага, не сзывает тучи на его голову. В первые годы революции Цветаева на стороне побежденных — тех, кто защищает Россию. Постепенно она всей душой понимает, что в Гражданской войне победителей не бывает. Все — правые и виноватые, белые и красные, погибшие в братоубийственной войне, — жертвы. Цветаева оплакивает погибших с причитаниями народных заплачек;

Все рядком лежат —
Не раз весть межой.
Поглядеть: солдат.
Где свой, где чужой?

Белый был — красным стал:
Кровь обагрила.
Красным был — белый стал:
Смерть побелила.
……..
Ненависть, ниц:
Сын — раз в крови!

Не только перед лицом смерти, но и перед лицом России все погибшие равны и правы, ибо каждый умер за И ее, за ее счастье, по-своему понятое. Она завершает «Лебединый Стан» стихотворением, написанным под новый, 1921 год. Гражданская война кончилась, большевики победили. Значительная часть Белой армии эвакуировалась через Турцию в Европу, остальные рассеялись по стране. Цветаева все еще ничего не знала о муже. Будущее страны уже определилось, но судьба семьи Цветаевой темна. Новогоднее стихотворение обращено к соратникам Сергея, выброшенным в чуждый Галлиополь. Возможно, он там, среди обломков Лебединого Стана:

С Новым Годом,
Лебединый Стан!
Славные обломки!
С Новым Годом — по чужим местам —
Воины с котомкой!
С пеной у рта пляшет, не догнав,
Красная погоня!
С Новым Годом — битая — в бегах

Родина с ладонью!

Цветаева понимала, что с Белым движением покончено. И это — трагедия для России, а может быть, даже и всемирная. К «Посмертному маршу» эпиграф: «Добровольчество — это добрая воля к смерти». Таков итог:

Добровольчество! Кончен бал!
Послужила вам воля добрая!

Что осталось от их подвига? — Братство, верность, «дел и сердец хрусталь». Стихи Цветаевой — восторженный реквием Добровольческому движению. Когда на Западе в 1957 году впервые был опубликован «Лебединый Стан», рецензенты отмечали, что никто сильнее не воспел и не оплакал Добровольчество.

Когда наладилось сообщение с Югом, оказалось, что в Крыму пережили все ужасы Гражданской войны — смену властей, налеты, погромы, расстрелы, голод, болезни — сестра Ася с Андрюшей, Волошины, Парнок… И теперь в «красном Крыму» свирепствовал голод и бандитизм, победившая власть была жестока и не милосердна. Цветаева ринулась помогать жителям Крыма. Неумелая и «недобытчик» для себя, она становилась настоящим бойцом, когда дело касалось друзей. Упорно ходила по учреждениям, добивалась выдачи пайков и «охранных грамот» на жилища друзьям в Феодосии и Коктебеле.

В 1921 году уезжал в заграничную командировку Илья Эренбург, с огромной симпатией и даже более теплыми чувствами относившийся к Марине. Обещал разыскать Сергея, оказавшегося в эмиграции, передать письмо и стихи. Эренбург — натура творческая и увлекающаяся, хорошо понимал, что романы Цветаевой происходят в другом, отчасти поэтическом измерении, не касаясь ее отношения к мужу, ее любви к Сергею. Сергей был единственным; все другое — Романтизмом, эпизодами, в разной степени проходными. Она и Сережа — отдельный мир, со своими клятвами и обязательствами.

Гражданская война кончилась, а от Сергея не было Никаких известий. Настоящий, не поэтический ужас реальной потери Сергея приводил Марину в отчаянье. Она пишет о нем, как бы заклиная судьбу. В стихах «Георгий» Сергей является в образе святого Георгия Победоносца — непобедимого рыцаря. Строфа, начатая 1 июля 1921 года, оборвана на полуфразе: «Так слушай же!..» В книге помечено: «Не докончено за письмом». Вымолила!

Вымолила-таки чуда!» В тетради, рядом с оставленным «Георгием», запись: «С сегодняшнего дня — жизнь. Впервые живу…» В этот момент Марина развернула письмо, привезенное Эренбургом. Чудо свершилось! Эренбург нашел Сережу в Константинополе. После трех с половиной лет разлуки и почти двух лет полной неизвестности Цветаева получила от мужа первое письмо. «Мой милый друг — Мариночка, сегодня получил письмо от Ильи Григорьевича, что Вы живы и здоровы. Прочитав письмо, я пробродил весь день по городу, обезумев от радости. Что мне писать Вам? С чего начать? Нужно сказать много, а я разучился не только писать, но и говорить. Я живу верой в нашу встречу. Без Вас для меня не будет жизни, живите! Я ничего от Вас не буду требовать — мне ничего не нужно, кроме того, чтобы Вы были живы. Наша встреча с Вами была величайшим чудом, и еще большим чудом будет наша встреча грядущая. Все годы нашей разлуки — каждый день, каждый час — Вы были со мной, во мне. Но и это Вы, конечно, должны знать. О себе писать трудно. Все годы, что мы не с Вами — прожил, как во сне. Жизнь моя делится на две части — на «до» и «после». «До» — явь, «после» — жуткий сон, хочешь проснуться и нельзя. Но я знаю — явь вернется… Для вас я веду дневник, большую и самую дорогую часть его у меня украли с вещами — Вы будете все знать. Простите, радость моя, за смятенность письма. Берегите себя, заклинаю Вас. Вы и Аля — последнее и самое дорогое, что у меня есть. Храни вас Бог. Ваш С.».

И — в приписке Але: «Спасибо, радость моя, — вся любовь и все мысли мои с тобой и с мамой. Я верю — мы скоро увидимся и снова заживем вместе, с тем, чтобы больше никогда не расставаться…»

Цветаева отвечает: «Мой Сереженька! Если от счастья не умирают, то — во всяком случае — каменеют. Только что получила Ваше письмо. Закаменела. — Последние вести о Вас, последнее письмо к Максу. Потом пустота. Не знаю, с чего начать. — Знаю, с чего начать: то, чем и кончу: моя любовь к Вам…»

Письмо Сергея опьянило Марину радостью: не отрываясь, она пишет:

Жив и здоров!
Громче громов —
Как топором —
Радость!
Стало быть, жив?
Веки смежив,

Дышишь, зовут —
Слышишь?

Радость перевернула жизнь: нужно ехать к мужу. Прощай, ненавистная комната, окаренок, прощайте серые лица победителей! Однако до отъезда прошел еще почти год. Оформление виз требовало множества бумажных хлопот и больших денег, которых у Марины не было. Кроме того — она из тех, у кого перемена места жительства приобретает трагический оттенок «прощания с родиной». Ощущение трагедии преследует ее на Каждом шагу, приближающем к отъезду. Вновь и вновь она примеряет ситуацию: остаться, вызволить каким-то образом Сергея? Казалось, все пережитое — две революции, Гражданская война, «военный коммунизм» — осталось позади. Но вот расцвет НЭПа — отменил все колебания. Цветаева окончательно убедилась, что эта власть, в каких бы обличиях ни выступала, категорически ей враждебна. НЭП выглядел еще отвратительнее «военного коммунизма». Цветаева пишет голодающему в Крыму Волошину: «О Москве. Она чудовищна. Жировой нарост, гнойник. На Арбате 54 гастрономических магазина: дома извергают продовольствие… Люди такие же, как магазины: дают только за деньги. Общий закон — беспощадность. Никому ни до кого нет дела. Милый Макс, верь, я не из зависти, будь у меня миллионы, я бы все же не покупала окороков. Все это слишком пахнет кровью. Голодных много, но они где-то по норам и трущобам, видимость блистательна». Уезжать! Это не бегство за чужим благополучием. Это протест. Цветаева предпочла бы умереть, чем подчиниться чужой, несправедливой, жестокой власти.

На Красной площади Марина кланяется всем павшим — словами прощения готова Цветаева расстаться с Москвой. Но примириться с тем, что свершалось в эти страшные годы, примириться с напрасно пролитой кровью не может. Она отрекается от «кровавой» и «лютой» родины, где «слишком пахнет кровью»; от государства, в котором от голода умирают дети, отрекается от «дивного» города, так с нею сросшегося, так ею любимого и воспетого…

Анастасия должна уезжать на лето. Прощанье с сестрой печально. Пустой стол, две кружки, кипяток и принесенные Асей печенья на смальце. Аля грызет твердый корж, как особое лакомство.

— Жаль, что не проводишь нас. Страшно и подумать… возможно, расстаемся навсегда… А помнишь, как сидели на диване с Эллисом… Глупая у тебя была сестра! Задиристая. И все

мать ревновала, что она Асеньку свою больше любит.

— А я всегда тебе завидовала, чуть не с пеленок. Что у тебя все как-то смелей, лучше выходило… Боже, сколько потом всего было… — Ася утерла слезы. — А зачем? Зачем все эти смерти, потери? И что еще будет, Муся…

— Не жду золотых гор. От России отрекаюсь сознательно, ясно осознавая, что ждет меня за границей. Ведь не богатой гостьей еду — нищей беженкой. На чужие хлеба, на чужую милость. Одна радость — Сергей рядом!

— Да. Это счастье. Только он у тебя не добытчик, И нам с сыном Андрюшей не сладко придется.

— Вот как повернулось, Аська, ни дома родительского, ни наследства, никто даже спасибо не сказал за отцовский музей и Румянцевскую библиотеку. Экспроприировали… Э-э-х!! Едрен-лапоть! Часто вспоминаю, как дворник наш ругался. Нас еще со двора выгоняли, а его наказывали. Так ведь вернее не скажешь.

— Хорошо, еще Музей не взорвали. Дворец там для своих начальников не сделали. — Ася вздохнула: — А ты постарела, Муся. И не скажешь, что совсем еще молодая. Сейчас губы помадой модно мазать. И пудра всякая в Торгсине.

— Никогда! Никаких их Торгсинов! Никаких подделок. Все, что есть, все мое. — Марина вскочила из-за стола, открыла дверцу шкафчика, со злобой захлопнула. — Сухаря не завалялось! Уж извини, Ася, помочь мне тебе нечем, сама побираюсь по добрым людям, ведь для меня деньги на визу и отъезд — неслыханное богатство. Пишет: для документов нужно два миллиона! Нет, ты только представь: два миллиона! А Храма Христа Спасителя вам не нужно прихватить? Ну, обнимемся, сестра!

Дверь за Анастасией захлопнулась. Уже чужая дверь, В чужом доме. Да и сестра ушла, похоже, навсегда. Марина прошла по знакомым комнатам, прощально оглядывая «кораблекрушительный быт», разоривший ее уютное гнездышко с коврами, цветными стеклами, старинными люстрами. С мужем, нарядной детской… Что-то было? Что? Как ураган прошелся.

— Мышастый, остаешься с большевиками или со мной драпанешь? — Она заглянула за кресло в углу — полуразвалившееся, с оторванным бархатным подлокотником. Тень… Но стоит приглядеться — Он! Замер, словно не к нему обращаются. Дожьи уши настороже. Или рожки? — Значит, со мной. Спасибо, дружище, чую, хорошей жизни нам не будет, а для плохой ты лучшая подмога.

Уже после отъезда Марины Ася получила конверт с деньгами и записку: «Асе и Андрюше на молоко».

Наступил день отъезда — 11 мая 1922 года. Багаж собран» Главное в нем — сундучок с рукописями и кое-какие вещи, дорогие как память, например плед, подаренный Марине отцом за неделю до смерти. Из «драгоценностей» серебряный подстаканник Сергея, преподнесенный ему Мариной к свадьбе, фарфоровая чернильница, валенки, низка грубого янтаря. Ничего «существенного» уже не осталось: за годы революции все было сношено, продано или сломано. Уезжали налегке, и проводы были самые легкие — один А.А. Чабров-Подгаецкий — музыкант, актер, режиссер сопровождал мать и дочь на вокзал. Цветаева боялась опоздать, волновалась. Ехать надо было через всю Москву: из Борисоглебского до теперешнего Рижского вокзала, крестились с Алей на все церкви… Долго смотрели в сторону Никитской площади. Где-то там в Трехпрудном переулке остался пустырь на месте цветаевского дома. С началом войны в нем сделали госпиталь, в революцию разобрали на доски, тополь спилили. Ходили они с Алей смотреть, да быстро ушли, унося в сердце рану. Исчез бесследно кусок жизни, неповторимый, драгоценный. Позже Марина вернет его, воскресит в рассказах. Может тогда, провожая взглядом, и обещала родным местам: «Не дам сгинуть бесследно!»

Путь был долгий, с остановками и пересадкой в Риге. «Сдерживаемая озабоченность, состояние внутреннего озноба не покидали ее», — вспоминала Ариадна. Впервые Марина заснула только в поезде Рига — Берлин, на сидячем месте, отражаясь в черном стекле горбоносым профилем.

15 мая соответственно расписанию прибыли в Берлин. За окном — другой мир. Солнечно, чистенькие клумбы, вполне благополучные лица. Аккуратные указатели с желтыми стрелками. Язык — немецкий. Слава Богу — вполне свой.

Встречающие расходились, подхватив смеющихся прибывших. Но никто не ринулся с букетом и восклицаниями к Марине и Але — нарядным, натянутым струной… По радио пробубнили на немецком о прибытии поезда. Точно — Берлин, не промахнулись. А значит — другая жизнь.

Часть вторая
После России

«Осколки воровской радости»

Берлинский вокзал казался хмурым господином, не Ожидавшим гостей. Ни одного знакомого лица, никто не бросился с приветственными возгласами. Чужая суета чужого города. Дата их приезда несколько раз менялась и, очевидно, последние сообщения не успели дойти. Марина в несвойственном ей ярком цветастом платье (подарок подруги — самое лучшее отдала, концертное) ощущала себя помятым букетом, выброшенным на чистенький асфальт. Стало вдруг заметно, как выросла Аля из своего детского костюмчика — крупный, плотненький девятилетний глазастик, подмечающий все, чтобы вечером записать в дневник. Носильщики в зеленых робах подхватили багаж одиноко стоящих на перроне пассажирок.

В такси Марина назвала адрес пансиона, где жили Эренбурги — Прагерплатц. Вот здесь и состоялась настоящая встреча — с шумным красавцем Эренбургом, фонтанирующим радостью и заманчивыми планами. С шампанским, пирожными, какими-то знакомствами. Эренбурги — Илья Григорьевич и его жена — художница Любовь Михайловна Козинцева уступили гостям комнату в своем номере.

Эренбург радовался больше всех: он нашел Сергея, он способствовал изданию вышедших в начале года в Берлине Марининых «Стихов к Блоку» и «Разлуки» и продолжал опекать Цветаеву в литературных делах.

— Илюша, дай гостям хоть немного прийти в себя! Им надо с дороги переодеться, — остановила бурлящий поток мужниных планов Любовь Михайловна. И кивнула Марине:

— Приводите себя в порядок и спускайтесь в «Пратердиле» — там все наши.

— Мы умылись, а переодеваться, собственно, совсем не обязательно. И совершенно не во что. Мы идем с вами. — Поторопилась заверить Марина.

«Пратердиле» бурлила энергией, наподобие Монмартских богемных кафе. Это место стало богемным штабом и главным местом встречи Белинской художественной эмиграции. Здесь рекой лилось пиво, не прекращались дискуссии о судьбах мира и путях новой литературы, подписывались договора, завязывались знакомства и романы.

Вскоре москвичи сидели за столиком среди усердно дымящих литераторов. Илья Эренбург звоном ложечки о бокал восстановил тишину:

— Сегодня к нам присоединилась знаменитая Марина Ивановна Цветаева. С очаровательной дочерью. Только что из Москвы. Прошу любить и жаловать.

Улыбаясь, протягивая руки, к Марине подходили знакомиться. Многие уже знали Цветаеву, кто-то подарил Але букетик васильков «под цвет глаз». Кто-то говорил Марине комплименты. Мелькали лица, но одно оставалось в поле зрения, заслонив постороннее передвижение. Крупное, барское лицо с печатью порока и интеллекта. Теплая крепкая рука поднесла Маринину к губам, несмотря на ее легкое сопротивление и желание ограничиться лишь рукопожатием.

— Вы забыли? Я прибыла из пролетарского государства. Там ценятся не нежности холеной кожи, а трудовые мозоли и полное пренебрежение маникюром.

Но мужчина одолел сопротивление и, священнодействуя поцелуем, просиял искренней радостью:

— Эту руку целовать дозволенно только избранным. Рад, что попал, правда, путем легкого насилия, в число счастливцев. Ведь я давно мечтал познакомиться с вами, чуть в Россию не драпанул, а здесь — такой подарок судьбы! Приятным голосом он стал декламировать:

Моим стихам написанным так рано,
Что и не знала я, что я поэт,
Сорвавшимся, как брызги из фонтана,
Как искры из ракет…

— Марина Ивановна, продолжите. Просим! У вас получается куда лучше.

— Извольте. — Марина поднялась, чтобы дочитать стихи до конца. Писатель и издатель Марк Слоним, вскоре ставший ее многолетним другом, записал: «Она говорила негромко, быстро, но отчетливо, опустив большие серо-зеленые глаза и не глядя на собеседника. Порою она вскидывала голову, и при этом разлетались ее легкие золотистые волосы, остриженные в скобку, с челкой на лбу. При каждом движении звенели серебряные запястья ее сильных рук, несколько толстые пальцы в кольцах — тоже серебряных — сжимали длинный деревянный мундштук: она непрерывно курила. Крупная голова на высокой шее, широкие плечи, какая-то подобранность тонкого, стройного тела и вся ее повадка производили впечатление силы и легкости,

стремительности и сдержанности. Рукопожатие ее было крепкое, мужское. Читала она спокойно и выразительно, донося до каждого смысл стиха».

…Ворвавшимся, как маленькие черти,
В святилище, где сон и фимиам,
Моим стихам о юности и смерти
— Нечитанным стихам! —
Разбросанным в пыли по магазинам
(Где их никто не брал и не берет!),
Моим стихам, как драгоценным винам,
Настанет свой черед.

Марине аплодировали, подходили с выражением благодарности.

— Удивительно точно прозрели футурологическую ситуацию. Могу подписаться: в пыли ваши книги не заваляются! — заверил целовавший руку господин.

— Уже завалялись. Привезла целый чемоданчик неизданного.

— Наша вам огромная благодарность! Уровень эмигрантской поэзии взлетит на высоту. Позвольте представиться — Вишняк Абрам Григорьевич — издатель. Издательство «Геликон» — мое детище. А если хотите, и прозвище.

У него было молодое, красивое лицо холеного, уверенного в себе человека.

— Завтра же с утра несите свои сокровища ко мне. Не обращайте внимания на толпу в приемной — писателей нынче развелось сверх всякой меры. Никого не слушайте, прямиком в мой кабинет. — Да. Я все хочу спросить, — он повернулся к Але, задумчиво уплетавшей мороженое из металлической вазочки — три разноцветных шара: белый, розовый, коричневый. Она так углубилась в ощущение тающего во рту блаженства, что вздрогнула от зычного мужского голоса.

— Может, эта юная дева все же не дочь, а сестрица?

— Ариадна, моя дочь. Рожденная рано, но все же — позже стихов, — Марина поправила дочке челку — точно такую же, как и у нее самой. — Тоже писатель. Причем основательный.

Оказавшись в номере, Любовь Михайловна и Марина живо обсуждали случившееся:

— А наш Геликон как на вас кинулся! Говорят, платит мало, но непременно опубликует. И так на вас запал, Марина. Глаза хищные. Ждет завтра с утра! Только, дорогая моя… вы не обидитесь? Всем известно, что в Москве тяжело с вещами. Мариночка! Вам необходимо приодеться. Московская

торгсиновская роскошь тут выглядит несколько вызывающе.

— Обижаете! Буржуйский Торгсин не для меня. Скорее уж — свалка. Это платье мне подарила подруга — она в нем выступала на сцене еще до событий. Я чувствую, конечно, что оно несколько… слишком… И на сцену бы в нем не пошла. Если только в пьесе о «камелиях».

— Даме непременно нужна шляпка, — заметила Аля. — Я наблюдала — все носят маленькие, с круглыми полями. Вот как у Людмилы Михайловны.

— И стрижка «гарсон» — вам очень пойдет, такие чудесные пышные волосы!

— Вот это уж слишком!

В КДВ — крупнейшем столичном универмаге города — Марина, на мгновение оторопев в этой перегруженной чудесными вещами пещере Али-Бабы, сразу высмотрела плечистый манекен в туристическом облачении и бросилась в мужской отдел:

— Любочка, Сережа пять лет без женской заботы. Он совершенно не умеет что-то приобретать для себя. Уверена, весь оборвался. Как минимум ему необходимо теплое белье, носки, шарф и «для души» — портсигар. Думаю, он теперь курит.

После того как подобрали подарки Сергею, решили приодеть Алю. Марина хмуро покосилась на ценник, но Аля в новом полосатом платье с белым матросским воротником была такая хорошенькая, что даже продавщицы умиленно заглядывались на девочку. Впервые Аля осознавала себя нарядной, и взгляды продавщиц, Марины и госпожи Эренбург выражали только одно — прелесть!

— Спасибо огромное, Любочка, вы потратили на нас уйму времени. У меня голова кругом: где здесь выход? — Марина, нагруженная свертками, растерянно осмотрелась.

— Ну, нет, дорогая моя! Я вас так не отпущу. Представляют обществу лучшую поэтессу России, а она на себя рукой махнула. Нет и нет, Марина! Позвольте мне как художнице подобрать вам нечто в стиле…

— Мой стиль — тощий кошелек. Он диктует практичность и полную оторванность от навязчивой моды.

Под жесточайшим нажимом Любови Михайловны Марина выбрала себе платье — совсем простенькое «бауеркляйд» — крестьянский стиль, из темного ситца в мелкий цветочек с обтянутым лифом и присборенной юбкой.

— Но ведь надо еще что-то на выход? — оторопела Любочка.

— Э, нет. У меня своя теория — одежда постоянна, удобна, а главное — никогда не меняется. — Этому фасону платьев Цветаева останется верна. Обувь она выбрала далеко не

модельную — грубые надежные полуботинки на толстой подошве с прикрывающими шнуровку бахромчатыми кожаными языками.

— Я же ходок! Завтра начну топать по городу. Из каблуков, извините, выросла.

Любочка тихо вздохнула и все же попыталась настоять:

— Хорошо, каблуки оставим до лучших времен. Но стричься непременно, тут совсем недорогой салон — умоляю!

Марина отправилась в парикмахерскую как на эшафот и вышла к ожидавшим ее Але и Любови Михайловне преображенная: с коротко постриженным затылком и длинными прядями над ушами. Отчего шея казалась еще длиннее, а плечи шире.

— Марина, вы похожи на модную картинку и еще на худого сенбернара. Это очень симпатичная порода, — успокоила Аля. — С длинным носом.

— А это от меня маленький презент, — Любовь Михайловна протянула Марине красиво упакованную, благоухающую коробку: — Надо скорее спасать вашу кожу от московских бедствий.

В номере Марина распаковала подарок, нашла пудреницу, стеклянную баночку с кремом и помаду для губ. С предвзятым отвращением мазнула искривившийся рот. Потом припудрила нос — отвратительно. Нос выступил с наглой самоуверенностью, создавая образ неудачно накрасившейся красотки из еврейской глубинки. В ванной Марина умылась с мылом, отметив приятный аромат мыла и мягкость чистого полотенца. Такие простые вещи. Никогда она не обращала на них внимания. «До» катастрофы они были привычны, само собой разумелись, «после» — неуместны и даже пошлы. Общий «стиль беды» противостоял ядовитым миазмам развратного НЭПа.

Несмотря на утренний час, коридор издательства «Геликон» был полон. У кабинета главного редактора ждали странные личности с надеждой продать и опубликовать свои писания.

Кабинет Вишняка оказался большим и комфортабельным. Аля записала: «Контора его — для него — весь мир. Стол, который стоит у окна с толстым стеклом и на котором разложены все издания Геликона — чужих изданий на своем столе он не терпит». Поднявшись из-за стола навстречу вошедшим, Абрам Григорьевич взял Маринину руку в две большие ладони и с жадным восторгом долго смотрел в глаза.

Аля записала: «Я увидела, что он к Марине тянется как к солнцу всем своим помятым стебельком». Рванулась навстречу новому «родству душ» и Марина. Внутри зашипело, как в бокале с шампанским, и вся она стала легкой, остроумной, искристой. Поняла: началось!

В Берлине Марина с Алей провели два с половиной месяца. Но это были бурные месяцы: круговорота дел, встреч, дружб, увлечений хватило бы и на год. На четвертый день по приезде Цветаева читала стихи — свои и Маяковского — в русском Доме искусств, пристроила в издательство свои рукописи. Правда, «Геликон» платил мало, Вишняк не зря прослыл жадиной. Но разве Марина замечала такие мелочи в своем избраннике, создавая из него кумира? Роман был в разгаре, когда пришло сообщение: Сергей приезжает в Берлин в начале июня.

Встреча после пятилетней разлуки. Вечность пролетела… Марине скоро тридцать, а Сергею 29, да и Аля отнюдь не малышка. И все же рок невстреч, накликанный Мариной, не дремал: в день приезда Сергея они почему-то опоздали на вокзал. Когда прибежали на перрон — все пассажиры уже вышли, встречающие разошлись. Марина металась вдоль поезда — тщетно! «Невстреча!» Они бросились на привокзальную площадь и почти столкнулись с ним. «Сережа уже добежал до нас, с искаженным от счастья лицом, и обнял Марину, медленно раскрывшую ему навстречу руки, словно оцепеневшие. Долго, долго, долго стояли они, намертво обнявшись, и только потом стали медленно вытирать друг другу ладонями щеки, мокрые от слез…» — вспоминает Аля. Сергей с трудом подхватил на руки дочку:

Да ты у нас Бегемотик! Вымахала — будь здоров. И красавица.

В день встречи Марина пишет:

Здравствуй! Не стрела, не камень:
Я! — Живейшая из жен:
Жизнь. Обеими руками
В твой невыспавшийся сон.

— Мой! — и о каких наградах
Рай — когда в руках, у рта:
Жизнь: распахнутая радость
Поздороваться с утра!

«Поздороваться с утра» — «распахнутая радость» — надо, чтобы об этом написал поэт, напоминая всем нам, привычно проскакивающим мимо такого простого И драгоценнейшего подарка. Сергей тонул в счастье.

Эренбурги устроили Сергею шумную, радостную встречу с шампанским и фонтанами блистательных планов. Вскоре они уехали к морю, а Цветаева и Эфрон перебрались в небольшую

гостиницу, где и прожили до отъезда в Чехию. Здесь у них были две комнаты с балконом — в памяти Али он запечатлелся почти идиллической картинкой: «На «новоселье» Сережа подарил мне горшочек с розовыми бегониями, которые я по утрам щедро поливала, стараясь не орошать прохожих: с немцами шутки плохи!»

Утро в чистеньком Берлине пахнет апельсинами, шоколадками, сигарами, кофе. Балкон распахнут, пушистые листья бегоний в блестящих каплях, внизу господин ругает свою собаку.

Марина и Сергей сидят на диване перед отдернутым тюлем балкона — чистейшим и крахмальным. Дегустируют мгновение на вкус, держатся за руки. Сергею кажется — сердца бьются в унисон. Он полон надежд на будущее, радость кипит, это утро, словно начало длинного оптимистического спектакля под названием «Вечная любовь». Мелодрама, конечно, ну и ладно — надоели «социальные потрясения».

— Это невероятно! Невероятно, что мы вместе… Просто — сидим рядом… — Сергей всматривался в Маринины глаза. Они медленно наполняются слезами. — В чем дело, милая?

— Хороший, родной мой, прости меня за Ирину. Не сумела уберечь. Еле Алю выходила. Прости! Я непременно рожу тебе сына! Клянусь!

— Что ты, что ты, Мариночка! Не вини себя. Так Бог распорядился. Но он сохранил вас!

— И тебя, папочка. Мы каждую ночь с Мариной просили Николая Угодника. Без его вмешательства было бы хуже, я уверена. — Аля, склоняясь над столом, рисовала парапет балкона с цветочным горшком.

— Ты великодушен, как всегда! — Марина приникла к его груди. Сергей осушил губами слезы на ее щеках, прижал стриженый затылок к худому плечу.

— Главное: живы, встретились!

— Теперь все будет хорошо. — Маринины слова звучали с преувеличенной уверенностью, выдававшей сомнение. Зато голос Сергея звенел искренним восторгом;

— Мы выжили! И нам помогают! Знаешь, это беспрецедентная «русская акция» Чехии не только славословие. Правительство выделило деньги для поддержки эмиграции! Представляешь, в лагерях русских эмигрантов было объявлено, что желающие начать, продолжить или закончить образование могут приехать в Чехию. Я, конечно, *был в* числе первых, прибывших из Константинополя! Учусь на историко-филологическом в Карловом университете — сплошные

экзамены, семинары. Представляешь, русским ученым и писателям, поселившимся в Чехии, выдается ежемесячное пособие. (Цветаева называла его «иждивением», на годы ставшим для семьи основой бюджета — 1000 крон.) Мы сможем жить припеваючи!

— А где?

— Девочки мои, не все сразу. — Сергей поднялся, потрепал голову склоненной над рисунком Али, вышел на балкон, вдохнул полной грудью. — Все прекрасно устраиваются. У меня место в общежитии, называется Свободарня — чудесные крошечные каютки, разделенные перегородками, недостающими ни до потолка, ни до пола. Но зато есть тумбочка! А вы будете жить на даче рядом с Прагой. Там дешевле, чем в городе. Все русские устраиваются так. Прекрасные люди! Вы подружитесь.

Сергей рассказывал о жалкой конуре в общежитии, которую считал вполне комфортабельным жильем. О красоте Праги… О новых прекрасных знакомых… Он постоянно сталкивался с взглядом Марины, в ее глазах нельзя было не заметить тонущие под слоем льда попытки изобразить заинтересованность. Как хорошо он знал этот Маринин взгляд — напряженный, отсутствующий. Такой бывает, когда гости засиделись и никак не понимают, что давно надоели хозяевам. И верно — скучно слушать про какие-то правительственные программы, если и мысли, и чувства заняты другим!

Сергей стал рассказывать о музеях и театрах Праги, но взгляд жены не теплел. Когда, воскликнув:

— Как же я соскучился! — он попытался обнять Марину, она отстранилась:

— Пора спускаться к обеду. Нас ждут мои новые знакомые, ты им понравишься.

В «Прагердиле» Сергея встретили дружески, жали руки, задавали множество вопросов.

Марина отошла к другому столику, и по тому, как она говорила с сидевшим там молодым солидным мужчиной, — надменно вскинув голову, опуская на засверкавшие глаза темные веки, Сергей понял, что это не простой разговор, а нынешнее, весьма горячее увлечение. Вспыхнула боль и жалость к себе: жил Мариной 5 лет, прошел с ее именем немыслимые испытания, «спешил, летел, дрожал, вот, думал, счастье близко…» — да, именно, как Чацкий, — наивный, обманутый, доверчивый влюбленный чудак… А она? Ждала, писала потрясающие стихи и всего за несколько дней, пока он задержался в Праге, «загорелась» другим! Почему? Ведь он переполнен любовью, нежностью, впечатлениями, которыми немедля нужно поделиться. Сердце

забилось, кончики пальцев заледенели. Бушевавшая только что радость сжалась в комочек, как измятый трамвайный билет. И улетела. Сергей сумел отступить и принять установленную Мариной дистанцию.

— Сережа, идите к нам, это мой издатель. У «Геликона» интересные проекты. Садитесь сюда.

Они сидели рядом: несколько смущенный Вишняк, роман которого с Мариной находился в самом разгаре, Сергей Яковлевич — похудевший, помолодевший — совсем мальчишка, и темнолицая Марина Ивановна — строгая, взрослая, с сединой в волосах. Аля перенесла за столик Геликона свой десерт — малиновое желе и сосредоточенно ковыряла его дрожащее круглое тело ложечкой. Она уже понимала, что Марина почему-то любит этого сонного, равнодушного господина больше, чем папу! И Сережа все понял, увял… Только бы не заплакать! Не кинуться к Сереже.

— Вот и отлично, что мои девочки будут под опекой друзей, — Сергей поднялся, завершив обед. — К сожалению, мне надо ехать в Прагу.

— Папочка, так скоро? Ты обещал сходить со мной в парк аттракционов… А мне так хотелось! — Аля теперь могла зареветь и повиснуть на шее отца. — Я тебя очень люблю.

— А я тебя — очень-очень-очень! Не горюй, Бегемотик. Мы туда еще сто раз пойдем…

Девятилетняя Аля подозревала о чувствах матери. Когда Марина водила ее в гости к тете Соне поиграть с обезьянкой, тетю Соню не любила. И зря эта Соня всегда выставляла блюдо с пирожными. Аля заявляла с некоторым вызовом: «Я не ем сладкого!» Ее сердечко, еще мало понимавшее в сложностях взаимоотношения Марины с «друзьями», было чутким барометром всех изменений ее настроения. И теперь она видела, что Марина увлечена чувствами к Вишняку и уже «дышит воздухом трагедии», примеряя самые жестокие финалы разрыва порочной страсти. Ведь горький дым «порочности» она изначально включала в пожарище своих страстей.

Ах, с откровенного отвеса —
Вниз — чтобы в прах и в смоль!
Земной любови недовесок
Слезой солить — доколь?

«Балкон» и несколько других стихотворений, написанных в Берлине, обращены к Абраму Григорьевичу Вишняку, владельцу издательства «Геликон». Кратковременный и бурный роман.

Встречи, письма, стихи. Марина выдавала полный накал чувств. Но и на этот раз поиски любви-Души оказались тщетными, и Аля почувствовала это, кажется, раньше матери. Она записала в детском дневнике: «Геликон всегда разрываем на две части — бытом и душой. Быт — это та гирька, которая держит его на земле и без которой, ему кажется, он бы сразу оторвался ввысь, как Андрей Белый. На самом деле он может и не разрываться — души у него мало, так как ему нужен покой, отдых, сон, уют, а этого как раз душа и не дает. Когда Марина заходит в его контору, она — как та Душа, которая тревожит и отнимает покой и поднимает человека до себя…»

Встреча с Душой оказалась стремительной — быстротечной: едва дотянула до полутора месяцев. Затем промелькнула пылкая, полная самоотречения дружба с Андреем Белым. Он только что разошелся с женой и разбитый, больной, ждал в Берлине возвращения на родину. Отношение Марины к Белому, само имя которого внушало почтительное уважение, было лишено какого бы то ни было самолюбия, ревности, претензий. Она подставила дружеское плечо странному человеку средних лет, чудаку, страдающему депрессией, вызывающему недоумение «нормальных» людей, а не знаменитому писателю. Она любила Дух Поэта, представший в его земной оболочке, — какие же претензии могут быть к Духу?

27 июня в жизни Цветаевой произошло событие, осветившее ее жизнь на годы. Из Москвы Эренбург переслал ей письмо Бориса Пастернака. Удар молнии, озарение и первый вопрос, как они — почти близнецы по духу — могли не узнать друг друга, мельком встречаясь в Москве? Они обменивались незначительными репликами на литературных вечерах, слышали стихи друг друга — и остались равнодушны. Пастернак даже заходил к Цветаевой в Борисоглебский — приносил письма от Эренбурга… На похоронах Скрябиной она шла с ним рядом… Она не отнесла его к категории интересных объектов, и он не обратил внимания на Цветаеву, «оплошал и разминулся» с ее поэзией, как сказано в его первом письме. Теперь он прочел второй сборник «Версты», был потрясен и признавался, что некоторые стихи вызывали у него рыдания. «Меня сразу покорило лирическое могущество цветаевской формы, кровно пережитой, не слабогрудой, круто сжатой и сгущенной, не запихивающейся на отдельных строчках, охватывающей без обрыва ритма целые последовательности строф развитием своих периодов».

В своем письме Пастернак ставил Цветаеву в ряд с «неопороченными дарованиями» Маяковского и Ахматовой. «Дорогой, золотой, несравненный мой поэт», — обращался он к

ней. И произошло озарение: Марине стало совершенно ясно, что письмо Пастернака, полученное летом 1922 года в Берлине, изменит ее жизнь. Теперь у нее был непридуманный кумир, собрат по духу и поэзии.

Она ответила через два дня, дав его письму «остыть в себе», и одновременно послала ему «Стихи к Блоку» и «Разлуку» — ведь Пастернак пока знал только одну ее книгу. А когда прочла недавно вышедший сборник Бориса Леонидовича «Сестра моя — жизнь», написала восторженную рецензию в берлинский журнал «Новая русская книга»: «Световой ливень».

Под впечатлением письма и книги рождается первое обращенное к Пастернаку стихотворение:

Неподражаемо лжет жизнь:
Сверх ожидания, сверх лжи…
Но по дрожанию всех жил
Можешь узнать: жизнь!

Как ей нужна была именно такая — взаимная — встреча с родной душой. С душой — равной поэзии, и с поэзией — равной душе. Самым важным было то, что он не испугался высоты и напряженности отношений, на которую немедленно и неминуемо поднялась Цветаева. Они были вровень в этой дружбе.

В Берлине Цветаева продала издательству «Эпоха» «Царь-Девицу», «Геликону» — сборник стихов «Ремесло», с ним же начала переговоры об издании книги своих московских записей. Она завязала отношения и с другими альманахами и сборниками. Но в Берлине все было неустойчиво, бурная русская книгоиздательская деятельность здесь могла прекратиться в любой момент. Разоренной войной Германии все больше грозила инфляция.

Не осталось и человеческих отношений, которыми она могла бы дорожить здесь. Белый уехал. Увлечение Вишняком исчерпало себя, не принеся радости. Остыла дружба с Эренбургом — он не одобрил «русских» вещей Марины, в частности так любимую Цветаевой поэму «Царь-Девица», Марина обиделась. На Цветаеву смотрели косо — в центре сплетен ей приходилось оказываться не впервые — ведь она так открыто выставляла напоказ свои чувства, рассказывала о них случайным приятельницам в письмах. Нет, она не боялась последней откровенности — ведь обнажала дебри души не пошлая бюргерша, а Поэт, в котором все прекрасно. Даже ошибки ее были не обывательские, мелочные, а роковые страсти «высокого плана» — рождавшиеся в насыщенном грозовыми разрядами «воздухе трагедии». Не в сплетнях дело,

просто Берлин, исчерпавший свои возможности, стал Марине не интересен.

Влекла Прага. Недавно образовавшаяся Чехословацкая демократическая республика не только предоставила эмигрантам право убежища, но обеспечивала им материальную поддержку. Пособие, которым чехословацкое правительство обеспечивало эмигрировавших русских писателей и ученых, помогало им выжить. Это было нечто осязаемое. Правда, в Берлин собирался приехать Пастернак, и Марина в письмах уже назначила свидание, но потом мудро предпочла дружбу на расстоянии реальной встрече. «Я вырвалась из Берлина, как из тяжелого сна», — писала она.

«Время, ты меня обманешь»

Первого августа Цветаева с Алей приехали в Прагу и через несколько дней поселились в дачном пригороде с поэтическим названием Мокропсы — город был им не по карману. За три с небольшим чешских года семья переменила несколько мест: Дольние и Горние Мокропсы, Иловищи, Вшеноры. Все это были ближайшие к Праге и друг к другу дачные поселки, в начале двадцатых годов «оккупированные» русскими эмигрантами.

Если Париж был столицей эмигрантской политической жизни, а Берлин тех лет — русской зарубежной литературы, то в Праге сосредоточился центр русской эмигрантской науки и студенчества. Поселив семью за городом, Эфрон сохранил за собой комнатку в общежитии: он много занимался, и ездить в город каждый день было тяжело. Зато дома ему удавалось проводить два-три дня в неделю. Они опять были все вместе.

Берлинский пожар отпылал, сменился ощущением, что Берлин опустошил ее, убил в ней женщину, может быть, даже человека, оставив в ее земной оболочке лишь певческий дар. Цветаева рассталась со своим романом с горькой иронией.

Жизнь в Мокропсах складывалась мирно, почти идиллически: Марина с Алей встречали на дачной станции электричку, с которой приезжал Сергей, и лугами, перелесками шли к своему дому — крайнему в поселке.

Вытащив Марину из Берлина, Эфрон вздохнул с облегчением. Который раз он начинал семейную жизнь заново с упорной верой в светлое будущее.

— А я гостинцы привез! — объявил он, едва спрыгнув с подножки. — Стипендию получил. Это вам на жизнь, — протянул жене деньги. Тяжко вздохнув, Марина бросила кошелек в большую хозяйственную сумку, и которой носила все, что

попадется — овощи, вещи, хворостины.

— Здесь не так уж все дешево, сельчанки смекнули, что можно приезжих обдирать. Да не беда, проживём. Главное — вместе! — Марина подхватила Сергея под локоть, прижалась боком. — Господи, как я рада, что вы рядом. Столько лет жить с разорванной душой…

— Душа заштопана? Поет? Ну, хотя бы — улыбается?.. Мы снова вместе.»— Сергей подхватил другой рукой Алю. — Бегемотик мой тут! Такого здоровенького выходила.

— И умного. — Аля поправила задравшееся платье. — Я очень развитый подросток. Марина даже мои рассказы печать хочет.

— Чудесные рассказы, эта милая крошка точно схватывает характеры, паршивка! — Нарочито «сердилась» Марина. — Знаешь, что написала про Вишняка? «Души у него мало, так как ему нужен покой, отдых, сон и уют, а этого как раз душа не дает». А? Ведь все точно.

— Но у вас было, кажется, другое мнение.

— Всегда ловлюсь на Душу. Вот и получила «это черное бархатное ничтожество». Ты же знаешь, я — бесплотная Психея, меня ловят на дружбу. Тот, кто ищет по мне Еву — женщину из плоти и крови, сильно обживется.

Сергей понял, что величественный Абрам Григорьевич Вишняк бесславно закончил свое триумфальное воцарение в Маринином сердце, или Душе — если ей уж так угодно называть вместилище лирических чувств.

Это не единственный случай в ее жизни: стихи были написаны, и человек, к которому они обращены, становился если не неприятен, то безразличен.

— Мне не хотелось оставлять в руках Вишняка переписку, стихи, книги. Настоятельно просила Лидию Чирикову пойти к нему и забрать все. Никаких следов от себя я этому ничтожеству не оставлю!

«А я начинаю привыкать! — подумал Сергей. — Вначале больно, теперь даже смешно. Ведь понимаю — Марина, как огромная печь, требует свежего топлива. А я, видимо, уже не гожусь. Брат, сын, идея… в общем — близкий родственник и предмет воспевания — ве-те-ран!»

Письма и рукописи удалось вернуть, в «творческом генераторе» Цветаевой наступило почти годовое затишье. «Недовесок любви», сэкономленный Вишняком, «убившем в ней женщину», почти не давал о себе знать. Чешская природа, цветущий пригород, приятные знакомства с такими же эмигрантами — не богачами, не снобами, вполне сносный

прожиточный минимум — все это помогло ей сбросить берлинское наваждение.

Через год после приезда в Чехию Цветаева пишет: «Крохотная горная деревенька, живем в последнем доме ее, в простой избе. Действующие лица жизни: колодец-часовенкой, куда чаще всего по ночам или ранним утром бегаю за водой (внизу холма) — цепной пес — скрипящая калитка. За нами сразу лес. Справа — высокий гребень скалы. Деревня вся в ручьях. Две лавки, вроде наших уездных. Костел с цветником-кладбищем. Школа. Две «реставрации» (так по-чешски ресторан). По воскресеньям музыка. Деревня не деревенская, а мещанская: старухи в платках, молодые в шляпах. В 40 лет — ведьмы. И вот — в каждом домике непременно светящееся окно в ночи: русский студент! Живут приблизительно впроголодь, здесь невероятные цены, а русских ничто и никогда не научит беречь деньги. В день получки — пикники, пирушки, неделю спустя — задумчивость. Студенты, в большинстве бывшие офицеры — «молодые ветераны», как я их зову. Учатся, как некогда — в России, везде первые, даже в спорте! За редкими исключениями живут Россией, мечтой о служении ей. У нас здесь чудесный хор, выписывают из Москвы Архангельского. Жизнь не общая (все очень заняты), но дружная, в беде помогают, никаких скандалов и сплетен, большое чувство чистоты. Это вроде поселения, так я это чувствую, — поселения, утысячеряющего вес каждого отдельного человека. Какой-то уговор *жить*. (Дожить!) — Круговая порука».

Теплая, почти восторженная интонация Марины относительно «поселенцев» — редкое для нее состояние. Ведь не очень-то она любит «коллективизм». Ведь жизнь на природе непременно сопровождается тяготами ненавистного быта. Все приходилось делать собственными — Мариниными и Алиными — руками: таскать воду из колодца, хворост из леса, топить плиту, готовить, стирать, чинить одежду, мыть полы. Но после московских революционных лет приспособиться к деревенской жизни было гораздо легче; теперь удивить Цветаеву бытовым неустройством трудно. Да и Аля подросла, половина хозяйственных забот легла на ее плечи. У тридцатилетней выносливой Марины забот полно, но и сил достаточно, тем более что и все окружающие жили приблизительно так же. Она даже придумала себе ради заработка милое женское занятие — вязание. В Праге шерсть не дорогая, а шапочки и шарфы Мариниого производства охотно покупали знакомые. Аля с большим вкусом вышивала на шапочке ветку или цветок, а потом и сама взялась за спицы.

Для Али наступил короткий период настоящего детства: с

появлением Сережи ее дружба с Мариной перестала быть такой напряженно-интенсивной, какой была в Москве, она стала больше ребенком своих родителей, чем подругой матери, — и в этом была своя радость. Тревога московского бедствия отступила — можно было дурачиться и не бояться упреков в «легкомыслии». Можно было не думать о пулях, летящих где-то далеко в ее любимого Сережу, и дрожать от каждого стука в двери. Аля была с родителями, принимала участие в их жизни. Она была равноправным членом семьи. Сама Ариадна Эфрон замечательно рассказала об этом времени в «Страницах былого».

Ей запомнилось много простых и милых радостей. Вечера, когда Сережа читал им что-нибудь при керосиновой лампе, а Марина «рукодельничала»: чинила одежду, штопала чулки-носки или вязала. Встречи и проводы Сережи на маленькой пригородной станции, когда он уезжал или возвращался из Праги. Невинные розыгрыши, шутливые записочки, которыми они обменивались. Ожидание Рождества, когда все вместе мастерили елочные украшения — а потом и само Рождество, подарки, походы в гости. Менее радостными, но неизбежными были уроки с матерью, у которой хватало упорства и педантизма ежедневно заниматься с Алей русским и французским языками. Отец учил дочь арифметике.

Сережа не был притязателен в быту и не требователен к пище. Его восхищала Маринина кухня, о которой он всем рассказывал с наивным восторгом: «Марина готовит быстро. Бросает все, что есть, в одну кастрюлю, и получается замечательно!» Его не раздражал беспорядок и далеко не идеальная чистота в доме. Он радовался тому, что Марина переменилась, ей больше не Требуются «горючие материалы» для поэтического костра. Успокоилась. А «домашний уют»? Убогий домишко кажется дворцом в сравнении с фронтовой землянкой.

— Память моя — все помнит. В сердце же, когда Прошло! — НИЧЕГО… Я просто могу сказать: «это была другая» — и может быть: «Я с ней не знакомя…» — Марина рассуждала вслух, вывязывая длинный шарф Сергею. Она гордилась мужем. Ее Сережа был одним из «молодых ветеранов», прошедший путь Белой гвардии. Сергей усердно учился в университете, сдавал экзамены, занимался общественной работой. Старался так, будто диплом историка-филолога сможет что-то изменить в их жизни. Никто в этой семье не думал о профессии добытчика, утилитарной ценности знаний — так уж сложилось. Когда Сергей Вырывался из Праги, Марина заботилась о нем: старалась получше накормить, заставить отдохнуть. Она никогда не забывала о его слабом здоровье и писательских талантах. С ее

подачи в Праге Эфрон начал работать над книгой «Записки добровольца», основанной на его дневниках времени революции и Гражданской войны. Они все писали — и все с удовольствием. В этот год Марине легко и плодотворно работалось — без истерик влюбленности, без разрыва сердца И погибели души.

За год она написала девяносто стихотворений, кончила поэму-сказку «Молодец», которую очень любила. Год чешской жизни кончался тихо и мирно, если не считать, что хозяин дома, где жили Эфроны, подал на них в суд за плохое содержание комнаты. Марина волновалась, негодовала, проклинала всяческих «хозяев жизни». Дело в суде Эфроны выиграли — вся деревня была на их стороне!

Но больше Марина ни хозяев, ни деревни не хотела. Ни колодцев, ни мышей, ни сбора хвороста в метель. В Праге они нашли недорогую комнату под самой крышей старого дома.

Алю устроили в гимназию в Моравскую Тшебову, руководимую друзьями Сергея милейшими Богенгардтами. Марине и Сергею предстояли месяцы жизни вдвоем в прекрасном старинном городе. Казалось бы — прекрасное время для творчества и романтических отношений. Но не тут-то было! Затишье кончилось. Марина вибрирует от внутренней дрожи — она предчувствует беду. Нервы — натянутые струны, интуиция подсказывает: еще немного, и все разлетится вдребезги! Цветаева обдумывала план трагедии, даже трилогии, делала первые наброски. Собирала материалы, засиживаясь в библиотеке. Впервые за долгие годы она могла распоряжаться своим временем. Но ощущение приближающейся катастрофы не отпускает ее. Что-то должно свершиться — нервное возбуждение зрело уже давно под тихим течением деревенской жизни. Зря надеялся Сергей — режим работы «внутреннего генератора» Марины не изменился. Требовалась подпитка из ряда вон выходящими эмоциями, Молодой критик из Берлина Александр Бахрах, которого она никогда не видела, написал рецензию на книгу Цветаевой «Ремесло». Рецензия привела Марину в эйфорическое состояние. Она тут же пишет Александру письмо в крайне интимной интонации: «…Я не знаю, кто Вы, ничего не знаю о Вашей жизни, я Вами совершенно свободна. Я говорю с духом… Я хочу от вас — чуда. Чуда доверия, чуда понимания, чуда отрешения… Безмерность моих слов — только слабая тень безмерности моих чувств…»

Цветаева начала волшебную игру — она творит Бахраха — тонкого юного умницу, духовного сына. Как бы отстраняясь, она изо всех сил затягивает его в сети своей неординарной пылкой влюбленности. Переписка, стихи — Марина так увлечена, что

когда письма от Александра прекратились, она выходит из себя: «Друг, я не маленькая девочка (хотя в чем-то никогда не вырасту), обжигалась, горела страдала — все было, но ТАК разбиваться, как я разбилась о Вас — всем размахом доверия — о стену! — никогда. Я оборвалась с вас, как с горы…»

«В молчании — что? Занятость? Небрежность? Расчет? «Привычка»? Преувеличенно-исполненная просьба? Теряюсь…» — записывала она в письме-дневнике. Через два дня: «Болезнь? Любовь? Обида? Сознание вины? Разочарование? Страх? Оставляя болезнь: любовь, — но чем Ваша любовь к кому-нибудь может помешать Вашей ко мне *дружбе?»*

Весь месяц затянувшегося молчания Бахраха Цветаева вела это письмо-дневник, назвав его «Бюллетень болезни» — болезни ее сердца, души, самолюбия. Она анализировала в нем не только свои ощущения, но и Свои отношения с людьми вообще и к Бахраху в частности: «Душа и Молодость. Некая встреча двух абсолютов. (Разве я Вас считала человеком?!) Я думала — Вы молодость, стихия, могущая вместить меня — мою!..» А за несколько дней перед этим: «Просьба: не относитесь ко мне, как к человеку. Ну — как к дереву, которое Шумит Вам навстречу».

Начинаясь заочными эпистолярными излияниями, она все больше приближается к реальному человеку, и Я стихи закрадываются мысли об Эросе. Теперь Марина жаждет встречи со своим героем. Есть ощущение, что и стихи, и письма — лишь прелюдия к чему-то иному, что должно начаться вот-вот, чтобы открыть дорогу жаждущему выхода накалу страсти… И оно началось, но — с другим. «Слияние душ» с Бахрахом. оборвалось на самой высокой ноте. В данную мину! жизни для Цветаевой он оказался слишком бесплотным. Пришел час, когда Марина должна была «до воплотиться» — соединить сущность бесплотной Психеи с телесным жаром Евы. То есть, как она писала, «стать нормальной женщиной». А Бахраха поблизости не оказалось.

«Было тело, хотело жить»

Аля дуется: она не хочет стричь отросшие волосы, медь ей предстоит пойти в гимназию, а это значит — косы и бант. Марина каприза дочери не одобряет.

— Это не гигиенично, не аккуратно. И вообще там возможен педикулез! — Марина угрожающе крутила за кольцо поблескивающие ножницы. Ее раздражало Алино упорство, проявившееся в последний год. Там, где раньше достаточно было одного взгляда или фразы, приходилось препираться, преодолевая строптивость.

— Конечно, ты всегда права. «Я знаю правду — все прежние правды прочь…» — процитировала Аля с явной иронией.

— Да, знаю. И не единожды это доказала.

— И не единожды жалела, когда на правде своей настаивала и в результате ошибалась! — Аля на всякий случай заплела косу и держалась поближе к двери. — Мне нравятся косички. И это моя правда.

— Так, значит, происходит раздел правд: «твоя» — «моя»… — Марина направилась к дочери. — Только запомни: всегда есть главная!

— И непременно — твоя! Причем сегодня одна, завтра другая! — подхватив мусорное ведро, Аля выскочила за дверь.

— Ты моя дочь, и правда может быть только в этом! — Марина бушевала вслед. Сергей, вернувшийся с рынка, удивлен размолвкой:

— Не успел отойти — тут дым коромыслом. Дывысь, Марина, я репку купил! — он держал за хвостик какую-то мелочь. Марина не глядя кинула овощ отмываться в воду. Вид у нее был обиженный.

— Аля берет на себя смелость утверждать, что я категорична и непоследовательна.

— Милая, последовательность — удел туполобых упрямцев. Ты — само творчество. Если сегодня ты в чем-то убеждена, то вчерашние утверждения по этому поводу уже не имеют никакого смысла. И это не каприз — это прозрение гения. Мир-то изменился!

— И даже если я горожу чушь, все остальные должны согласно кивать головами?

— Должны непременно. — Поколебавшись, Сергей решил сказать правду, хотя бы и в шутливой форме: — Иначе они превращаются в твоих врагов… Навечно.

Марина с вызовом вздернула подбородок:

— Нет, дорогой. Диагноз хуже. Я вычеркиваю несогласных. Причем до тех пор, пока они снова не понадобятся. Отвратительная черта. Всю жизнь мне мешала.

— Прошу тебя, давай оставим Алю с косами — такие чудесные волосы…

— Моя мама этого разгула женственности не потерпела бы. — Марина бросила ножницы в ящик стола. — Будь по-вашему.

В августе родители отвезли Алю в русскую гимназию, находившуюся в Моравской Тшебове. Девочке исполнилось одиннадцать лет, она никогда не ходила в школу и, с очевидностью, нуждалась в детском коллективе. Гимназия была бесплатной, в рамках «русской акции», на каждого ученика

выделялась стипендия. Давние друзья Эфрона по Константинополю — семья Богенгардтов — работали там воспитателями, что способствовало решению родителей отпустить Алю. Гимназия-пансион находилась в пригороде Праги, до которого надо было добираться электричкой.

Марина в боевом наборе браслетов и Аля с аккуратно сплетенными косичками ждали на перроне Сергея, обещавшего приехать на вокзал прямо из университета. У него всегда было дел по горло. В Праге Сергей организовал Демократический союз русских студентов и активно работал в редакции издаваемого Союзом журнала «Своими путями». Участвовал в развитии евразийского движения, получившего широкое распространение среди российской эмиграции как альтернатива — коммунизму. Приехал он не один. Рядом шагал подтянутый, военной выправки мужчина.

— Знакомься, Алечка! Это мой друг — Константин Болеславович. Он тоже живет в Слободарне и учится в университете. Вызвался тоже проводить тебя к началу занятий. После дискуссий — мы прибыли прямо сюда.

— Ариадна, — Аля протянула негнущуюся ладошку, как ее учил Волошин. — Спасибо, что едете с нами, но я ни капельки не боюсь нового коллектива.

— Ого, у Ариадны хорошая рука, — похвалил друг Сергея. — Не кисейная барышня.

— Знакомьтесь, Марина, Константин Болеславович Родзиевич[1] — учимся вместе в университете, сдружились в Константинополе. Смелый офицер и честнейший человек.

— У вас, Сергей, других и не бывает, — Марина усмехнулась несколько двусмысленно, подчеркнув всегдашнюю, часто безосновательную восторженность мужа.

— В мирное время, Марина Ивановна, мне вряд ли удастся убедить вас в офицерской чести и смелости. Оставим комплимент Сергея как дань дружбе.

— И примем на веру. В конце-то концов, вера в доброе всегда приятней. Хотя и не честнее.

— Полагаете, в этом мире все так плохо? — Он слегка улыбнулся, заглянув Марине в глаза. Четкие, правильные черты лица, лет тридцати, прямой взгляд, отсутствие суетливости.

— Извините, кондуктор уже звонил, нам пора заходить в вагон, — прервала беседу взрослых Аля.

В пятницу встречали Алю опять вместе. Конец августа выдался чудесный — ярко-солнечный с грустинкой по уходящему лету. Во всем — и в этой чрезмерной яркости, и в красках тронутых золотом листвы, в летучих паутинках, в лиловых астрах

на привокзальной клумбе — прощанье, так любимое Мариной.

— Пойдемте до дома пешком? Я люблю холмы и прогулки. Тем более быстро стемнеет и ожидается полнолуние. А сквер этот почти как лес. А холм — почти гора. Пройдемся? — предложила Марина. — Маршрут щадящий, мы не станем вас мучить, Сереженька.

— Я папочке совсем легкую дорогу покажу! — Аля увела отца на выложенную брусчаткой дорожку. Марина и Родзиевич шагнули в гущу лесополосы, пронизанную косыми лучами солнца.

Константин шагал по-военному четко, был немногословен. Поглядывая на его профиль, Марина любовалась правильностью и твердостью линий. Любовалась силой и ловкостью движений: обогнул дерево, легко перемахнул через пень, отстранил с ее дороги ветку и поддержал, пока не прошла. Подхватил за талию, спускаясь в овражек.

— Как пражское общество? Вы здесь всех знаете, Константин Болеславович?

— Общество пестрое. Как везде. В большинстве своем — приятное: ученые, студенты, «ветераны». Вот теперь я лично знаком и с выдающейся поэтессой.

Марина поморщилась:

— Фу! слово какое нашли противное. Мелкое и суетливое. Не мой масштаб. Правда-правда, никогда про меня так не говорите, если не хотите разозлить. Цветаева — Поэт. Я вам это еще докажу.

Он вздохнул, посмотрел виновато:

— Боюсь, я мало смыслю в поэзии. Из категорий Мужских характеров «Воин-Поэт» мне досталась боевая часть. Читаю Гумилева и то — эпизодически. Больше занят сражениями — всю жизнь воюю. Отец был Полковой доктор. Я в мясорубке с юных лет: то за красных сражался, то за белых! Белым и остался.

— Выбор достойный.

Прощался Родзиевич у дома Марины легким поклоном. Руки не целовал, да ему и не предлагали.

Дома Сергей, уже разложивший газетные гранки, похвастался:

— А меня назначили соредактором журнала «Своими путями»! Это будет главный рупор чешской эмиграции.

— Муж — издатель! Сбылась моя мечта, — сказала Марина с легкой иронией. Она знала, что Сергей возьмется за дело с полной отдачей сил и времени. Знала и то, что некие обстоятельства непременно помешают осуществлению его планов. Характер Сергея она изучила, хотя к предмету его занимающему

— к политике — отношение имела самое отдаленное. Она не только плохо ориентировалась в подводных течениях политических направлений, но и вовсе пропускала стремительно вихрящиеся потоки мировой политики. Задерживала только свое, личное, цепляющее душу.

Сергей поинтересовался между прочим:

— Как тебе Константин?

— Вояка, мужлан, от поэзии далек, не мой тип. — Она расшнуровывала ботинки. — Но пешеход отменный.

Сергей засмеялся:

— Отличная характеристика! Родзиевич хорош собой, холост, успех у дам имеет колоссальный. Прозвали даже маленьким Казановой.

— Почему «маленьким»? Что-то смешное в масштабах здешних страстей? Все кукольное и страсти балаганные, — Марина швырнула грязные ботинки в угол у двери. И застыла, ловя в себе отзвуки прогулки. Вскочила, с грохотом собрала грязную посуду в таз и поставила на плиту греться чайник.

— Мог бы тарелки помыть.

— Мне сдавать номер. Да и ты не велела за бьющееся хвататься, ругала, что у меня все из рук валится.

Вместо шутки Марина зло огрызнулась:

— А ты бы крепче держал. Не на облаках живешь.

Она злилась на себя за то, что не может отделаться от ощущения властной ладони на талии, волнующего присутствия рядом сильного самца, способного защитить и… любить?

Марина лукавила с собой, придерживая готовый, разгореться пожар. И вот — решилась! Бедный Бахрах! Она играла с ним, провоцируя на встречу. Но в сентябре, доведенный Мариниными стихами и письмами до мечты о свидании, юный критик вдруг читает: «Мой дорогой друг, соберите все свое мужество… что-то кончилось. Я люблю другого…»

Час Души, достигнув в письмах и стихах к Бахраху апогея, уступил место часу Эроса, вступившему в свои права со свойственным Цветаевой неистовством:

.. Как будто бы душу сдернули
С кожей! Паром в дыру ушла
Пресловутая ересь вздорная,
Именуемая душа.

Христианская немочь бледная!
Пар! Припарками обложить!
Да ее никогда и не было!

«Было тело, хотело жить» — разве с этим поспоришь? Причем хотело жить не с Сергеем и не с Бахрахом. Александр из предмета страсти превратился в доверенное лицо, которому на правах тесной дружбы Цветаева теперь будет излагать перипетии своего рома**на.** К счастью, Александр давно понял, что страсти Марины — искусные цветы фантазии. Его, не видя ни разу, она возвела на пьедестал главного героя своей души, объявила своей «болезнью». А тело? Похоже, пришел и час тела. Эрос, прятавшийся в кущах игр в содружество душ, — заявил о своих правах. Оказывается «души никогда и не было, было тело, хотело жить».

Бахрах был в Берлине, Родзиевич оказался рядом. Возможно, если бы он не встретил Цветаеву на вокзале, на его месте оказался бы другой. Вспыхивающий в ней пожар способен превратить в бензин даже воду. Но «Маленький Казанова» сам оказался из горючего материала.

«Тело другого человека — стена, она мешает видеть его душу. О, как я ненавижу эту стену!» — своей мучительной проблемой Марина, похоже, не поделилась с Родзиевичем, ведь кроме тела что-либо более достойного внимания разглядеть в нем было трудно. Зов плоти оказался могучим. Марину, не умевшую быть Евой — искусительно-женственной, сексуальной, кокетливой, манящей, неудержимо тянуло к Родзиевичу. Не важно, что разговоры о поэзии с ним не стоит и затевать, а играть в соблазн не на бумаге она не умеет. Сумеет он.

«Вскрыла жилы; неостановимо невосстановимо хлещет кровь»

Марина и Аля завзятые ходоки. Любит прогулки и Константин. Какое счастье — осень уже подступила, лесопарк в багрянце и золоте, в свежем воздухе кружат листья. Марина решила проводить Алю в гимназию от станции пешком. Сергею трудно даются такие прогулки, и провожать Алю вызывается Родзиевич. Снова они одни в лесу. И не важно, о чем говорить. Говорит Аля — поведала о первых школьных впечатлениях. Родзиевич скупо и односложно изложил о том, как попал в Красную армию, был захвачен в плен белыми и перешел на их сторону. По убеждению и по велению офицерской чести.

Чета Богенгардтов — Всеволод Александрович и Ольга Николаевна — встречают Алю, которую успели полюбить в гимназии.

— Знаете, что она ответила ученикам, когда ее спросили, кто она и откуда? — сюрпризно улыбнулась Ольга Николаевна: — «Я — Звезды. И с небес!» — И ведь правда — необыкновенная девочка. И так похожа на отца. А Сергей Яковлевич не хворает ли?

— Усиленно готовится к экзаменам, чрезвычайно ответственный человек, вы, конечно, успели заметить. Но приставил нам с Алей надежного сопровождающего. — Марина глянула на Константина, и женщине было достаточно, чтобы прочесть в этом взгляде сюжет их обратного пути. Тем более кое-что о Родзиевиче и Марининых увлечениях она знала.

Оставив гимназию и мысли о школьных радостях за Могучими дубками, окружавшими школу, они долго бродили по лесу. Почти молча, ощущая, как нарастает напряжение. В быстро спустившихся сумерках видели взгляд друг друга, словно светившийся, и ощущали исходящее от спутника тепло. Казалось, если приблизиться друг к другу — пробежит искра, воздух воспламенится. Марина забралась на поваленное дерево и прыгнула в жухлый малинник. Константин поймал ее, НС дав упасть в колючий куст. Застыли, тесно прижавшись. Марина не делала попыток высвободиться, только смотрела в его так близко оказавшиеся глаза, на его красиво очерченные губы, выбритый подбородок с ямочкой. Марина молчала, а внутри грохотала музыка — страстно нарастающий барабанчик зачастившего сердца. Подумала: не с кардиограммы ли влюбленного писал «Болеро» Равель?

Откуда-то взялась и низко повисла огромная любопытная луна. Ждала.

Марина поняла: еще мгновение — барабанчики затрепещут крещендо, и она вопьется в эти спокойные, чуть улыбающиеся губы. Вопьется — и не оторвать. Пропала. Резко освободилась из кольца крепких рук. Он задержал ее ладонь, пальцы были холодны — он чуть дрожал. Марина заторопилась:

— Пора домой. Мне зябко. Сергей заждался.

У дома простились за руку, и Марина опрометью бросилась на свой чердак. Там в ознобе куталась в шаль, пила заваренный Сергеем чай.

— Что-то случилось? Заблудились? А я чашки помыл и пол. Чисто? Ничего не разбил.

— Красиво… Не здесь, в Праге. Фантастический город. Рыцарь у моста так похож на меня… от реки тянет сыростью… — врала она, почему-то боясь рассказать о часах, проведенных с Родзиевичем в лесу.

Первое письмо к Родзиевичу она написала этой ночью — 27

августа 1923 года: «Мой родной Радзиевич (она всегда писала его фамилию через «а». — *Л.Б.),* вчера на большой дороге под луной расставаясь с Вами и держа Вашу холодную руку в своей, мне безумно хотелось поцеловать вас, и если я этого не сделала, то потому только, что луна была слишком большая. Мой дорогой друг — нежданный, нежеланный и негаданный милый чужой человек, ставший мне навеки родным. Вчера под луной, идя домой, я думала — «Слава Богу, что я этого прелестного опасного чужого мальчика — не люблю! Если бы я его любила, я бы от него не оторвалась. Я не игрок, ставка — моя душа…»

Далее Марина заклинала «чужого мальчика» в самый трудный час позвать ее, обещая: «окликните — отзовусь».

Марина надеется отстранить Родзиевича на дистанцию «дружеской души» и в то же время не хочет этого. Полагает, что наивное заклинание «не люблю», посланное «навеки родному чужому мальчику», отведет лавину надвигающегося чувства. Грозящей беды? Беды. Она это предчувствует верно. Но обратного пути нет: своевольная, влюбчивая Марина уже ступила на дорогу, ведущую в его объятия.

Через несколько дней снова провожали Алю. В семье тревога: у девочки нашли двустороннее затемнение в легких. Она требует повышенного внимания. Сергей остается в гимназии у Богенгардтов. В университете небольшие каникулы, и все советуют ему побыть с дочерью.

Марина с Родзиевичем машут руками, оставшимся на крыльце Сергею с Алей и Богенгардтам. Вечер по-летнему теплый, а лес уже их заговорщик и сообщник.

Молчаливые поцелуи — властные и нежные. Колени подкашиваются — такого Марина не испытывала — желания отдать свое тело, а его тело — взять! Высокая августовская трава ложится ковром, в розовом небе застыли черные еловые ветви. Сквозь туман желания кружат слова: тело, жажда, мужская страсть, зовущая плоть…

Он сексуален, умел в любви. Властен и мягок, предупредителен и немногословен. Марина превращается в Еву, с неведомым восторгом освобождается от крыльев бесплотной Психеи. Родзиевич сделал то, что не удавалось никому другому — Марина прославляет отвергаемую ею земную мужскую страсть.

Любовь, это плоть и кровь.
Цвет — собственной кровью полит.
Вы думаете, любовь —
Беседовать через столик?

На следующий день она записывает: «Радзиевич сумел преодолеть мою биологическую природу (…) Когда и музыку слушая… ждешь конца (разрешения) и, не получая его, томишься… Ну почему никогда не «Подожди»? О, никогда почти на краю за миллиметр до — никогда! Ни разу! Это было нелегко, но сказать мне — чужому, попросить… недоверие? Гордость? Стыд? Все вместе… Это самая смутная во мне область, загадка, перед которой я стою… Но тоска была, жажда была — и не эта ли тоска, жажда, надежда толкнула меня к вам… Тоска по до воплощению. Ваше дело сделать меня женщиной и человеком довоплотить меня. Моя ставка очень высока».

Родзиевич справился, довоплотил, сделал женщину из маявшейся по дружбе бесплотной Психеи. Он — умел подчинить своей воле и был опытен в соблазне.

Пока Сергея не было в Праге, они встречались ежедневно. После приезда мужа время Марине приходилось выкраивать, придумывая предлоги. Часами гуляли по городу. Особенно много времени проводили любовники на Петршиновой горе, сделав ее своим «островом». Иногда приходилось снимать номер в отеле. Все так чудесно, так полно… У Марины только одна просьба к Родзиевичу: «Полюбите мои стихи!» Но это, увы, невозможно. Они все больше гуляют по старинным улочкам, подолгу засиживаются в крошечных кафе. Все с оглядкой, с воровскими ужимками. Марину приводит в бешенство конспирация:

— Я не могу вечно сидеть с вами в кафе! Вечно видеть вас через стол! Ненавижу стол! Хочу дом с вами, чтобы вечером приходили и вместе ложились спать.

Читает ему написанные накануне отчаянные стихи:

От нас? Нет — по нас колеса любимых увозят.
Прав кто-то из нас сказавши: любовь — живодерня.

Марина чувствует, что попала в западню, выхода из которой не видит. А потому и бубнит попеременно: любовь — смерть… Она очень напряжена, взвинчена, она на грани истерики. Родзиевич предпочел бы более простые отношения с женщиной. Он начинает думать о том, как бы поделикатнее оборвать эту связь. Марина совершенно не понимает, что даже ее прежние, более «духовные» романы тяготили партнеров навалившейся на них интенсивностью Мариниых чувств, всегда трагических, всегда непомерно ответственных. А уж «маленькому Казанове» груз таких насыщенных чувств не по плечу.

Сергея вызвал на разговор его приятель Богенгардт. Этот тихий интеллигент, смущающийся своей миссии, нашел в себе

силы предупредить Сергея:

— О таких вещах не говорят. Но лучше я, чем сплетни со стороны. Пройдемся по аллее, здесь фантастические клены)

— Сева, я тебя хорошо знаю. Не бойся меня смутить или обидеть. Другу можно.

— Собственно… Собственно… — Всеволод Александрович поднял багряный кленовый лист и стал внимательно рассматривать на нем жилки. — Марина Ивановна увлечена не на шутку. Олюше тоже так кажется. И, знаешь, уже вокруг шепчутся.

— Бахрахом? Ха! Глупость фантастическая. Он же в Берлине, и они никогда не виделись. Это ее игра в романтизм. Иначе она не живет. Выдумывает, влюбляется, пишет! Поэзия требует постоянного пожара.

— Я о другом предмете. Впрочем, извини, не могу! — Богенгардт махнул рукой и решительно свернул с тропинки. — Они сами тебе расскажут.

Сергей столько раз обжигался о романы Марины, что сейчас не слишком тревожился, принимая объяснения Марины ее долгих отсутствий: библиотека, семинары по искусству, друзья. Ладно. Но сейчас вдруг все прояснилось. Богенгардт не решился назвать имени. А все уже, оказывается, знают! Кроме чудака-мужа. Который просто решил закрывать глаз на приключения жены… Неужели Константин? Нет, только не Родзиевич — друзья же!

— Марина, вы ничего не хотите мне сказать? Теперь, когда Аля в гимназии, у вас больше возможности писать, а вы так мало бываете дома.

— Я часами сижу в библиотеке. Собираю материал. Это будет трагедия. Трагическая трилогия. — Она сравнила только что завершенные связанные шарфы — серый и темно-зеленый: — Вам какой больше нравится? Впрочем, это оба вам. Рады? — Она набросила петлю шарфа на его шею.

— Разве библиотека закрывается ночью?

— Что за допросы? Вы решили, что я окончательно превратилась в толстокожую бюргершу и буду храпеть под перинами в такие ночи? Да, я брожу по спящему городу. Он волшебен.

— Дорогая, мы отлично знаем друг друга. Вы — человек страстей. Отдаваться с головой урагану чувств для вас стало необходимостью, воздухом вашей жизни. Кто является возбудителем этого урагана, собственно, неважно. Я лишь прошу не ставить меня и себя в смешное положение.

— Сережа! Я поэт! И вам прекрасно известно, что почти всегда мои увлечения строятся на самообмане. Я создаю свою Галатею, потом разочаровываюсь и забываю.

— Чтобы начать все снова. И ритм, бешеный ритм. Сегодня отчаяние, завтра восторг, любовь, трагедия на грани самоубийства, и через день снова сияние!

— Только в таком ритме я могу писать. Взлетать и падать в бездну. Разбиваться и воскресать!

— Громадная печь, для разжигания которой необходимы дрова, дрова, дрова. Тяга пока хорошая — все обращается в пламень. — Сергей стащил шарф и положил его на стол. — Мне давно ясно, что я на растопку не гожусь. Когда приехал встречать вас в Берлин — дрожащий от нетерпения, понял, что за несколько дней до моего появления печь была растоплена другим. Отстранился, стал ждать. Вишняк был забыт вами. Но потом все началось снова.

— Перестаньте! Вы стали мелочны. Вишняк — пустой манекен. Бахраха я никогда не видела. Это же тени! Эпистолярные романы, декорации! Вы специально травите меня! — Рыдания сотрясли ее плечи. Но Сергей не отступил, он не мог больше играть в полуправду.

— А Родзиевич?

— Он вообще не из моих героев, — Марина напряглась, стирая тыльными сторонами ладоней слезы. — Зачем вы приплетаете своего друга? Это низко! Это невыносимо, в конце концов! — сдернув с гвоздя пальто, она кинулась во двор.

От сердца отлегло. Что делать, так уже было. И это не имеет отношения к нему. Таковы законы «возгорания» Поэта, которые он для себя принял. Вместе со всей немыслимой любовью к Марине.

Но на следующий день случилось неожиданное — «как обухом по темени». Среди своих записей Сергей увидел листок с круглым Марининым почерком — наполовину сгоревший. Видимо, она разжигала печку и бросила обрывок. А на нем: «… евич разбудил во мне женщину». Рука задрожала, перехватило дыхание, он рухнул на стул, пытаясь проникнуть в смысл признания. Фантазия? Выдумка? Он сопоставил факты — долгие прогулки Марины, свое двухнедельное отсутствие. И Марина! Она же совершенно изменилась! О, если бы сразу умереть!

Сергей ждал ее почти всю ночь, воображая картины измены. Заготавливал фразы заранее. И начал, едва она вошла:

— Я все знаю. Не надо отравлять наши отношения ложью. Поймите, мне очень больно. Я так прямо, так безоговорочно, так неотрывно любил вас. Больше собственной жизни боялся потерять. А теперь моя жизнь — обуза, невыносимая боль. Мой друг или какие-то полу-вымышленные фантомы рядом с вами — совсем не одно и то же.

— Не надо придумывать трагедии на пустом месте. Мне тоже слишком часто хочется умереть. Хожу по набережной и примеряюсь. Вы всегда были равнодушны к моим увлечениям, отстранены, погружены в свою политику и вдруг… Что произошло?

— Марина! Марина! Марина! Разве вы не видите, как изменились ко мне? — истерики и слезы по любому поводу. Разве не понимаете, что Константин — особый для меня случай? Я чувствую себя жерновом на вашей шее… А ведь я живой, я страдаю…

— Чем я могу облегчить ваше положение? Мне уйти? Начнем с того, что я во всем признаюсь, что была гадкой, лживой! — Марина задохнулась, перевела дух… — Делайте со мной, что хотите. Я люблю его… — Она упала на табурет, сложила на коленях руки, как ожидающий приговора.

Сергей долго ходил по городу, не зная, на что решиться. За стойкой в Маленькой почтовом отделении, пустом, пропахшим сургучом, долго писал письмо единственному человеку, с которым мог быть откровенен — Максу Волошину. Недописав, сложил листок, сунул в карман порыжевшей гимнастерки. С надеждой взглянул на каменную Деву Марию в овальной нише и решительно пошел домой.

Марина была дома и уже приготовила обед. Не взглянув на Сергея, предложила:

— Горячую кашу будете?

Он промолчал, она обернулась, увидала его лицо и застыла, держа в руках захватанное кухонное полотенце…

— Марина, мы с вами пережили многое. Я умел понять ваши увлечения и ваше уважение ко мне. Я бы не завел этот разговор, но твердо знаю, вам тоже очень тяжело. Весь воздух отравлен!

Марина не шелохнулась. Тихо проговорила:

— Я знала, что причиню боль. Мне самой больно.

— Мое решение окончательно — нам надо разъехаться. Я вижу, как вы несчастливы. Поверьте, я тоже весь изломан. Давайте не будем мучить Друг друга. Прошу вас, поставим точку. — Сергей ушел, и в комнате стало тихо. Только Зеленая муха неистово билась в низенькое мутное окно.

Марина потемнела и окаменела. Потом взяла чемодан и побросала несколько каких-то одежек. Молча, двигаясь с сомнамбулической отрешенностью, ушла из дома, не закрыв дверь. Сергей даже не вышел, словно растворился в своей комнатенке. Он не знал, сколько времени пролежал, уткнувшись лбом в стену. В доме было темно, когда раздался голос соседки:

— И двери у вас отворены, и дома, что ль, никого нет?

— Я спал, извините. — Вышел к женщине Сергей.

— Я вот чего пришла: вы, Сергей Яковлевич, отдохните пока. Пусть Марина Ивановна у меня поживет. Пришла — лица на ней нет, словно заблудилась. Жизнь прожить — не поле перейти. — Женщина покосилась на стул, но приглашения присесть не получила. А так хотелось изложить этому симпатичному господину Эфрону происшествие поподробнее, как прибежала Марина Ивановна, как винилась в том, что не верна мужу… Пришлось ограничиться наставлением;

— Главное — надо успокоиться. В руках себя держать. Да двери-то заприте, комнаты совсем застудите.

Вскоре Сергею стало известно, что все Маринины пражские знакомые в курсе ее романа с Родзиевичем. Подруги обсуждали захватывающие душу подробности ее переживаний. Ведь то, что для Сергея трагедия, — для Марины всего лишь — сюжет для стихов.

Сергей ошибался — на этот раз Марина погибала от самой настоящей любви. Растеряв способность хитрить, душа гордыню, с кровью, с мясом вырывала из себя лучшие в ее жизни стихи.

Две недели Марина была в безумии. То возвращалась, то снова уходила: рвалась от одного к другому. И каждый знал, что с ним она несчастлива, и выхода из ситуации нет.

Родзиевич вышел с Сергеем после занятий в университетский сквер. Молча показал на давку. Сели, закурили.

Родзиевич легко начал разговор, словно давно был готов к нему.

— Сергей, не мучайся, я понимаю, ты хочешь поговорить о Марине.

— Да, у меня много вопросов… Почему ты… Я считал тебя другом…

— Мне казалось, ты привык к ее увлечениям и принимаешь все, как есть. Ты так легко отпускал жену на прогулки со мной, словно благословлял нас.

— Какая пошлость! — схватившись за голову, он раскачивался от пронзившей боли. — Я не знал, не знал, что гублю и себя и ее. Она полюбила со всей глубиной! Она хочет стать твоей женой, но не бросает меня только из жалости, из многолетней привязанности и полудетских клятв в вечной верности… Я отпустил ее». И..; не имею к тебе, Константин, никаких претензий.

— Но… — Родзиевич усмехнулся. — Но я не могу жениться! Не имею права взять ответственность за семью. Подумай сам, что я могу дать женщине? Угол в Слободарне и жалкое пособие? Нет, Сергей, я не могу предложить Марине Ивановне стать моей

женой. Извини, раз уж говорим откровенно… Характер Марины вообще тяготит меня. Она относится ко всему слишком серьезно, — Константин встал и направился к фонтанчику с питьевой водой. Сделал несколько глотков, вытер платком подбородок. — У меня другой характер… Понимаешь… Легче, легче…

— А что же мне делать? Объясни! Я — одна сплошная боль. Ничего не хочу, не хочу жить во лжи. Не могу порвать с ней — она грозит умереть…

— Уфф, наломали мы дров… — Родзиевич снова сел рядом, закурил, хмуря брови. Наконец решился:

— Полагаю, мне надо более решительно расстаться с Мариной. — Он посмотрел сквозь дым на суетящихся у ног голубей. — Прости, Сергей, но я не был инициатором этой связи. Все вышло само собой.

Вернувшись из университета, Сергей застал жену дома. Похудевшая, с ввалившимися глазами, в какой-то растерянности она перебирала в сундуке вещи.

— Спицы… Я пришла за спицами… Ты не видел?

Сергей отвернулся к окну и сделал вид, что читает книгу, решив не отвечать. Последние дни она срывала на нем накапливающееся нервное напряжение: упреки, обиды — все обрушивалось лавиной. Он напрягся и поднял плечи, словно ожидая удара. Услышал бурные рыдания. Марина рванулась к нему, обняла, прижалась к спине:

— Золотой, родной, единственный! — я не могу так жить. Я не хочу так жить. Я не могу уйти от вас. Одно сознание, что вы где-то в одиночестве, не дает мне ни минуты не только счастья, но простого покоя. Но и с вами нет покоя — я мучаю вас, потому что постоянно думаю о нем.

— Так иди к нему! Ты свободна! — почти выкрикнул Сергей и швырнул томик Маркса об пол.

Она ушла, Сергей с трудом сдержался» чтобы не остановить ее. Считал шаги на лестнице. Каждый отдавался у него в груди, словно кто-то вбивал в нее гвоздь.

За окнами кафе моросил дождь, стекая по стеклу печальными струйками. Любовники сидели над двумя чашками остывшего кофе. Крошечный круглый столик разделял их. Родзиевич стал еще молчаливей и все реже старался оставался с Мариной наедине. Видимо, час Эроса миновал. Марина не замечала этого. Ева не живет трагедиями. Притягательность Евы — в победоносном цветении плоти. Даже трижды красавица и великий Поэт — не желанна в разрухе. Откуда Марине — бесхитростной Психее, пренебрегающей плотью, было знать это?

— Поймите же, пока он не знал про нас, я не была виновата. Но теперь он ранен, он страдает — и я тому причина. Зачем он выпытывал у меня? Человек имеет право на личную тайну. Я должна прийти в себя и решиться… Но чтобы жить, мне нельзя приходить в себя. Там, за пределами страсти пусто. Там нет для меня жизни. Я не должна жить… — глаза смотрели куда-то в пространство, слова вырывались почти бессвязно, как у бредившего. Рука Родзиевича легла на ее подрагивающую руку. Спокойные глаза пристально вгляделись в ее испуганные:

— Марина, примите совет друга. Вернитесь домой. Уже две недели вы не живете дома, да и со мной — не житье. Я не способен сейчас строить семью. Сергей — редкий человек. Всю жизнь он посвятил вам. И готов посвятить до остатка дней. Мы были… счастливы. И… довольно. Кажется, устали мы все трое.

«Я не понимаю, что делать, — писал Сергей Максу, — тягостное «одиночество вдвоем». Непосредственное чувство жизни убивается жалостью и чувством ответственности. Я слишком стар, чтобы быть жестоким, и слишком молод, чтобы присутствуя отсутствовать. Но сегодня — сплошное гниение. Я разбит до такой степени, что от всего в жизни отвращаюсь, как тифозный. Какое-то медленное самоубийство. Все вокруг меня отравлено. Нет ни одного сильного желания — сплошная боль. Свалившаяся на мою голову потеря тем страшнее, что последние годы мои я жил больше всего Мариной. Марина сделалась такой неотъемлемой частью меня, что сейчас я испытываю чувство такой опустошенности, такой внутренней продранности, что пытаюсь жить с зажмуренными глазами. Не чувствовать себя — основное мое желание».

К письму приписка: «Я начал писать месяц назад и все это время не решался послать тебе. Теперь, вроде, все как-то наладилось. Мы живем вместе и соблюдаем видимость семьи».

Родзиевич старался завершить отношения с Мариной. Конечно же, эта любовная история была вовсе не из жанра предпочитаемых им легких флиртов. 12 декабря 1923 Марина записала: «Конец моей жизни, хочу умереть в Праге, чтобы меня сожгли».

Марина живет дома. Много, пишет. Всем говорит, что пожертвовала собой из-за невозможности бросить Сергея. Вся правда об этом самом сильном романе в жизни Марины рассказана ею в «Поэме Горы» и «Поэме Конца», признанных лучшими стихами в любовной лирике.

«Поэма Горы» — о невозможности любви. Гора, на которой развиваются события, — Петршин холм в Праге — любимое место прогулок Цветаевой и Родзиевича, их «дом» — не только место

действия, но и герой — символ высоких чувств «верх земли и низ неба».

Гора горевала, что только грустью
Станет — что нынче и кровь и зной.
Гора говорила, что не отпустит
Нас, не допустит тебя с другой.

В «Поэме Горы» «беззаконная» страсть героя и героини противопоставлена тусклому существованию живущих на равнине пражских обывателей. Гора символизирует и любовь в ее гиперболической грандиозности, и высоту духа, и горе, и место обетованной встречи, высшего откровения духа. «Поэма Конца» — о несоизмеримости чувств героев, о фальши, которой не чувствует он, но которую моментально улавливает она. О трагическом непонимании между поэтом и не-поэтом. Это откровенная, до мельчайших изгибов души фиксация расставания, разрыва живой плоти совместности.

Расставаться — ведь это врозь.
Мы же — сросшиеся.

Плачешь? Друг мой!.. Жестока слеза мужская
Обухом по темени!

Но зато в нищей и тесной
Жизни: «жизнь, как она есть!» —
Я не вижу тебя совместно
Ни с одной:
— памяти месть!

В январе Родзиевич уехал из Праги и через год женился на дочери религиозного философа Булгакова. Но вскоре, правда, развелся и в брачные узы не вступал — Марина накликала. Ушел в армию. Смерти не боялся, воевал в Испании, во время Второй мировой состоял во французском Сопротивлении, побывал в немецком концлагере. Детей не имел, дожил до 92 лет, умер в Париже. В преклонные годы увлекся лепкой и рисованием. Часто изображал женский портрет — горбоносое лицо женщины с невидящими глазами под длинной челкой. Никогда, уже дожив до славы Цветаевой, Родзиевич не разглашал никаких подробностей их отношений. «Все, что Марина хотела сказать, она сказала в стихах…».

«Поэма Конца» и «Поэма Горы» были изданы маленькой книжечкой. Долго шли они до Переделкина.

И вот Марина получает письмо из Москвы: «Я четвертый вечер сую в пальто кусок мглисто-слякотной, дымно-туманной ночной Праги с мостом то вдали, то вдруг с тобой перед самыми глазами… и прерывающимся голосом посвящаю их в ту бездну ранящей лирики, Микельанджеловской раскидистости и Толстовской глухоты, которая называется «Поэма Конца», — писал Марине Пастернак. — С такой силой страсти, нежности, боли, тоски, отречения от себя могла писать только пережившая это женщина».

Слова — «любовь», «страсть», «зной» — решительно вытеснили главное в «бахраховских» стихах слово — «душа». Цветаева не просто прокричала о своей боли, но сумела вызвать ответную, сочувственную, у читателя.

Гром отгремел. Они вновь перебрались за город. Семья уцелела. Сергей погрузился в работу, Аля, учившаяся в пансионе, о прошедших событиях почти ничего не знала, эта драма началась и кончилась в ее отсутствие. «От Али часто получаю письма, — сообщала Цветаева Богенгардтам, — пишет, что все хорошо, и в каждом письме — новая подруга. Она не отличается постоянством». Аля вырвалась на свободу простой детской жизни и сама, по ее словам, «становилась обыкновенной девочкой». «Аля простеет и пустеет» (из письма Волошиным). Но больше всего угнетало Цветаеву беспокойство об Алином здоровье. Туберкулезной наследственности Цветаева смертельно боялась, она начала добывать деньги, чтобы везти дочь в Италию. Поездку отложили до осени, пока же снова переехали в деревню под Прагой.

За лето Аля окрепла, вопрос о поездке в Италию отпал, но и в гимназию ее не вернули. Она опять жила дома и много помогала по хозяйству. Возобновились уроки с родителями… Главное же заключалось в том, что Марина ждала ребенка и без Али справиться с младенцем было бы просто невозможно.

«Счастья — в дом! Любви без вымыслов!»

Первого февраля закрутила сильная метель. Утром, на две недели раньше рассчитанного срока, у Марины начались схватки.

— Что же делать?! Такой ужас — ни зги не видно! Надо немедленно ехать в больницу в Прагу! — побледневший, дрожащий Сергей хватался то за одно, то за другое. Наконец принес скорчившейся Марине ее пальто. Закрыв глаза, она выдавила сквозь зубы:

— Вы с ума сошли! Какая поездка, какое пальто! Шевельнуться не могу. Боль в дугу гнет! Нет… Несмотря на все мое спартанство, до станции не дойду.

— Только не волнуйтесь! Терпите, родная. Бегу за доктором Альтшуллером и подмогой. Алечка, ухаживай за мамой.

Сергей умчался, на ходу засовывая руки в рукава и все попадая мимо, с открытой в метели головой и смертным ужасом на лице. Вскоре комната была полна народу.

Аля записала, что папа «дико растерялся» и что «прибежали целые полчища дам с бельем, тряпьем, флаконами и лекарствами».

«Чириковская няня вымыла пол, все лишнее (т. е. всю комнату!) вынесли, облекли меня в андреевскую ночную рубашку, кровать выдвинули на середину, пол вокруг залили спиртом, — записала Марина. — v (Он-то и вспыхнул — в *нужную* секунду!) Движение отчасти меня отвлекало. В 10 ч. 30 мин. прибыл Г.И. Альтшуллер, а в 12 ч. родился Георгий.

Молчание его меня поразило не сразу: глядела на полыхающий спирт. (Отчаянный крик доктора: — Только не двигайтесь!! Пусть горит!!) Ребенок молчал, он был почти удушен пуповиной, доктор старался вдохнуть в новорожденного жизнь — асфиксия могла оказаться смертельной. И вдруг — задышал! Запищал… Слава тебе, Господи!»

Все это время Марина курила, глядя на синеющего ребенка, попытки доктора вернуть его к жизни, словно со стороны. В этот момент она всем своим существом со спокойной решимостью стояла на грани гибельного решения: не будет сына, не будет и ее.

Сын закричал и она возликовала.

— Сергей, идите посмотрите на своего сына! Не сомневайтесь, на свет явилось существо избранное. Все приметы сводились к тому: метель, воскресенье, полыхнувший вкруг роженицы спирт, 1 февраля!

«Мальчик родился в полдень, в Воскресение, первого числа

первого весеннего месяца. По приметам всех народов должен быть очень счастливым. Дай Бог!»

Не сразу решился вопрос об имени. Цветаева писала Пастернаку, что все девять месяцев вынашивала Бориса — в честь него. Но желание Сережи (не требование!) было назвать его Георгием — и я уступила. И после этого — облегчение. Итак — у Марины сын Георгий, как она предсказала себе три года назад. Дома мальчика с подачи Марины стали называть Мур, это имя за ним и осталось.

Родзиевич уехал из Праги в январе, а в начале февраля Марина родила сына. Как обещала Сергею, как мечтала родить для Константина. Одержимость появлением сына отражена в той или иной мере во многих ее увлечениях. Цветаева хочет подарить сына всем своим любимым — и в память своего отца Ивана Владимировича Цветаева, и как акт преданности Сергею, и на волне страсти к Родзиевичу, и как символ материнского сближения с Бахрахом, и в знак высшего родства с Пастернаком. Она хотела «подарить» Борису Леонидовичу некую отеческую радость, причастность к судьбе сына. Кроме того, Марина Ивановна полагает, что акт произведения на свет мужчины является доказательством ее женской сущности и в то же время дополняет ее однополую односторонность. Мечта об андрогинности в доступном варианте. Кроме того, Марина не сомневается, что ее сын родится с печатью избранности. Недаром же в юные годы в ней так упорно жил дух Наполеона и его несчастного наследника. Так что, родословная у мальчика в плане духовного наследования должна быть самой богатой: впитать все, что было дорого и любимо самой Мариной, ее духовными кумирами, ее кровными предками.

Беременность Цветаевой проходила легко, на градусе вдохновенного ожидания чудесного ребенка. Она много писала, увлеченно работала в редколлегии сборника «Ковчег», продолжала вести хозяйство, совершала дальние прогулки по окрестным лесам и горам.

Сергей все больше отходил от нервотрепки последних месяцев. Марина родила сына и вся светилась, когда смотрела на Сергея:

— Я же обещала вам!

Что это было — ощущение вины перед мужем или чистая радость долгожданного чуда? Муж больше не копался в психологии ее поведения — он позволил себе снова любить и вдохновляться своей любовью.

Застывал, глядя на нее, сидевшую с вязанием или кормившую ребенка.

— Сережа, ну вот же ваша рубашка! Где вы ищите?

— Я не искал. Я на вас смотрел…

И полные бесконечного обожания глаза. Только что-то новое появилось в глубине ясного взора, отблеск некой тайной мысли, глубоко спрятанной идеи.

Марина в восторге от сына — он совершенно необыкновенный: крупный, большеголовый, с правильными чертами лица. «Сын явно — мой, вообще — Цветаев. Дочь непременно пошла бы в Сережу. Сергей Яковлевич тоже сразу же привязался к ребенку».

Стоит посмотреть фотографии странного мальчика, который по воспоминаниям близких до 12 лет ни разу не улыбнулся, и сомнения отпадают — ни Эфроновской, ни цветаевской породы в нем не просматривается. Зато явственно, с преувеличенной отчетливостью определяются черты Родзиевича. Марина писала Бахраху: «Милый друг, я очень несчастна. Я рассталась с *тем,* любя и любимая, в полный разгар любви, не рассталась — оторвалась!.. С ним я была бы *счастлива*… От него бы я хотела сына… Этого сына я (боясь!) желала страстно, и, если Бог мне его не послал, то, очевидно, потому что лучше знает. Я желала этого до последнего часа». До какого часа и как все же распорядился — Бог?

Известно, что Родзиевич, с трудом переносивший к этому времени экзальтированность и непрактичность Цветаевой, без лишней сентиментальности однозначно заявил, что рождение ребенка сейчас в его нищенской жизни не предусмотрено. Позже он сказал общим с Мариной знакомым: «К рождению Мура я отнесся плохо. Я не хотел брать никакой ответственности. Сын мой Мур, или нет, я не могу сказать, потому что сам не знаю».

После этого заявления (или задолго до того) Марина однозначно и навсегда решила: сын Сережин. И постановила: у каждого человека есть право на тайну души.

Это священная территория, и вторгаться на нее кощунственно. Марина настаивала, что внешне сын представляет цветаевскую породу. Уважение к памяти Цветаевой и ее тайне заставляет принять эту версию. Но отделаться от ощущения, что она неистово и самоотверженно растила копию «своей единственной настоящей любви» трудно. Возможно, еще и потому для Родзиевича в череде увлечений Марины было сделано исключение — Марина никогда не обмолвилась о нем ни единым плохим словом. Несомненно, были вопросы и у Сергея, но он искренне полюбил ребенка, для него было главным, что рожден мальчик Мариной и ею же «подарен ему».

И все же, зная дальнейшую судьбу Георгия, склад его

характера и особенности внешности, нельзя отделаться от ощущения некоего мистического вмешательства, «перемешавшего карты», — столь странным и необычным был этот взрослый мальчик, столь чужд родственным привязанностям и наследственным проявлениям. Невольно всплывает воспоминание о Мышастом — детском идоле Марины, пришельце из иного мира. Рассказ о нем напишет она чуть позже. И тогда именно определит глаза своего друга — именно такие глаза были у Мура — «бесцветные, безразличные и беспощадные».

Жизнь в деревне складывалась непросто, постоянное безденежье, трудности быта. Эфроны задолжали в соседнюю лавочку, зачастую в доме не было самого необходимого, а Цветаевой была нужна посторонняя помощь: после тяжелых родов она не поднималась почти две недели. Аля с готовностью помогала, но Аля и сама была еще ребенком.

Марина боготворила сына, восхищалась и гордилась в нем всем: его величиной и весом, большой головой, красотой, не детского лица, в котором находила сходство с Наполеоном, его умом, развитостью не по годам. Сын казался Марине необыкновенным, людям же посторонним — странным, даже неприятным. Одна из тогдашних приятельниц Цветаевой вспоминает о впечатлении, произведенном на нее десяти-одиннадцатимесячным Муром: «Вошли мы… в углу колыбель. Я очень люблю маленьких и тотчас же отправилась туда, заранее умиленно улыбаясь. Нагнулась — и остолбенела: синими, холодными, злыми глазами на меня смотрел красивый румяный холеный мужик лет сорока. Я, правда, помню до сих пор — я испугалась». На фотографии шестимесячного Мура лежит «голыш» — плотный, ухоженный — с неулыбчивым, не по-детски взрослым лицом и смотрит на вас неестественно светлыми, почти страшными глазами. С момента рождения Мур не был простым ребенком, но фанатично любившая его мать сделала все, чтобы усугубить эти странности.

Она готова была — и приносила — в жертву Муру все, вплоть до своей работы. Ради Мура она отрекалась не только от своей, но и от Алиной жизни. Как-то само собой разумелось, что и Аля должна жить заботами и интересами брата. Раз и навсегда установилось первенство сына в Мариниой жизни, и она не допускала мысли, что это может быть по-иному для членов ее семьи или друзей. Алина жизнь стала придатком, вспомогательным механизмом к выращиванию брата. «Девочка со Звезды», взращенная в тесной духовной близости с матерью, стала Марине менее интересна — с сиянием «Солнечного Мура» не потягаешься. Знакомые роптали: Марина превратила дочь в

домработницу, принесла ее в жертву сыну. Марину это возмущало. Конечно, а как иначе? Появилось на свет чудо — существо исключительное — центр мирозданья. Разве он не достоин жертв? В своей убежденности в высоком предназначении сына, в его царственной инородности, Цветаева не знала границ. В письме она рассказывала Пастернаку о первых шагах Мура: «Мур ходит, но оцени! только по пляжу, кругами, как светило». В этих словах нет и тени шутки.

Аля читает в саду, Мур нарочно становится так, чтобы заслонить ей солнечный свет. Аля терпеливо отгоняет брата, но он упорно мешает ей. Наконец, она строго просит: «Мур, отойди, ты мне заслоняешь свет!» Голос Марины прозвучал с возмущением:

— Аля! Не понимаю, как ты можешь сказать это такому солнечному созданию? Он же сам — солнце!

Чрезмерный материнский восторг обычно вызывал иронию, а Цветаева была неумеренна в своем восхищении сыном, ей в нем нравилось и то, что других отталкивало. С гордостью сообщает Цветаева, что пяти-шестилетнему Муру приходится покупать одежду, предназначенную двенадцатилетним французам, что на его большую голову не лезет ни одна шапка. Сын, с которым она теперь не расставалась, отныне становится средоточием мира Марины. Огненные порывы придуманных влюбленностей вылились в реальную — восхищенную любовь матери, произведшей на свет Наполеона или Короля-солнце.

«Ибо мимо родилась — времени!»

Зима во Вшенорах мучительно бесконечна. Марина теряет силы и терпение, борясь за выживание семьи. Плеснула из ведра ледяной воды в миску с мелкой черной картошкой. Взялась за нож, срезала пол синей картофелины, отшвырнула, уронила голову на стол. Глаза бы не видели этой норы, этой повседневной возни с гнильем!

Клаустрофобия на избу, нищету, изломанный, неблагозвучный чешский язык. А печь! Нет сил больше видеть печь. На дворе XX век! Марина и в самом деле выглядела изможденной — колодец, растопка печи, стирка, готовка на плите — и ведь — главное! Главное — надо исхитриться писать! Сохранить силу, порыв мысли!

— Все! Мочи моей больше нет! — Марина отшвырнула нож, с мольбой посмотрела на Сергея:

— Надо что-то менять! Иначе — только головой в колодец!

— Давно предлагаю: давайте перебираться в Прагу! Правда, с

маленьким ребенком трудно найти дешевую квартиру, но ведь все устраиваются. — Сергей и сам видел, что Марина держится из последних сил. — Завтра же поеду искать жилье.

— Не в Прагу! Надо ехать в Париж. Поймите, именно так я смогу больше выступать, печататься и зарабатывать. Пора быть на виду. — Руки Марины с ненавистью строгали картошку. — Интересно, сколько километров кожуры я изготовила за эти годы? Сколько белья перестирала?

— Да, пора в Париж. — Сергей кочергой выгреб из печи на совок угли. — Там — жизнь! Там издаются русские журналы и газеты. И ваше имя не раз появлялось в критических статьях и обзорах всех парижских изданий.

— Цветаева — известный поэт! Вне зависимости от симпатий или антипатий того или иного критика. Поверьте, я сумею за себя постоять. — Справившись с картошкой, Марина сполоснула в грязноватой воде руки и отерла о непременный фартук. Ухмыльнулась:

— «Известный крестьянский поэт — Цветаева». Кто поверит в утонченные стенания женщины с такими руками? Аля! Пора собирать хворост. Оставь Мурику соску и иди живее!

Аля недовольно стала одеваться, заранее морщась от мокрых снежных хлопьев.

— А начинать надо, знаете, с чего? — Сергей выпрямился. — Я давно придумал — с устройства в Париже вашего литературного вечера. Ведь вас друзья давно этим соблазняют.

— Похоже, наконец, соблазнили! Кажется, я соглашусь на предложение Черновых погостить у них.

— Верно! Пока поживете у Черновых. А я только защищу диплом — и к вам. Бросить картошку в суп? И знаешь, Марина, я ведь там тоже смогу зарабатывать!

1 ноября 1925 Цветаева с детьми приехала во французскую столицу; к Рождеству туда перебрался и Сергей Эфрон.

Они поселились у Черновых на улице Рувё — в рабочем районе неподалеку от скотобойни. Сергей Эфрон так описывал их жильем «Сижу в Марининой комнате на rue Rouvet… Внизу шумит Париж. Поминутно с грохотом проносятся поезда восточной железной дороги, которая проходит мимо нас на уровне четвертого этажа. За окном лес фабричных труб, дымящих и дважды в день худящих…» Зато дом был совсем новый, благоустроенный, трехкомнатная квартира довольно просторна, с центральным отоплением, газом и ванной. Цветаева давно не жила с таким комфортом. Дважды в неделю приходила домработница, убирала, помогала стирать пеленки. Эта «цивилизация» облегчала быт и высвобождала время. Правда,

было тесновато: вся семья «гостей» помещалась в одной комнате.

Несмотря на тесноту, Марина, покормив завтраком Мура, садилась к письменному столу, отключаясь от всего постороннего. В Париже в ноябре 1925 она закончила начатую перед отъездом из Чехии поэму «Крысолов» на сюжет средневековой легенде о человеке, избавившем немецкий город Гаммельн от крыс. Выманив их звуками своей чудесной дудочки, музыкант ждал от жителей города вознаграждения. Но скаредные гаммельнские обыватели отказались заплатить ему. Тогда, наигрывая на той же дудочке, он отвел их детей на гору, где их поглотила разверзшаяся земля. Здесь со всей мощью выразилась одна из центральных тем творчества Цветаевой — противопоставление поэта и сытого бюргерства. В истолковании Цветаевой, Крысолов олицетворяет творческое, магически властное начало, крысы ассоциируются с большевиками, прежде агрессивными и враждебными к буржуа, а потом превратившимися в таких же обывателей, как их недавние враги; гаммельнцы — воплощение пошлого, мещанского духа, самодовольства и ограниченности. «Крысолов» был опубликован в пражском журнале «Воля России».

Литературная жизнь Парижа била ключом. Открывались все новые эмигрантские издания. Цветаева встретилась и подружилась с издателями Шаховским и Святополк-Мирским — оба бывали на улице Руве и охотно печатали Цветаеву. Все обитатели черновской квартиры имели отношение к литературе, постоянно принимали друзей-литераторов. Здесь образовалось нечто вроде литературного салона — обсуждали литературные новости, читали и слушали стихи. Для всех Цветаева была признанным литературным мэтром.

Выступление Цветаевой состоялось в феврале. Это был, вероятно, первый ее персональный вечер после того давнего в Москве, в студии Халютиной, когда, в бабушкином длинном платье с камеей у ворота, со стихами юношески звонкими и Откровенными, она произвела неизгладимое впечатление на зрителей… Двадцать лет минуло, а сколько промелькнуло кадров в фильме с названием «Жизнь». Устроить выступление оказалось не простой задачей. Самим надо было найти помещение, заказать и «распространить» — то есть продать билеты, найти распорядителей.

Главное же условие успеха — собрать «нужную» публику, тех, кто влияет на общественное мнение — добиться присутствия влиятельных персон литературного и светского мира, способных устроить резонанс в прессе. Но именно этого Цветаева делать не умела — слишком гордая, категорически необщительная, не

желающая любезничать, притворяться. Дерзкая, непреклонная, она сумела испортить отношения со многими нужными людьми и получила несколько отказов от известных в литературном мире лиц. Зал для вечера нашелся — помещение Союза молодых поэтов и писателей. Невелик, но вполне пристойно выглядит и вместителен.

Друзья и близкие знакомые всячески способствовали подготовке вечера. Нашлось пожертвованное кем-то черное платье. Его Оля и Наташа Черновы перешили по, фигуре Марины и даже вышили у плеча символическую бабочку — Психею. В простом черном платье, с серебряными браслетами и перстнями героиня вечера выглядела вполне достойно.

Наконец, все было налажено, объявлена окончательная дата и программа вечера:

«В вечере Марины Цветаевой, имеющем быть в субботу 6 февраля, 79, рю Данфер-Рошро принимают участие: г-жа Кунелли, старинные итальянские песни; проф. Могилевский — скрипка; В.Е. Бюцов — рояль» — сообщали афиши, расклеенные Сережей.

За полчаса до начала в зале появилась первая публика. Марина стояла за сценой, нервно куря у металлической бочки с песком, под висящим над ней огнетушителем. Глаза ее сверкали, на щеках появился румянец. Впервые за все эти годы Сергей видел нарядную жену, с приведенным в порядок лицом — уж припудриться ее подруги заставили. Она казалась ему совсем юной, как тогда, когда в бабушкином платье читала про «кавалькады в чаще», а он шепотом повторял слова.

— Провалюсь, вытянет концертное отделение. Не могут же не заинтересовать парижанина старинные итальянские песни?

— Вы никогда не провалитесь, — заверил Сергей. — Вы лучше всех.

— Эти русские и еврейские барыньки, от которых зависит успех, только и ждут, чтобы меня освистали, — она загасила в песке папиросу. — Фифы обижены — какая-то Цветаева не захотела пресмыкаться перед ними. Вы бы видели эти торжествующие улыбки, когда они любезно отказывали мне, рассматривая сквозь лорнет! Говорили о неотложных делах, отъездах, приемах, к сожалению, намеченных как раз на это время. Толстая банкирша с оранжевыми буклями, супруга меценатствующего болвана, сообщила, что именно в эти часы принимает мастера для стрижки пуделей! Смеялась в лицо!

— И вы, надеюсь, смолчали.

Я держалась как жертвенный агнец: «Чрезвычайно сожалею! Надеюсь, вашего отсутствия никто не заметит!»

— Она тебе это припомнит.

— Не сомневаюсь! Но неминуемо все они останутся в дураках! — ударом кулака об стол Марина «припечатала свой приговор».

Успех превзошел все ожидания. Сергей восторженно писал другу: «За два часа до начала вечера толпа осаждала несчастного кассира, как на Шаляпина. Не только все места были заняты, но народ заполнил все проходы, ходы и выходы одной сплошной массой. До 300 чел. не могли добиться билетов и ушли. Часть из них толпилась во дворе, слушая и заглядывая в окна. Это был не успех, а триумф. М. прочла около сорока стихов. Публика требовала еще и еще. Стихи прекрасно доходили до слушателей. После этого вечера число Марининых недоброжелателей здесь возросло чрезвычайно. Поэты и поэтики, прозаики из маститых и немаститых негодуют. В Париже Марининых книг нельзя достать — разошлись. Наконец-то Марина дорвалась вплотную до своего читателя. Радуюсь за нее, надеюсь, что и с бытом удастся в скором времени справиться. Пока что он продолжает быть тягостным».

Цветаева была на высоте, успех пьянил — ведь она получила за вечер деньги, достаточные для того, чтобы вывезти детей на полгода к морю!

В конце апреля 1926 года Цветаева с детьми прибыла в маленькую рыбацкую деревушку Сен-Жиль-сюр-Ви (St. Gilles-sur-Vie). Ей хотелось к морю, которое она все еще надеялась полюбить, хотелось непременно вывезти детей, особенно Мура, из Парижа, дать отдых Сергею Яковлевичу. Отъезд в Вандею был возвращением к природе. Поначалу Цветаевой нравилось все: старинность быта и обращения жителей, суровость природы, пустынность просторов. В рыбацком поселке она снимала двухкомнатный домик с кухней. Воду надо было брать из колодца, зато были газ и крохотный садик, где учился ходить Мур. «Жизнь простая и без событий, так лучше. Да на иную я и неспособна. Действующие лица: колодец, молочница, ветер. Главное — ветер…» — о этих словах из письма подруге чувствуется горькое умиротворение. Цветаева тоже отдыхала — значит, много и хорошо работала.

Успешное выступление Цветаевой не прошло незамеченным: врагами она запаслась с лихвой. Зависть в среде литераторов-эмигрантов — самое ядовитое чувство. Пока она бродила по дюнам Вандеи, в Париже разгорелась вокруг стихов и выступлений Цветаевой ожесточенная дискуссия в прессе. Накинулись все, кто мог, не стесняясь в выражениях.

Тон задал мэтр критики Адамович, не стеснявшийся быть резким. Громкость, страстность, напор стихов Цветаевой он

называл искусственной экзальтацией и истерией, а прозу находил «кликушеской». Его раздражала цветаевская лексика, цветаевский синтаксис — псе, выходящее за пределы правил, не укладывающееся в рамки словарей и учебников: избыточность тире, вопросительных и восклицательных знаков. Ведущие эмигрантские критики и литераторы (З.Н. Гиппиус, Г.В. Адамович, Г.В. Иванов и др.) присоединились к мэтру. Высокая оценка цветаевских произведений поэтом и критиком В.Ф. Ходасевичем и критиком Д.П. Святополк — Мирским, а также симпатии молодого поколения литераторов (Н.Н. Берберовой, Давида Кнута и др.) не меняли общей ситуации. Защитники и поклонники Цветаевой среди парижских молодых — и немолодых — писателей были в абсолютном меньшинстве. Они считали, что для понимания Цветаевой должно пройти время. Она была поэтом не только вне политики, вне литературы, но и вне времени — любого:

Ибо *мимо* родилась Времени!..

Трудно представить время, которому Цветаева была бы впору. Ведь сам склад ее поэтического механизма строился на бунте против условностей, на отрицании норм и общепринятых «смелых веяний». Честность и верность себе — кость в горле любому времени.

Но слова Цветаевой «моим стихам, как драгоценным винам, настанет свой черед» — сбылись. Кое-что, как и предвещал Эренбург, не принявший Маринины стилизации под народные запевки и заплачки в длинных поэмах «Царь-девица» и «Молодец», все же завалялось «в пыли». Но количество цветаевских стихов, живущих и сегодня, — огромно. Ведь кроме усложненных форм и чувственных надрывов в них с чудодейственным проникновением выражены общечеловеческие чувства. Возникают образные «формулы», позволяющие непоэту дорасти до Поэта и по его «лекалам» свой мир вычерчивать.

Цветаева — поэт вне времени — на все времена. И во все времена она окажется не по росту многим. Что вполне понятно, ведь зачастую поэзия не соответствует стандартам.

Нелюбовь парижан и Цветаевой была взаимной. Если «парижан» отталкивала высокая романтика Цветаевой, устремленность прочь от земного ввысь, то и ей была чужда их приземленность, ограниченность их поэтического мира, полушепот салонных голосов. Красноречивый показатель: за 14 парижских лет Цветаевой удалось издать всего одну книгу…

— «Кликушеская проза»! — лучше бы он сразу признался, что

полный идиот, этот замшелый «мэтр»! — Марина рвала газеты и бросала в мусорное ведро.

— Марина, вы молчите, и они все более свирепствуют. — Сергей отбросил газету с очередным воплем, высмеивающим «цветаевскую истерику». — Неужели вас не волнует мнение читающей публики и критика совершенно безразлична? — Сергей не мог понять настроения Марины, веселившейся от нападок.

— О нет! Непонимание и несправедливость бесят меня. Но я не позволю никому из этой своры вывести меня из себя. Вам известен мой неизменный жизненный девиз: Ne daigne.

— «Не снисхожу». Это лучшая защита, возможность подняться «над». И оттуда плевать!

Сергея удивляло, что в нем самом нет прежде вскипавшего бешенства на всякую обиду, брошенную в адрес Марины. Приглядываясь к себе, он с удивлением начинал понимать, что их общий, неразделимый внутренне путь с Мариной разошелся. Как же и когда это случилось?

Сергей, росший слабым и впечатлительным ребенком, с детства боялся темноты, разбойников, мертвецов. Боялся спать в темной комнате или когда дома не было родителей. Он боялся обидеть, быть несправедливым, солгать даже мысленно, боялся помешать, быть навязчивым. Болезненная деликатность и крайняя ранимость сына беспокоила родителей с раннего возраста. «Перерастет» — считали все и упирали на необходимость лечить легкие.

В сущности, его спасла Марина. Своей огромной, как раз ему по мерке, — любовью. Своей заботой и преклонением. Первые симптомы разлада проявились в порыве Марины к Парнок, в увлечении Мандельштамом. Сергей, переросший прежние страхи, нашел в себе силы противостоять унижению отверженности — уйти в санитары военного поезда. И после — рвался воевать за Россию. Не проявил особой удачливости, но ни разу не струсил, не предал. Все это время они были с Мариной как сплетенные корнями деревья. Она поддерживала его, он жил и боролся ради нее, прощая измены. Множество эпизодов Марининых страстей прошли по «статье» платонического «содружества душ», издержек поэтических пожаров. Сергей старался понять и объяснить Маринину особенность «питаться влюбленностями», как потребностями поэтического механизма «возгорания». Он прошел войну с Мариной в сердце, каждый миг спасаясь мечтой о мгновении встречи. Когда же через пять лет мучительной разлуки встреча эта произошла — как больно Сергей «разбился» о Маринино равнодушие, увлеченность другим. А ведь только она, как поэт, пользовалась привилегией «разбиваться вдребезги»!

Надежды Сергея на спокойную семейную жизнь в эмиграции оказались наивны. Марина уже шла по своей дорожке. Сплетясь корнями со своим суженым — ветвями тянулась к свету новых увлечений. Пожар любви с Родзиевичем едва не спалил ее дотла. Но какие стихи выросли на пепелище! Марина спаслась — ушла в обожание сына. А Сергея история с Родзиевичем сломала. Эфрон вдруг понял, что является лишь придатком Марины — знаменитого Поэта. Придатком ее воли, ее характера, поступков, решений. И лишь одно может поднять его в ее глазах — освобождение. Собственная, раздельная в мыслях и душе жизнь, сопоставимая с жизнью Марины. Поэта и актера из Эфрона не вышло — но ведь как лихо идут дела в социальной сфере! Политика — вот истинное дело Сергея, наследственного политика, человека боевой биографии и незапятнанной чести. Марина поймет, Марина оценит. Не может не оценить, когда он сумеет принести родине реальную пользу…

— Извините, мсье, двое детей, большая семья… Это слишком низкая оплата. — Перед ним захлопнулась дверь очередной квартиры. Надо было подыскать на зиму жилище подешевле, в каком-нибудь рабочем пригороде. Сергей обходил подчеркнутые в газете с объявлениями адреса, и везде одно и то же — квартира оказывалась слишком дорогой для них. Даже те, что пугали ужасающим убожеством. Вспомнились дни, когда они с Мариной бегали по Москве, выбирая жилище поэкзотичней, и наткнулись на квартиру в Борисоглебском! Оплата ведь не смущала, о деньгах можно было не думать… Прочь воспоминания — впереди жизнь. Сергей чувствует, что сумеет выбраться из норы нищенства, вырваться из жалких трущоб. Надо только мыслить позитивно — это ему всегда удавалось.

Он брел по Парижским улочкам, полным печальных людей с глазами «разбившихся» вдребезги эмигрантов, и ощущал себя иным, предприимчивым, сильным. Он чувствовал, что сумеет подняться над ними, превратить свою обидную ненужность в деятельность яркую и полезную.

«Дай мне руку — на весь тот свет!»

Поиски Цветаевой родственной души, равной ей по инакости, в мире не-поэтов зачастую велись тщетно и, несмотря на всю генерируемую ею на «растопку» энергию, кончались крахом. Острый критический ум Цветаевой наверняка заранее просчитывал тщету такой попытки, но желание «обманываться», неутолимая «жажда на людей» была сильнее. Судьба подарила ей щедрое вознаграждение — в 1922 году, с первым письмом

Пастернака и его книгой «Сестра моя — жизнь», начались самые серьезные и значительные в жизни Цветаевой отношения, синтезировавшие глубинное человеческое и профессиональное взаимопонимание.

Разгорались и начинались они в период романа с Родзиевичем, переписки с Бахраком, но имели особый статус: святого и неприкосновенного. В течение 13 лет в отношениях Цветаевой и Пастернака происходили значительные метаморфозы. Стремление к неразрывной дружбе переходило в страсть, жажда творческой близости воспаряла к мечте о совместной жизни. Грандиозный эпистолярный роман то казался лишь эфемерным полетом фантазии, то, похоже, был близок к вполне реальному осуществлению.

Планы встреч строились так вдохновенно и так горячо продумывались, что удивляешься их несбыточности. Два раза не заметили друг друга в Москве, дважды разминулись в Берлине, не встретились, долго обговаривая желанное свидание, летом 1925 года в Веймаре, городе Гете, обожаемом обоими. В 1927-м планировали вместе ехать к Райнеру Мария Рильке — тому, кто в современности олицетворял для них Поэзию. Рильке умер в последние дни 1926 года.

Заочные, заоблачные отношения с Пастернаком стали существеннейшей частью жизни Цветаевой — негаснущим пламенем вдохновения, желанием восхищать друг друга, внутренним мотором творчества, защитой от давящей нелепости быта, от непонятости, обид, разочарований.

Пастернак был лучшим из адресатов, с которым она могла говорить, как с самой собой. Она воспринимала его как своего двойника и была уверена, что он понимает и ценит все тонкости ее поэтического языка. Эпистолярный монолог Цветаевой, обращенный к Пастернаку, видоизменялся, наполняясь то восторгом, то внушением, то страстным призывом, то рыданием. Накал страсти достигает предела в одном из самых драматических цветаевских циклов — «Провода»:

О по каким морям и городам
Тебя искать?
(Незримого — незрячей!)
Я проводы вверяю проводам,
И в телеграфный столб упершись — плачу.

По сравнению с Цветаевой Пастернак гораздо скупее и сдержаннее выражает чувства в стихах: между 1926 и 1929 годами он написал ей три стихотворения, сделал Марину

прообразом героини своей повести. Марина же — засыпала его письмами, убеждая, что она — идеальная пара, оторванная от него волею судьбы. Она уверяла его и себя, что они могут быть счастливы; «Борис, Борис, как бы мы с тобой были счастливы — и в Москве, и в Веймаре, и в Праге, и на этом свете, и, особенно, на том, который уже *весь в нас*». Бурные и совершенно эфемерные мечты о совместной жизни, без каких-либо практических планов — где жить, каким об» разом оторваться от реальности? Ведь у каждого семья, дети, они разделены границей, которую с каждым годом все труднее преодолеть? Изначально эти планы были предназначены лишь для существования в ее фантазиях:

> Да, в другой жизни — наверняка:
> Дай мне руку — на весь тот свет!
> Здесь — мои обе заняты.

Цветаева повторяет это неоднократно. Ее отношения с Пастернаком воспринимались как мистический брак, в котором вдохновенье связывает крепче любых других уз. Она была уверена, что он принадлежит ей, эта уверенность держала, помогала противостоять повседневности. Виртуальный «пожар» не вклинивался в ее семейную жизнь, он полыхал на другом уровне Бытия. Цветаева посвятила творчеству Пастернака три статьи: «Световой ливень», «Эпос и лирика современной России (Владимир Маяковский и Борис Пастернак)» и «Поэты с историей и поэты без истории». В январе 1932 года Цветаева закончила «Поэт и Время» — с докладом под этим названием она выступила 21 января.

Увы, Цветаева не понимала, как ограничена свобода Пастернака его положением внутри советской системы, как сложны отношения в семье. Но она отлично знала, что не решится оставить Сергея. Даже в те годы, когда они стали отдаляться друг от друга.

И все же, когда в 1931 года Цветаева услышала, что Пастернак разошелся с женой, а значит — собрался жениться на другой — горячо полюбившейся, удар был сильнейшим. Она прекрасно понимала, что совместная жизнь с Пастернаком для нее невозможна. Но его новая женитьба, а значит — всепоглощающая влюбленность — ощущалась изменой тому высочайшему, что связывало только их двоих. Точку в периоде страстного взаимопритяжения человеческого и творческого поставило глубокое разочарование невстречи.

В конце июня 1935 года Пастернака, находящегося в состоянии глубокой депрессии, по личному распоряжению

Сталина чуть ли не насильно привезли в Париж на Международный конгресс писателей. Он провел в Париже 10 дней. Где-то в кулуарах конгресса или в гостинице он виделся с Цветаевой и ее семьей. Цветаева назвала это свидание «невстречей».

Это была грандиозная «невстреча»: больной Пастернак, ощущавший за спиной дыхание соглядатая, и пылкая Марина, ждущая откровений. Он пытался объяснить ей что-то о своей болезни, про вызов Сталина, про какие-то «ограничения». И озираясь и сипя — исхитрился шепнуть про ужас несвободы, выплеснуть заклятие — «не приезжай!» Вперемешку с фальшивыми фразами о конгрессе.

Она не поняла ничего. Разве могла парижанка понять, что невнятное бормотание Бориса Леонидовича в коридорах конгресса вызвано не столько изменением чувств к ней, сколько маячившими за спиной стукачами. Гордая женщина почувствовала лишь главное — ему сейчас не до нее. Не делая попыток больше увидеться с Борисом Леонидовичем, она уехала с Муром к морю за неделю до отъезда Пастернака из Парижа. В том состоянии, в каком Борис Леонидович предстал перед Цветаевой, он был ей неинтересен. Очевидно, охлаждение было взаимным: Пастернак влюблен в другую женщину, его уже перестало восхищать то, что пишет Цветаева; эволюция его собственного творчества уводила его в другую сторону. Ведь ко времени «невстречи» прошло тринадцать лет с начала их переписки — оба изменились. Но он оставался другом и как друг пытался предостеречь. Не понимая, что она — не сможет понять его иносказания!

Цветаева потеряла последнего единомышленника. Настоящий разговор между ними не состоялся. Цветаева не посвятила его в конфликт, раздиравший ее семью, Пастернак не смог сказать ей о том, что происходит в Советской России и с ним самим. Цветаева, живущая в ненавистном Париже, не могла понять, что значит «депрессия» и «страх» для советского человека. Даже если они с Пастернаком пытались что-то сказать друг другу, то «мимо», не слыша и не понимая один другого. Цветаева уехала из Парижа с тяжелым чувством — может быть, окончательной утраты. Впереди была еще встреча — через несколько лет в Москве.

«Нищеты вековая сухомять»

Кончилось лето, Цветаева с семьей переехала из Вандеи в Бельвю под Парижем; после улицы Руве они никогда больше не жили в городе и за следующие 12 лет сменили еще пять

пригородов и шесть квартир — одна другой хуже, ведь финансовое положение семьи было критическим. Это были рабочие задворки и жалкие жилища, не имевшие никакого отношения к городу с манящим названием Париж. Марину не публиковали, творческие вечера стали редкостью. Помогали друзья, которых, несмотря на ее постоянные заявления об одиночестве, было не так уж мало. Марина, усмирив свою гордость, принимала помощь — ведь она сама всегда делилась последним и знала, что именно так поступила бы с нуждающимися.

Судьба этой рожденной в благополучии женщины возложила миссию добытчицы на ее хрупкие плечи. Заработок зависел не столько от ее работоспособности и выдачи материала «на гора» — работала Марина много и постоянно. Самым сложным было пристроить стихи в журнал и исхитриться получить за публикацию деньги.

Отношения Цветаевой с редакциями складывались неоднозначно. В довоенной русской эмиграции существовало множество разного толка и направлений газет, журналов, сборников, альманахов. Одни сменяли другие, конкурировали и открыто враждовали друг с другом. Цветаеву печатали неохотно, а с теми, кто самовольно сокращал ее тексты, она отношения прерывала. Гонорары были крошечные, и те приходилось вымаливать «Христа ради» у скаредных издателей. И все же гордая Марина ходила, сидела под дверями бухгалтерий, чтобы не только прокормить семью, но и обучать детей в хороших школах. А ведь она знала себе цену. И другие знали, тем с большим удовольствием, зачастую, заставляли унижаться. Помощь друзей, знакомых и незнакомых, наряду с чешским «иждивением», была основным реальным «доходом» Цветаевой. Д.П. Святополк-Мирский несколько лет присылал Эфронам деньги на квартиру — две трети-их взноса. Постоянно помогали приятельницы и даже никогда не видавшие Цветаеву люди не только хлопотами о ее литературных и житейских делах, но финансово. Раз или два передавал с оказией для Цветаевой некие суммы Борис Пастернак.

Нашелся однажды меценат, поклонник поэзии Цветаевой, субсидировавший издание книги «После России. 1922–1925». Той единственной, что удалось напечатать в Париже за 14 лет.

В поисках заработка в тридцатые годы Цветаева пыталась все же войти во французскую литературу, не поступаясь своими принципами: переводить свои стихи и прозу. Первой французской работой ее стал перевод «Молодца». Ей устроили чтение поэмы в литературном салоне. Во все уши жужжали хвалебные слова — но

никто не помог напечатать поэму. У нее появилась идея перевести к юбилею Пушкина любимые стихи и выпустить небольшую книжечку переводов. Удалось пристроить в журналы лишь несколько из них, за гроши. Можно представить, как враждебен был Цветаевой сытый город ленной, нарядной жизни, загнавший ее в вонючие пригороды, в жалкие конуры. Не поделившийся ни граном своего воспетого щедрого радостного великолепия. Щедрый на унижения и злобу. Отвергавший ее стихи, презиравшей в Цветаевой творца. Поэт Цветаева Парижу оказалась не нужна — как она и предполагала. Да ведь и она не пыталась подстроиться — стать «парижским» автором, воспевая версали, химер или оплакивая эмигрантские страдания. За 13 лет Цветаева не посвятила Парижу ни строчки — она до него не снизошла.

Наиболее реальной возможностью заработка в Париже были литературные вечера — мучительное «мероприятие» для Марины, а не творческий праздник. После переезда из Чехии Цветаева ежегодно устраивала по два-три, а в 1932-м удалось, превозмогая себя, организовать даже четыре вечера. Авторский вечер требовал больших усилий и забот: достать помещение — получше и подешевле, дать объявление в газеты, отпечатать — тоже подешевле — и главное — удачно распространить билеты. Обычно в подготовке к вечеру принимала участие вся семья, в составлении и развозке билетов помогали Аля и Сергей Яковлевич, в день выступления Аля сидела в кассе. А самое унизительное — распространение билетов среди влиятельных персон приходилось брать на себя самой Цветаевой. Успех зависел от дорогих билетов, которые следовало лично или через друзей и знакомых предлагать меценатам, литературным и окололитературным дамам. Для богатой эмиграции это была «благотворительность». Здесь многое зависело от умения нравиться, быть приятной, умения завязывать и поддерживать нужные связи. Дух противоречия Цветаевой восставал против всякой неискренней попытки пробиться, завязать полезное знакомство. Зажав гордость в кулак, она все же пыталась сделать все возможное.

Приличный сбор от удачного вечера позволял внести плату за несколько месяцев за квартиру, представлявшую главную тревогу. Иногда на деньги от выступлений даже можно было организовать летний отдых, приодеть детей или оплатить школу Мура.

В 1931 году Цветаева впервые решилась выступить одна — без концертной программы; она читала «Историю одного посвящения», а во втором отделении — обращенные к ней стихи Мандельштама и свои стихи к нему. Исключительный случай,

возможно, во всей биографии Цветаевой: она уговорила себя надеть красное платье, перешитое из подаренного ей Извольской полувековой давности платья ее матери. Платье очаровало Марину ностальгическим покроем и цветом. «Оказалось, что я в нем «красавица», что цвет выбран (!) необычайно удачно и т. д. — Это мое первое собственное (т. е. шитое на меня) платье за шесть лет», — радовалась она. Вечер прошел с успехом, и «История», и стихи, и проза понравились. После это-, го Цветаева почти всегда выступала одна. Она читала стихи и только что написанную прозу, говоря, что прозу читать душевно гораздо легче, чем стихи. И слушали ее лучше.

Она старалась составить программу из доступных пониманию и способных нравиться залу произведений. Но до большего контакта «не снисходила». Демонстративно следовала все той же манере «незрячести», выставленного «на-позор» объекта любопытства: смотрела рассеянно поверх голов, не заигрывая с публикой ни тоном, ни улыбками. Ах, как хотелось ей бросить в эти лица на дорогих местах — лоснящиеся чувством собственного превосходства (ведь они изъявили желание послушать поэта!) — с размаху влепить хлестким ударом другие стихи. В сверкание бриллиантов, холеные усики, наглые глаза «законодателей моды», уже назначивших после концерта ужин в дорогом ресторане:

Нищеты вековечная сухомять!
Снова лето, как корку сухую мять!
Обернулось нам море мелью:
Наше лето — другие съели!

Нами — лакомящиеся: франк за вход,
О урод, как водой туалетной, — рот,
Сполоснувший бессмертной песней!
Будьте прокляты вы— за весь мой

Стыд: вам руку жать, когда зуд в горсти, —
Пятью пальцами — да от всех пяти
Чувств — на память о чувствах добрых —
Через все ваше лицо — автограф!

Постоянное бегство от нищеты становилось привычным, но не прибавляло ни сил, ни света. Марина все реже улыбается и шутит. Зато легко стреляет ядовитой иронией, соскальзывающей к грубости, раздражается, не сдерживая брани.

Она мужественно сражалась с бытом, переезжала с квартиры

на квартиру, в нору подешевле, сама стирала, готовила, штопала, перешивала одежду, экономила на продуктах, на топливе, на транспорте. Аля была способной художницей, в разное время она занималась с Н.С. Гончаровой, в студии В.И. Шухаева, училась в Ecole du Louvre и Art et Publicite. Цветаеву радовали способности детей, она гордилась отличным русским языком Мура, его интересом к французскому, которому он в шесть лет выучился самостоятельно, его «дивной», «блистательной» (цветаевские определения) учебой — он даже получил школьный «орден» за успехи. Лет до 18–20 гордилась она и Алей: ее пониманием, умом, способностями, ее безропотной помощью… Маленькие семейные радости скрашивали жизнь: походы в кино, которое Цветаева очень любила, собственный фотоаппарат — она увлекалась фотографией. Бывали изредка гости, Цветаева поила их чаем или дешевым вином, угощала стихами. На Масленицу пекла блины, на Пасху — куличи. На Рождество обязательно была елка, и — готовились, пусть самые незатейливые — подарки друг другу. Долгие годы на елке появлялись украшения, сделанные своими руками еще в Чехии. Аля в своем училище получила приз за лучшую иллюстрацию и вместе с призом — бесплатный курс гравюры! А когда подруга семьи подарила ей деньги на подарок, Аля купила шерсть и связала Марине и Муру красивые свитера по самым модным картинкам.

Радостные зарисовки семейной жизни, их все меньше с каждым годом. Кошелек предсмертно тощ, заработать почти невозможно. Марина выбилась из сил, у Сергея никак не складывается задуманная в Праге карьера. Осенью 1930 года, после возвращения семьи из Савойи, стало совсем тяжко: общий экономический кризис резко сократил издательские возможности и частную благотворительную помощь. Чешская стипендия уменьшилась наполовину. Эфрон, окончивший университет, оказался без зарплаты и без профессии. Самому Сергею Яковлевичу немного было нужно, материальной нужды он как-то не замечал и почти ничего не мог сделать, чтобы обеспечить семью самым насущным — не обладал ни практической жилкой, ни деловой хваткой. После Савойи поступил в школу кинематографической техники — это было так же непрактично, как и другие его начинания. Но когда в марте 1931 года он окончил школу с дипломом кинооператора, Марина ликовала — она твердо верила в его талант и способности в технике и теории кино. Работы, однако, новоиспеченному специалисту найти не удалось. В конце года Сергей устроился на тяжелую физическую работу на строительный комбинат, но скоро потерял и это место — не потянул по здоровью. Аля зарабатывала вязанием,

мастерила игрушечных зайцев и медведей, рисовала картинки для ателье. Все это давало ничтожно мало, Цветаева оставалась главным добытчиком. И основным работником по дому, ибо Аля все больше отсутствовала; она училась и много времени проводила в Париже. Как любой молодой девушке, ей хотелось развлечений, радости — своей жизни, ее начала тяготить тяжелая домашняя обстановка, требования и упреки матери. Марина с болью ощущала, как отходит от нее дочь.

В 1930 году Цветаеву потрясло сообщение о самоубийстве Маяковского, с которым она встречалась еще в Москве. Следила за всем, что он пишет, и, вопреки эмигрантскому большинству, считала его настоящим поэтом, восхищалась силой его дарования. Ее открытое письмо к нему осенью 1928 года стало поводом для обвинения Цветаевой в просоветских симпатиях и разрыва с нею части эмигрантского сообщества, В частности, ежедневная газета «Последние новости» прервала публикацию стихов «Лебединого Стана» и почти пять лет не печатала ничего цветаевского. Для нее это оказалось тяжелым материальным ударом; Цветаева величала Маяковского Поэтом — явлением более значительным, нежели любые политические, социальные, сиюминутные интересы. Позже в эссе «Поэт и время» и «Искусство при свете совести» Цветаева подчеркнет исключительность пути Маяковского: «Брак поэта со временем — насильственный брак. Брак, которого как всякого претерпевающего насилия он стыдился. И из которого рвался». «Двенадцать лет подряд человек Маяковский убивал в себе Маяковского-поэта, на тринадцатый поэт встал и человека убил».

Затем тяжелая потеря — в августе 1932-го в Коктебеле умер Максимилиан Волошин. Нелепо погиб в метро молодой поэт Гронский, влюбленный в Цветаеву. Она пишет маленькие поэмы в память Маяковского, Волошина и Гронского. А потом в ситуации, совершенно не подходящей для монархических настроений, Цветаева берется за огромную работу над Поэмой о Царской Семье, подробно и увлеченно собирает материал.

Конечно же, не взрыв монархических настроений, Цветаевой несвойственный, а взрыв негодования и трагическая судьба Царской Семьи вдохновили ее на этот труд. Параллельно она работает над поэмой «Перекоп» по записям Сергея, над «Стихами к Чехии». А вскоре с увлечением переходит к воспоминаниям о Музее и об отце, создавшем его. Возникает желание — воскресить! Свой мир, свое время, навсегда ушедшую эпоху, ее людей. В удивительно живой прозе Цветаевой история русской культуры сплелась с историей иловайско-цветаевско-мейновской семьи. Параллельно работе над поэмой в памяти Цветаевой

всплывали новые эпизоды «семейной хроники», порождая новые эссе и зарисовки. Ей были дороги любые детали, мелочи того исчезнувшего мира, запечатлеть который Цветаева считала своим дочерним, человеческим и писательским долгом.

Естественное желание сорокалетней Цветаевой — оглянуться с высоты прожитых лет на пройденные годы. Прожитая жизнь требовала осмысления — оказалось, эти размышления лучше всего способна передать проза. Недаром двадцативосьмилетний Пушкин — полушутя — писал:

> Лета к суровой прозе клонят,
> Лета шалунью рифму гонят…

Проза Цветаевой не сурова, насквозь пронизана ностальгией, поэзией. Если и возникают споры по поводу ее документальности, то насчет ее искренности и глубины вопросов нет — мир, созданный или возрожденный Цветаевой в прозаических произведениях, мы принимаем за самую честную подлинность, с верой и наслаждением впитываем его живое, легкое дыхание.

«Неподражаемо лжет жизнь»

Жизнь не радовала Цветаеву. А все больше пугала теми вопросами, ответить на которые не мог никто.

Неприязнь эмигрантской среды — беда малая, Марина не сомневалась, что встречи с фанфарами не будет нигде. Где бы то ни было «я и там не нужна, и тут невозможна». Тоска по родине — хворь, увы, неизбывная и неизлечимая. Нищенство, унижения — мука, с которой все-таки можно справиться. Дела обстояли куда хуже. Цветаева столкнулась с бедой, которую не ждала, не воспринимала всерьез: рушилась стена преданности ее близких, от нее отвернулись, зажили собственными интересами самые родные, защищавшие ее «тылы» люди. От матери все больше отходила Аля. Рушился необратимо тот союз инакостей, который был заключен с Сергеем в юности до скончания века. Разлом проходил по самому болезненному месту — принципам чести и совести. Столько лет они объединяли их. А тут — произошел разрыв. Причем, вопреки всяческим пережитым ими пыткам судьбы, самой невыносимой оказалась пытка идеологической несовместимостью. Цветаева оказалась совсем одна, крошечным островком гордого одиночества, провозгласившего со всей твердостью несгибаемого характера неприятие власти коммунистов. Ее близкие — сплоченные, сильные своим

единомыслием — новую Россию приветствовали. Мало того — рвались, вопреки Марине, ее гражданами стать, в страну, предавшую их идеалы, вернуться.

У Марины не было аргументов политолога, аналитика социальных процессов, чтобы аргументированно разбить иллюзии Сергея — только чутье и незыблемая вера *в* то, что власть масс не может не зиждиться на уничтожении личности. Пережив годы революции и Гражданской войны, Цветаева не сомневалась — порожденное ими зло не способно самоликвидироваться, а лишь удесятерить силы. Она знала от тех, кто вернулся в СССР, что ее выводы отнюдь не фантазия — страна жила в бедности, в страхе, в глобальной лжи.

Семейный разлад стал очевиден не сразу, так что Марина, погруженная в бытовые заботы и творчество, не заметила катастрофы. Ведь они с Сергеем дышали одним воздухом, никогда не расходясь в оценке даже мельчайших событий.

И к Эфрону, и к Марине понимание трагичности того, что случилось с Россией, пришло еще до окончания Гражданской войны. Он оставался белогвардейцем и монархистом все годы жизни в Праге. Она — женой Добровольца-ветерана. Оба признавали трагичность Белого движения, защищая саму идею. На всем протяжении Гражданской войны Эфрон вел записи — и по ним Цветаева в 1926 начала писать поэму «Перекоп». В начале двадцатых годов в Праге они надеялись издать книги по записям военных лет: Цветаева — «Земные приметы», Эфрон — «Записки добровольца». Ни та, ни другая книги не состоялись, но авторы опубликовали из них отдельные очерки, охватывающие разные этапы и аспекты Гражданской войны. Одновременно с прозаическими записями создавались стихи «Лебединого Стана». Все вместе объединено общей нравственной, этической установкой. Мироощущение Цветаевой и Эфрона настолько близко, что их произведения о Гражданской войне и революции могли бы составить общую книгу.

В 1924 году в Праге Эфрон напечатал в «Современных записках» статью «О Добровольчестве», в которой пытался осмыслить уроки движения, причины его поражения, ответить на мучительный вопрос: кто такие добровольцы и где «правда» Добровольчества? Проанализировав коротко историю движения, Эфрон определил главные причины поражения Добровольчества: трагический отрыв от народа («мы не обрели народного сочувствия») и разложение внутри Белого движения. В результате он пришел к горькому выводу: под идейным знаменем Добровольчества «было легко умирать… но победить было трудно». И все же — смириться с поражением он не призывает.

«Очистившись от скверны, Движение должно ожить и с обновленными лозунгами продолжить борьбу за Россию». «С народом, за Родину!» — так будет теперь звучать по мнению тех, от имени которых говорил Эфрон, обновленная идея. А почти вся молодежь эмиграции была готова встать под знамена «возрождения России». Вернее — Евразии (о чем позже).

Пражский журнал «Своими путями», одним из редакторов и организаторов которого был еще учившийся тогда в университете Эфрон, первым в эмиграции обратился к советской реальности с желанием узнать и понять ее. Отдельные номера журнала ставили целью внимательно вглядеться в образ современной России, почувствовать ее душу. Доказывать, что Россия и ее власть — не одно и то же. «Только навеки ослепший не видит полного нового содержания имени России, проступающего через замазавшие его буквы СССР…» Большая часть эмиграции страстно хотела верить в оптимистический миф, цепляясь за каждое доказательство его правоты: перепечатанные журналом из советских изданий произведения известных писателей, статьи, посвященные разным сторонам советской жизни, как всем ныне известно — полные ура-патриотизма, воспевания успехов социалистического строительства. А если так, то нужно возвращаться на родину?

В статье «О путях к России» Сергей Эфрон даже попытался определить условия, при которых, по его мнению, возможно возвращение в Россию. Вопросы эти были жгуче-актуальны для многих молодых эмигрантов, рвущихся на родину. «Россия там, — считает Эфрон, — а не здесь. Она — моя сила питающая, без меня проживет, я же без нее погибну. А поэтому, чтобы жить, нужно отказаться от себя ради нее и ради жизни».

Издатели журнала «Своими путями» полагали, что если пристально всмотреться и лучше понять теперешнее лицо России, нельзя не понять: большевизм на краю вырождения. Непримиримым препятствием к примирению с большевиками Эфрон в статье «Эмиграция» считает лишь память о погибших товарищах. «Возвращение для меня связано с капитуляцией. Мы потерпели поражение благодаря ряду политических и военных ошибок, м. б. даже преступлений. И в тех, и в других готов признаться. Но то, за что умирали добровольцы, лежит гораздо глубже, чем политика. И эту свою правду я не отдам даже за обретение Родины. И не страх перед Чекой меня (да и большинство моих соратников) останавливает, а капитуляция перед чекистами — отказ от своей правды. Меж мной и полпредством лежит препятствие непереходимое: *могила Добровольческой Армии*». Это написано в 1925 году.

В следующем году в Париже Эфрон стал соредактором

журнала «Версты», близкого к крепнущему движению «евразийства».

— Знаешь, мне все чаще и чаще кажется: «Евразийство» — это серьезно. Нет! Я убежден! — Радовался Сергей, обходя с тарелкой супа стирающую в тазике посреди прихожей Марину.

— И что хотят эти азиопы? — Она подтолкнула коленом шаткий табурет, так и стремившейся сбросить с себя таз.

— Евразийцы, Марина! — горячился Сергей. — Понимаю, ты упорно ставишь себя вне политики, но хоть приблизительно представлять, что думают передовые умы эмиграции, необходимо!

Марина вздохнула. Если ее и интересовала точка зрения на вопрос евразийства, то только в связи с оплатой труда Сергея.

— Изложи толково и покороче.

— Мы отстаиваем идею самобытности России. Хотим создать концепцию русской культуры как неевропейского феномена, который обладает в ряду культур мира уникальным соединением западных и восточных черт, а потому одновременно принадлежит Западу и Востоку. Но в то же время не относясь ни к тому, ни к другому, «Евразия», особый срединный материк между Азией и Европой и особый тип культуры.

— Особый. Это несомненно. Таких кровавых переворотов и братоубийственных войн не желала бы никому в мире. И унеси тарелку! Надо обедать вместе со всеми за столом!

— Пойми! Переворот — это катастрофа — да! — Сергей вернулся из кухни. — Но и катарсис! Революционная катастрофа, обнажившая трещину раскола в русской и европейской культуре, явилась тем катарсисом, который поднял Россию и русских на новую ступень исторического самосознания, оказавшуюся во многом недоступной европейцам.

— И где это сознание — у большевиков? — Марина неистово терла щеткой мокрые брюки Мура. — По этому поводу у тебя хорошее настроение? А кто будет выводить на новую ступень исторического сознания этих «волкодавов»?

—. Пропускаю твои шутки. У меня хорошие новости, дорогая, — меня избрали руководителем левого крыла парижского евразийского отделения!

— Что-что? — Марина разогнулась, смахнула со лба челку. — Мой муж возглавил крыло азиопов! Забавно. — Она швырнула отжатую майку в ведро. — Надеюсь, вы не станете затевать революции?

— Мы говорим о национальной идее пути развития России. Разрабатываем теорию. Миссия России — вобрать в себя культурные достижения малых народов, расположенных на ее

территории, а также все лучшее, что есть в азиатской культуре в целом…

— Прекрасные химеры! Я все поняла. Деньги платить будут?

— Это общественный союз. Но когда выйдет журнал…

— После того, как чехи урезали мое пособие наполовину, кто-то у нас или должен просить милостыню, или зарабатывать.

— Все наладится, потерпи, дорогая. Уж в «Евразию» я твердо верю!

Поначалу увлечение Сергея движением евразийцев радовало Марину. Именно таких честных и преданных людей не хватало в антикоммунистическом крыле этого течения.

Сергей полностью отдавался увлекшему его делу, потому что ничего более важного для себя, чем будущее России, не воображал. Он почти не бывал дома, пропадая в издательстве. И тут катастрофически четко определилась новая проблема: вышла из-под контроля Аля.

Она помогала по хозяйству все с большей неохотой. Девочка рвалась к общению в компании молодых, хотела дышать широкой грудью, а не кухонными и хозяйственными заботами. Главное же, лет с 12-ти мать, столь горячо любимая с детства, стала раздражать ее. Непреклонность Марины, своеволие, известный семейный деспотизм, не терпящий оговорок, натянутые отношения с благожелательно настроенными людьми, с которыми Марина могла бы вести себя поделикатнее. Нежелание «быть милой», «любезной», «снисходить», даже в обстоятельствах, от которых напрямую зависело благополучие семьи. Отчаянная необдуманность поступков, в конце концов — демонстративно запущенная внешность небрежно стареющей женщины — все это раздражало Алю. Взглянув на Цветаеву, сразу понимали, что в ней нет ни капли желания приукрасить себя — и без прикрас великую. Великую и нищую. Разве здесь дешевыми духами и платьем с распродажи обойдешься? Уж лучше демонстративное небрежение женскими уловками и приманками украшательства. Иронию по отношению к ухищрениям других дам, старавшихся не терять привлекательности под бременем бедности и возраста, Марина не скрывала.

— Эта твоя знакомая, признаюсь, нелепо выглядит в румянах и шляпке. Но… Она старается остаться женщиной, — прокомментировала Аля встреченную на улице даму.

— Стать смешной? Ты этого от меня добиваешься, подсовывая какие-то замазки и краски для лица?

— Можно хотя бы попробовать пользоваться питательными кремами или чуточку припудривать нос и подкрашивать губы, — осторожно начала Аля. Ведь возраст давал о себе знать в условиях

переутомления, постоянной сигареты и мучительной нищеты с утроенной силой.

— Премного благодарна! Любимая дочь нашла способ спасти меня от переутомления. — Они вошли в свой вонючий подъезд. — Тащи сумки и готовь ужин сама. — Опередив Алю, Марина вспорхнула по лестнице. Она была поджара, легка, с темным мрачным лицом без возраста, даже «золото волос» потускнело под напором седины. Аля, боготворившая каждую черту своей матери, больно переживала исчезающий, любимый с детства облик. И это постоянное раздражение от Мариниой непреклонности по любому вопросу!

— Ладно, пусть не для себя, для отца постарайся, которому тоже больно смотреть на безвременное увядание любимой жены, — Аля выгрузила на стол еду. Отпор неожиданного негодования отшвырнул ее к стене. Там, пригвожденная Мариниым презрением, она выслушала отповедь великого Поэта, надрывающегося над тазами с грязным бельем вовсе не за тем, что бы на сэкономленные на прачке гроши купить пудру. И не для того, чтобы соблазнять мужа, преданного ей не за локоны, а по родству души! Марина вытряхнула в раковину овощные отбросы, которые им удалось скупить за гроши на закрытии рынка.

— Детям дать хорошее образование — вот главное правило, завещанное мне родителями. И я останусь ему верна, даже если буду голодать и ходить голая! А Сергей Яковлевич этого и не заметит, поскольку в мою сторону давно не смотрит.

Аля убежала в комнату, захлопнув за собой дверь.

— Добрый вечер, дорогие дамы! — в прихожую, опасливо озираясь, вошел Сергей. Снял шляпу, измятый макинтош, положил под вешалку ветхий портфель, служивший, видимо, не одно десятилетие какому-нибудь преподавателю местной гимназии. Квартирка — жалкая, давно обветшавшая без ремонта, пропахла дешевым мылом и тушеной капустной.

— Сергей, вы опять задержались? Есть будете сами. У меня еще белье не стирано. А за ужин мы еще не брались. — Она демонстративно сняла с плиты и поставила на табурет в коридоре таз с горячей водой.

— Ты очень уж увлеклась стиркой, — заметил Сергей.

— О да! Любимое занятие! — Марина начинала злиться. — Я действую из соображений гигиены. Мы взрослые. Но я вовсе не хочу, чтобы Мур подхватил какую-то заразу. К нему все липнет!

Сергей удалился на скудно освещенную кухню. В раковине гора немытой посуды и каких-то репок. Голая лампа под потолком. Пыльные стекла без занавесок отражали его помятую,

жалко скукожившуюся фигуру. Вот, рвался самоутвердиться, подняться на уровень Марины. Ну, хотя бы, стать ближе. Жизни не жалел, смерти не страшился, всегда стремился помочь людям… И чего добился? Корчился от домашних ссор, от одного грозного голоса Марины, окатившего его еще на лестничной клетке. Понял, что вечером, как теперь повелось, не обойдется без «дискуссий». Но, нет — дело приняло решительный оборот! Сегодня будет иная программа! Сдерживая радость, Сергей положил в тарелку чуть приправленную томатом тушеную капусту и вышел к Марине. Сейчас ему казалось, что полоса неудач и случайных служб кончилась — он нашел настоящее дело. Дело, позволяющее стать в семье главным.

— Вы явно веселы, Сергей Яковлевич. Получили главную роль в фильме? — Марина издевалась.

В 1927 Эфрон снялся в 12-секундном эпизоде в фильме «Мадонна спальных вагонов», режиссеров Марко де Гастина и Мориса Глаза. Марина смотрела фильм. Вначале она скучала, не опознав ни в одном статисте своего мужа, а потом плакала. В крошечном эпизоде, в котором сидящего на земляном полу заключенного-смертника конвоиры выволакивают вон, она узнала Сергея. И в 36 лет, в эмиграции его лицо все еще было «подобно шпаге» и в темных тенях горели страдальческие глаза. Крошечный, почти мгновенный эпизод был более чем красноречив. Чахоточная красота цветаевского избранника еще не потускнела. Особая «лебединая» стремительность пластики, поворотов головы и плеч, долгая кисть выразительных ладоней то в мольбе, то в отчаянии перед неотвратимым… А худоба облика — впалые щеки, тонкая шея, острые коленки, а нервность и взвинченность отмеренного и замкнутого казематом движения! Эпизод, говорящий так много об Эфроне, показался Марине страшным пророчеством, словно ей приоткрыли дверь в будущее. Фильм тогда прошел плохо, и деньги за него статист получил крошечные. Эти проклятые кадры сейчас стояли перед глазами Марины, и безумная жалось к Сергею затопила ее.

— Марина, вы зря смеетесь над моим кинопровалом. Кажется, мне удастся обойтись и без экрана. — Он встал, облокотившись на притолоку кухонной двери, с тарелкой «бигоса» и радостным выражением лица:

— Завтра выходит первый номер газеты!

— От привычки есть на ходу это событие вас не избавит… — Марина забрала у мужа тарелку и, выйдя на кухню, села с ним за стол, положила на сухарницу пару кусков хлеба, посмотрела предано. — А знаешь, ты молодец. Кажется, нашел хорошее дело.

Сергей начал работать в издательстве «евразийцев», издавать

журнал «Версты», потом газету «Евразия». И даже получил зарплату. Гордо принес деньги домой.

— Марина — вот деньги! Это за новый номер. Небольшие, но честные.

— Разве нечестные бывают такими мизерными? — она сунула купюры в карман фартука. — Но ты ведь тащишь на себе основной воз забот — «Евразийский верблюд». Конечно, со временем заработок увеличится. Может, вы еще как развернетесь! — Марина не верила в свои слова, но ей сейчас очень хотелось поддержать Сергея.

— Главное, ума хватает, чтобы не влезть в грязь! — он постучал по виску указательным пальцем.

Марина нахмурилась, голос стал едким:

— Вот этого я больше всего и боюсь! У вас доверчивости хватит, чтобы дать позволить каждому, кто похитрее, затянуть вас в самое сомнительное дело. Вам нужна позитивная идея. Теперь такой идеей стала идеология евразийства, полностью заменив монархизм и Добровольчество. Только надолго ли?

Вскоре Цветаевой стало ясно, то именно Сергей с его чистотой и жаром сердца — основная моральная сила евразийства. Его так и прозвали — «Евразийская совесть». Марина видела, как отдается работе у евразийцев муж, и понимала, что если движению удастся окрепнуть — то на его плечах.

Марина вернулась с рынка в сопровождении солидного, хмуро глядевшего Мура. За руку он ходить не хотел, старался выглядеть как можно старше и самостоятельней. Его поведение, речь, тон копировали взрослых. Сергей оказался дома. Он сидел над какими-то записями. При дневном свете (а сколько времени она видела его только ночами!) было заметно, как залегла синева вокруг ввалившихся глаз, выступили на тонких кистях вздутые жилы. И эти плечи, так похожие на крылья там, в порывах коктебельского ветра, — опали, свернулись.

— Что-то случилось? — поняла Марина.

— Случилось. Я не сумел вытащить. Евразийское издательство и газета «Евразия» кончились. Я снова безработный.

— Не переживайте, пожалуйста, у меня от прошлого выступления деньги спрятаны. Вам надо выспаться.

— Найду что-нибудь, — Сергей зевнул, прикрыв рот ладонью, — Сувчинский обещал место в типографии… К тому ж эпизод дают на съемках. Очень смешной.

— Вы уже насмешили своим узником. До сих пор этот ужас перед глазами стоит. Между прочим, могли бы стать хорошим актером… Ладно, мечты потом. А завтра же — срочно на обследование. О нас не думайте — мы проживем. — Марина

осторожно выложила из сумки тонкий белый пакетик с мясным фаршем.

— Котлетка для меня. Потому что я быстро развиваюсь и нуждаюсь в усиленном питании, — сообщил Мур, набравший уже солидный вес в крупном теле. И спрятал пакетик в холодильник.

Но без дела Сергей на этот раз не остался. Им стал «Союз возвращения на родину», организация, способствующая эмигрантам вернуться в Россию.

— Снова работа без оплаты? — криво усмехнулась Марина. — И знаете, мне не очень нравится сама идея: помогать дуракам влезть в трясину.

— Ах, все совсем не так. Россию надо восстанавливать на основе новых принципов. И это должны делать порядочные люди. Здесь их много. И они нужны Родине.

У Марины зрела гневная отповедь, но тезис о честных людях ее поколебал. Должен же Сергей найти приложение своему главному таланту — безукоризненной честности?

Первая попытка Сергея увлечь Марину картиной счастливой жизни в СССР показалась ей неудачным розыгрышем.

— Марина, а как вы можете иметь мнение относительно новой России, если не хотите ничего о ней знать? Почитайте, интересно… — Сергей подвинул Марине стопку газет, она привычным брезгливым жестом сдвинула их на самый край стола.

— Все давно известно: сборище убийц и бандитов.

— Ну… это слишком. А если подумать о том, о чем мечтали еще народовольцы — о свободе народа, о всеобщем образовании, развитии экономики, здравоохранения? Может, найдется что-то хорошее?

— Кто там у вас работает пропагандистом на зарплат те ЧК? — усмехнулась Марина. — Хорошо — примем на веру свободу, образование, здоровье. А что против? Куда делись эти коммунисты с волчьими лицами, что-разграбили Россию? Куда делись чекисты, выискивающие «бывшие враждебные элементы»? А тюрьмы для политических, что набиты «бывшими»? Недобитками Добровольцев?

— Да вы больше осведомлены, чем наше руководство, регулярно посещающее СССР, Кто напугал вас такой чушью? — Сергей ощутил явную враждебность к категоричному тону Марины. Всегда так — права только она!

— Те, кому я верю. — Марина вставила папиросу в мундштук, щелкнула зажигалкой, глубоко затянулась, выпустила дым, с тоской глядя на Сергея. — Если вы серьезно здесь меня агитируете, то я очень настоятельно вас прошу, Сережа, отнеситесь к информации вдумчиво. Помните — ваше доверие

очень легко обмануть. Найдется много хитреньких дядечек, для которых вы можете стать желанной добычей.

Сергей задумался, но что-то мешало ему принять сторону Марины: первое — страстно хотелось верить, что родина возродилась, и еще хотелось, чтобы Марина, наконец, ошиблась и получила доказательства его — Сергея правоты. Уж если они скрестили шпаги, то тут, на своем поле — в политике — Сергей не уступит первенства.

Похожие разговоры вспыхивали еще не раз. Постепенно слушателями Сергея оказывались Аля и Мур — Марина не желала даже оставаться в комнате. Она отстранилась. И просмотрела, как в ее доме, в ее семье произошла перестановка сил. Любовь к отцу, преклонение перед его духовной чистотой, героизмом она сама внушила детям Своими стихами. Они живо тянулись к отцу.

В отличие от требовательной матери, Сергей был мягок, ласков, простодушен. К человеку с такими сияющими чистотой глазами не могли остаться равнодушными даже посторонние. Дети же — полностью отдали ему свои души и мысли. А он — стремясь отдать детям все самое лучшее, делился с ними своими мыслями, мечтами, планами. Все это касалось их будущности, а будущность своей семьи Сергей связывал только с Родиной.

— Папа, нам надо серьезно поговорить. — Алины синие озера потемнели под густыми нахмурившимися бровями. — Мне нужен совет. Что ты думаешь о позиции Марины насчет России?

— Думаю, вы с Мариной не нашли общего языка в этом вопросе. Да и я тоже никак не могу подступиться.

— Понимаешь, меня раздражает ее упорство, нежелание понять наши устремления. Даже в глазах Мура она выглядит анахронизмом: живет по давно отмененным законам, не понимает современности, прогресса, будущего, — Аля раскраснелась, высказывая свои давнишние расхождения с Мариной.

— Ты взрослая, ты моя дочь во всех своих душевных движениях. Ты должна понять то, что из-за упрямства и несгибаемости не хочет понимать мама. Марина просто закрыла дверь у меня под носом и заткнула уши! Она отвернулась от нас, — он тяжко вздохнул. — Оба мы знаем, что переубеждать ее бесполезно.

— Но пытаемся, и каждый день у нас стычки по этому поводу. Наших ребят из эмигрантов — поэтов, художников, критиков — тоже захватила идея возвращения. Всем кажется, что на родине начинается новая жизнь, открываются новые возможности! А мы тут отсиживаемся — никому не нужные отбросы, третий сорт! Обидно жутко — ведь я умею так много.

«Пораженная, прямо сраженная в грудь»

Настроения Али и ее юных друзей не случайны. Пропагандистская работа среди эмигрантов велась мощная. Об успехах социалистического строительства вдохновенно рассказывалось во всех советских изданиях и фильмах. В зверства системы, описанные в эмигрантских газетах, мало кто верил. Тех, кто уезжал или был готов уехать, вела любовь к России, вера в нее и — что, может быть, еще важнее — глубокое ощущение своей ненужности, неуместности, отщепенства на чужбине. Этими чувствами жила и Аля. А Эфрон и вовсе оказался среди самых честных и легковерных.

— У молодежи совсем другие настроения! — вдохновенно рассказывала Аля. — Мы следим за тем, что происходит в России, спорим! Эти фильмы, эти новые человеческие лица и трудовые руки! Они ввели всеобщую грамотность! Азиатские женщины снимают паранджу и вступают в молодежные организации. Они открывают библиотеки, школы! А в Крымских дворцах, отнятых у буржуазии, сделали санатории и в них лечатся простые люди, от туберкулеза между прочим! Но, папа, мне важно знать твое мнение.

— Алечка, я думаю, как гражданин России, как твой отец — тебе надо попробовать съездить в Москву, посмотреть все своими глазами. Если все так, как нам рассказывают, я сам приложу все усилия к восстановлению своей страны. Если пустят. — Сергей посмотрел ей прямо в глаза:

— Признаюсь тебе: я подал в Постпредство прошение о выдаче мне советского паспорта. Могут, конечно, отказать, учитывая мое прошлое.

— Я тоже хочу быть полезной. Пожалуйста, папочка, поручи мне какую — нибудь работу в «Союзе возвращения»!

— Это жутко опасно! — он состроил страшную гримасу. — Помнишь, как ты боялась льва? — Аля рассмеялась. — И тогда не боялась. Злых львов с такими глазами не бывает. Глаза должны быть, как у нашего хозяина, — хищные буравчики.

В 1931 году Сергей Эфрон серьезно заболел — третье возобновление туберкулезного процесса. Настроение в доме тяжелое. Ариадна старалась почаще оставаться с отцом. Порой ему дышалось очень трудно, он лежал в постели, стараясь не показывать, что чувствует себя худо.

— Алюша, присядь ко мне, — позвал Сергей. — Аля села на край кровати, отец обнял ее, погладил по голове и вдруг расплакался.

Аля испугалась, и слезы хлынули сами.

— Я порчу жизнь тебе и маме.

— Глупости! Не все же много зарабатывают! Многие живут не лучше нас.

— Я не об этом. Ты еще маленькая, ты ничего не знаешь и не понимаешь. Не дай тебе бог испытать когда-нибудь столько горя, как мне. И лучше не будет. Все может стать только хуже и труднее.

— Ты обязательно поправишься! Обязательно!

Эфрон попытался улыбнуться, прижал к груди Алину голову, проговорил в пахнущий детством затылок:

— Детка, ты не знаешь и не можешь знать, как мне тяжело. Запутался, как муха в паутине, и пути назад нет.

Потом спросил:

— А может, лучше мне оставить вас и жить одному?

— Ты не любишь нас? Тебе плохо с нами?

— Глупышка, очень, очень люблю! И твоя мать очень любит меня, мы с ней много прожили. Просто я не знаю, что мне делать с собой и со всеми вами. Извини, дочь, что разнюнился… Слабость напала. — Сергей вытер лицо углом простыни. Прошу только: не говори ничего маме.

Случилось вот что. Анкеты, поданные эмигрантами на выезд в «Союз возвращения», строго фиксировались и хранились в специальном архиве.

Однажды Сергей застал в комнате архива человека, выискивавшего в папках некие документы.

— Я из Посольства СССР, — объяснил он. — Нам нужны данные на некоторых «возвращенцев». Вы ведь не можете быть уверены, что в СССР стремятся вернуться лишь честные люди? Нам удалось выявить уже с десяток матерых врагов родины, сумевших получить документы на выезд.

— Но мы даем людям гарантию, что полученные от них данные анкет — секретны! — возмутился Сергей.

— Не смешите меня, молодой человек. — Приподняв очки, мужчина рассмотрел Эфрона. — Случаем, не из монастыря сюда попали? Н-да… Попросите, пусть вам кто-то из коллег объяснит, в чем состоит сущность, подчеркиваю, сущность работы вашего Союза. Ведь вы, лично вы, так же ответственны за каждую допущенную ошибку. А это знаете, чем грозит?

Сергей не знал, попросил пролить свет на некоторые стороны деятельности Союза человека, которому доверял. Тот объяснил:

— Везде враги, шпионы, вредители. Надо быть начеку. И уж никак нельзя допускать в Россию злостных врагов. Мы ответственны за каждого.

Объяснявший достал из отдельного ящичка фотографии

четырех известных Сергею «возвращенцев»:

— Расстреляны в Москве. Антигосударственная деятельность. Хотели взорвать завод. Связи с английской разведкой. Так что вы, Сергей Яковлевич, следите в оба.

Эфрон открыл рот, полный вопросов, но лишь пробормотал:

— Понятно. Благодарю…

А пока бродил по городу, разматывая в голове клубок пугающих мыслей, понял, что работу себе отыскал опасную, да не только для себя — для всей семьи. Но разве он мог объяснить это Але? Запутался — это точно.

* * *

Обследование обнаружило у Эфрона возобновление туберкулеза. При общей ослабленности организма и других заболеваниях это было опасно. С помощью Красного Креста Эфрона отправили лечиться в Савойю, в санаторий-пансионат Шато д'Арсин, где он провел девять месяцев. Летом Цветаева с детьми жила неподалеку в крестьянском доме. Здесь она закончила перевод «Молодца» и писала цикл «Маяковскому». Доплачивать за санаторий (того, что давал Красный Крест, не хватало) помогал Святополк-Мирский.

Девять месяцев в пансионе-санатории, десятки новых знакомств. Прекрасные люди. Есть и «ветераны-добровольцы», и бывшие офицеры царской армии. Разговорам и спорам нет конца. Сергей убеждает новых знакомых в том, что надо суметь рассмотреть под пугающими буквами СССР душу России. Его слушают, его публикации о Белом движении и эмиграции знают. Знают и Цветаеву.

У Сергея приятель — тоже прошедший Ледовый поход и Галлиополь. У них много общих знакомых, оставшихся на полях сражений. Им есть о чем вспомнить. И общий вопль, врезающийся в любой разговор: «Как хочется на родину!»

После ужина они уходили на берег озера, так похожего на подмосковное, заросшее осокой с ивами и камышовыми островками.

— Рыбак я заядлый! — Ильин потянулся. — Здесь у коряги сом, думаю, пуда на два залег.

— Мне жена вечерами у воды сидеть не разрешает — туман, — Сергей закашлялся.

— Ваша Марина Ивановна — человек известный. Наше знамя. Всегда в строю пели:

Белая гвардия, путь твой высок:
Черному дулу — грудь и висок.
Божье да белое — твое дело:
Белое тело твое — в песок.
Не лебедей это в небе стая:
Белогвардейская рать святая.

Оказалось, что Ильин связан с людьми, работающими в советском подполье. И про деятельность Союза возвращения знает много. Верит твердо: врагов молодой страны надо добивать.

А главное — отличать честную советскую власть от ее врагов, порочащих в глазах прогрессивной мировой общественности подлинные явления победившего социализма. Ильин имеет на этот счет точную информацию. Сергей узнает, как мощна сеть врагов советской власти, скрывающихся под разными личинами, как хитра антипропаганда, втирающаяся в доверие к мечтающим о возвращении на родину людям. Как опасны происки зарубежной разведки, виртуозно внедряющейся во все звенья социалистического строительства и даже здесь — в ряды преданных патриотов России. Сергей в ужасе узнает о людях их круга, которых считал порядочными. Людях, подкупленных иностранными разведками и работающими против своей страны. Постоянные акции врагов сильно тормозят развитие СССР, государства подлинного равенства и свободы.

— И здесь, в Париже… — Сергей мысленно представил своих знакомых по «евразийству». — Нет, не может быть! Господи, почему я так доверчив!

— Доверчивость в данном случае — качество чрезвычайно опасное. Сами понимаете, в какую ловушку вас могут заманить. Именно здесь, среди тех, кто прикидывается патриотами России, в самом центре якобы антисоветских групп, скрываются настоящие враги! Именно здесь нужны честные, не идущие на обман и подкуп люди, — Ильин захромал к санаторскому «шале». — Идемте, идемте в холл, Сергей Яковлевич. В самом деле, влажно. У меня в старые раны на ногах словно собаки зубами вцепились.

— И вот еще что, Сергей. У вас тут семья рядом, — Ильин остановился, шлепнул на шее комара. — Будете беседовать о том о сем, о нашем разговоре — молчок. Если откровенно, Сергей, я давно к вам приглядывался. Слышал отзывы и ни капли не сомневаюсь в вашем чувстве чести. Но, сами понимаете, приглядывались и враги.

Вечером с Мариной Сергей пытался полунамеками обрисовать ситуацию: она, де, попала под влияние антисоветской пропаганды, опутавшей весь Париж. Марина с закрытыми глазами сидела на табурете, нервно дергая ногой. Рядом стоял Мур — с взрослым выражением хмурого лица листал журнал. Мальчишескими шалостями он пренебрегал, разговор со взрослыми поддерживал на равных. «Я уверен, что Марина, как женщина, боится войны, — решил он. — Война не желательна во всех отношениях. А дискуссировать по этому поводу можно сколько угодно. Весь санаторий — как государственное собрание митингует. Я примкнул к социалистическому лагерю».

В Париж Сергей Яковлевич вернулся окрепший и бодрый.

Казалось, все его душевные терзания отступили вместе с болезнью, он перешел какой-то важный рубеж, да и внешне жизнь его круто изменилась. Он часто уходил или уезжал куда-то. Аля догадывалась — дело не только в издательских делах. Как она жалела, что отец запретил помогать ему.

Только в наше время из рассекреченных документов НКВД стало известно, что в Шато д'Арсин располагался штаб агентуры НКВД. Именно там и «подлечили» Эфрона, заразив его новой идеей: борьбой с тайными врагами родины. Борьба обещала быть нелегкой.

«Под ладонью слезы, а не дождь»

В 1932 году Марина сказала первые горькие слова о дочери: «За семь лет моей Франции — выросла и от меня отошла — Аля».

Стычки происходили постоянно и по любому поводу.

— Аля, ты слишком много куришь! У тебя в детстве были обнаружены каверны! — Марина говорила вдогонку улизнувшей из кухни с сигаретой Але. Причем очистки свеклы на куске газетки так и бросила, не завершив работу. И недоеденный бутерброд — везде бросает. Неряха, лентяйка, чуть что — недомогания. И ведь все — назло матери.

Марина резко отворила дверь в комнату, где скрылась Аля.

— Здесь же спит Мур! Тебе не хватает еще и ему испортить легкие. Слава Богу, у мальчика другая наследственность. — Марина забрала пепельницу. Аля вышла за ней!

— Во-первых, Мур в детском саду. Во-вторых, легкие мне испортила ты — курила еще со мной в утробе. И между прочим при больном отце!

— Ему я запрещала! — топнула ногой выведенная из себя Марина. Теперь выходило, что во всех бедах семьи виновата она. — Курили все! А на мне весь дом держался, и я ра-бо-та-ла! Марина — добытчица. Марина — городовой! Марина уморит всю семью. А сама и не кашляет!

— Марина, вы как с луны свалились! В дыме сплошные вредные вещества! Это знают все.

— Мне лишь известно, что мой организм воспринимает эти вредные вещества с удовольствием.

— Известное свойство всех вредных существ — не травиться от яда! — мгновенно парировала Аля. Марина рухнула на табуретку, держа переполненную пепельницу:

— Ты хоть слышишь, что ты говоришь? Я — вредное существо?! Крыса?! Таракан?!

— Слышу, что говорю. Говорю, что вы травите воздух. Дайте

мне окурки — выкину. — Забрав пепельницу, Аля быстро выскользнула на лестницу.

Хорошенькая, нет — просто красивая, нет, не просто — необыкновенно. Из тех ярких, светящихся, легких, как праздник с фейерверком, на которых шеи сворачивают. Густые блестящие волосы, подстриженные «в каре», беретик немного боком, а глаза сияют, словно клад нашла. Весела со своей молодежью — так и заливаются. Остра на язык, но не зла. Не зла… Только с матерью… как, когда это случилось? Из подружек, наперсниц — во враги? Из-за политических расхождений? Выходит, все они рвутся на родину, а Марина как гиря на плечах. Но ненавидеть из-за политических разногласий? Кого? Марину — кумира, богиню, волшебницу. Алину подругу, мать… Немыслимо…

Отстраненность Али выражалась не только в том, что она избегала домашних забот и дел, старалась меньше бывать дома, но и в душевном отчуждении — это было больнее всего. Всю жизнь Цветаева стремилась сформировать дочь по своему образу и подобию, «вкачать» в нее самое дорогое, важное, непреложное. И вдруг потеряла ее доверие, привязанность, преклонение: Аля пошла за отцом, отринув материнскую науку. Несомненно, в расхождении Цветаевой с дочерью переплелись нужда и политика. Будь жизнь семьи материально легче и больше возможности Аде устроить свою жизнь — интересно работать, поселиться отдельно, вероятно, она не так легко соблазнилась бы «возвращенством», не стала бы, вслед за отцом, видеть в Советской России воплощение идеала, возможности новой, благополучной жизни. Получается: не столько бегство в Рай, сколько бегство из ада.

Цветаеву мучили шушуканья за ее спиной, беседы шепотом в запертой комнате — Сергей, Мур и Аля образовали комплот. Временами Цветаева чувствовала, что они не только не нуждаются в ней — тяготятся ею.

11 февраля 1935 года: нервы у всех натянуты в струнку, конфликт может разгореться всякую минуту, Марина измучена сопротивлением дочери, в любом пустяке ей слышится оскорбление.

У Цветаевой вечером должно состояться выступление о Блоке. Она попросила Алю сходить за лекарством Муру — у него снова, кажется, начинается ангина.

— Марина, он просто так ноет, а мне надо эскизы дорисовать. Рамку закончу и схожу.

— Я вечером должна читать текст перед залом, это можно понять? А у меня не было времени даже перечитать рукопись! Это же позор — в таком напряженном тексте — запинаться.

— Хорошо, — Аля продолжила свое занятие. Ей казалось, что Марина специально отрывает ее от дела, чтобы доказать свою власть. Ведь никакой необходимости в срочном лекарстве не было. Марина явно нервничала, Аля сознательно испытывала ее терпение.

— Прошло десять минут, может, ты, наконец, начертила четыре линии?

— Начертила, теперь чулки штопаю. Не могу же в рваных идти.

Вся кипя, Марина уже забыла о Блоке и следила за стрелкой часов — ведь было ясно: Аля объявила войну. Вот надела зашитые чулки и взялась читать газету!

— Я понимаю, своим демаршем ты ставишь меня на место. Мое место — отщепенки в семье. Изгоя. Политически неугодного элемента! — ее голос задрожал. — Неужели ты не понимаешь, что так издеваться над человеком, пусть Даже очень плохим, в день ответственного выступления — позор!

— Вы и так уж опозорены.

— Что?!

— Вы только послушайте, что о вас говорят!

— Что же?! Что я примазываюсь к большевикам? Или, может быть, вступила в компартию?

— Сегодня вы защищаете Блока, завтра Маяковского. Сегодня говорите одно, завтра другое. Вашу лживость все знают!

— Я… Я… — Задохнувшись от гнева, Марина рванулась к дочери и отвесила звонкую пощечину, с наслаждением и ужасом крушения любви, нерушимости спаянного душевного родства.

Когда она рыдала, положив голову на руки, руки на тетрадку с записями, и слезы размывали лиловые чернила строчек, дверь хлопнула — Аля ушла на кухню — выплакать обиду отцу.

Раздался громкий, гневно приподнятый голос Сергея:

— Ударила?! Ни минуты больше не оставайся здесь. Это перешло всякие границы. Возьми — вот деньги.

Сергей поцеловал мокрую горячую щеку дочери и захлопнул за ней входную дверь.

Глядя на листы с текстом, Марина сообщила тихо, то ли Блоку, на стихах о котором расплылись ее слезы, то ли своей судьбе: «Моя дочь — первый человек, который меня ПРЕЗИРАЕТ. И, наверное, — последний. Разве что — *ее* дети». И записала это для памяти.

…Детей у Али не будет. Всю свою молодость — 16 лет она проведет в лагерях любимой родины.

Дома в тот парижский февраль она отсутствовала две недели, пытаясь обрести самостоятельность. Потом вернулась с новой

идеей: найти работу и помогать семье.

Через знакомых Але удалось устроиться ученицей медсестры в зубоврачебном кабинете.

— Что-о-о? Моя дочь будет за гроши батрачить на чужих людей, когда я здесь не разгибаюсь над корытом и плитой! А ведь я — не домохозяйка. Если ты забыла — я еще помню, чем занимаюсь всякую свободную минуту. Я создаю Поэзию! Но вместо этого буду мыть полы, пока ты там будешь мыть плевательницы! Прекрасная «помощь» дочери.

— Но я хочу почувствовать себя самостоятельной! Я тоже не родилась для службы домработницы при вас и Муре!

— Хорошо. Поступай, как тебе подсказывает совесть. Но помни: если выйдешь на работу, то между нами все кончено. Домой можешь не приходить.

Аля не представляла, в какую тяжкую ситуацию попала. Конечно, ей приходилось ночевать дома, каждый раз наталкиваясь на враждебные нападки матери. Она даже боялась рассказать, как уставала первое время, пока шло время бесплатной «стажировки». Хозяин кабинета продержал дармовую работницу какое-то время и выгнал ее, ссылаясь на имеющуюся у нее болезнь легких.

Аля призналась самой себе, что мать была права. Совершенно очевидно: жизнь не удалась и нет надежды что-либо исправить. Собственное бессилие, неумение приспособиться к жизни, заработать вызвало отвращение Али к себе и всем, кто мучил ее. Ариадна решила умереть. Написала классическую записку ко всем вместе и, воспользовавшись отсутствием домашних, открыла на кухне газ. Сидя у открытой духовки, она старалась поглубже вдыхать отраву и жалела себя. Все же умирать в 20 лет, не влюбившись, было ужасно обидно. Но ведь и жить не получается! Повернулся в двери ключ, на кухню влетел Сергей, учуявший еще в передней запах газа.

— Ах, ты, дурочка! — Он рывком поднял дочь, распахнул окно. — Ты понимаешь, что еще несколько минут… Господи!

Сергей сел, держась за сердце. Губы побелели.

— У тебя все еще впереди, девочка. Если б ты знала, как тяжело мне, но я нахожу в себе силы жить. Уж если у кого и есть причины лезть в петлю — это мне.

— Не понимаешь! Ты же ничего не понимаешь! — *Аля* рыдала. — Ты ведешь большую работу на свою страну, у-тебя благородная цель. Дело! А я… у меня нет даже этого…

Сергей лишь посмотрел на нее и вышел из кухни. Это был взгляд побитой собаки, которую ударили, но скулить она не смела.

«Мне совершенно все равно, где совершенно одинокой быть»

Что творилось с Сергеем? Его соратники разделяли его взгляды — в доме появилось много советских газет и журналов. Постоянно велись споры и обсуждались менты о возвращении. Сергей жил мыслями о родине. Но что-то настораживало его. Пугало. Что-то не было совместимо с понятиями совести и чести. Пока, видимо, лишь грубость пропагандистской работы и цинизм некоторых «операций» с неугодными элементами, выявленными среди людей, подавших документы на выезд. Как ему удавалось совмещать пылкую мечту о возвращении на родину и отвращение к тому делу, которым он занимается? Возможно, методы НКВД казались ему недостаточно честными, но ведь фразу «нельзя бороться с врагами чистенькими руками» он слышал теперь часто. Кроме того, НКВД — временная ступенька к возвращению. А там университетские исследования, писательство — подальше от сферы деятельности «органов».

До сих пор возникают вопросы: как, почему попали в сети глобальной лжи умные, думающие и честные люди? И как-то не верится, что обошлось без мистики. Мистики самовнушения, феномена самогипноза, без которых выжить и не сойти с ума было трудно. Строители коммунизма под пытками, оболганные, запуганные все еще продолжали страстно верить, что стали жертвой ошибки, навета. Не только наивные доверчивые патриоты эфроновского типа ловились на грубую блесну, проницательные ироничные умы со всего мира ехали в Россию любоваться прогрессом и восхищались поездками в колхозы-миллионеры, щедростью кремлевских банкетов. А Большой театр, пионерские костры в синих ночах? Потрясающе! Конечно, есть пока отдельные недостатки, так ведь какой переворот в истории человечества не обходится без чисток!

Спецслужбы работали четко, устраняя то, что могло испортить картину. Особое внимание органы уделяли русской эмиграции, где сосредоточились «недобитки», классовые враги. Шли в ход элементарные чистки, для особо полезных организовывалась двойная игра: заманенные в антибольшевистскую деятельность эмигранты-антисоветчики на самом деле работали на НКВД.

Различные эмигрантские организации были уверены, что связаны с русским подпольем. В Россию, рискуя жизнью, пробирались их эмиссары, устраивались подпольные «съезды», распространялась антисоветская литература — и никто не подозревал, что вся эта «деятельность» инспирирована НКВД,

дабы выявить затаившихся врагов.

Эфрон доверчив, чистосердечен, он хочет верить в процветание России и ненавидит порочащих ее злопыхателей. Идеальный кандидат для пополнения сети сотрудников НКВД. К серьезным заданиям, конечно, не способен — полное отсутствие хитрости, цинизма, элементарного животного эгоизма. Прозрачен, как стеклышко. Но такому невозможно не поверить, если будет просить оказать помощь или делиться секретными данными. И если расскажет о происках антисоветских группировок — не соврет — ведь сам всей душой верит. Эфрон, работающий за совесть, способен на первых порах сослужить хорошую службу — сообщать о тех, кто поливает СССР грязью, и тех, кто хотел бы искупить «вину эмигрантства» делом. В начале он не знал, что такие поиски единомышленников называются вербовкой. А сообщение о враждебно настроенных элементах доносительством и стукачеством. Пока не знал. Пока шли в ход совсем другие термины: обезвредить врага, выявить клеветников, иностранных шпионов, защитить молодую страну Советов от происков мирового империализма. Эти поручения Сергей Яковлевич рвался выполнять с ответственностью и рвением. Он твердо решил вернуться на родину, заплатив за честь стать советским гражданином полезными и храбрыми поступками. В рамках понятий чести и справедливости. А когда узнал — сбежал бы, да обратного пути не было. Знал ли Эфрон, что «Союз возвращения» существовал полностью под контролем НКВД? Или принимал Народный комиссариат внутренних дел за организацию, защищающую будущность осажденного вражеским империализмом государства? Скорее последнее, ведь ни нашего опыта, ни нашего знания фактов у него не было. Не было даже интуиции, опасливости, осторожности, страха за свою жизнь. Принцип оставался неизменен — действовать в рамках чести и во благо родины.

Отдых в санатории и прямые контакты с работниками секретных служб убедили его, что борьба за будущее России жестока и иной быть в кольце империалистических держав не может. Очевидно, его убеждали отличные профессионалы.

Сергей Яковлевич продолжает задавать себе вопрос: отчего же Марина категорически отказывается понимать его? Не разделив его позицию, она лишает себя общего будущего, жизни на родине. Почему столь настойчиво отказывается от очевидной разумности возвращения? Ведь были единой душой и единой плотью.

Не из упрямства же только не разделяет она его чаяний. Сергей знает: Марина по России страдает тайно, а здесь

ненавидит каждый камень. Так почему же?

— Марина, мы перестали понимать друг друга. Но ведь я не изменился. Вы тоже. Почему вы не хотите понять, что главное для нас всех — эмигрантов — возвращение на родину? Пусть вначале будет трудно, пусть придется к чему-то приспособиться, но это единственный путь — путь домой. Путь на родину.

— Какую родину вы имеете в виду? Во главе с красными комиссарами?

— Ах, дело не в терминологии — красные-белые. Главное — справедливые.

— Когда-то цвет для вас имел прямое отношение к справедливости и законности.

— Я давно перед страной в долгу. Я много напутал. Я не нашел пути к народу, я воевал со своим народом! И это мешает мне стать полноправным гражданином России.

— Вы не слышите меня, Сережа… Не слышите… — Опустив темные веки, Марина тихо билась затылком о стенку, усмиряя подступающую истерику. Так хотелось закричать, пробить стену его непонимания. Усмирив нервы, выговорила побелевшими губами:

— А могилы добровольческой армии? Вы все же решили, что через них можно переступить?

Теперь дом превратился в арену ожесточенных споров, вернее, как выразилась Цветаева, — «грызни». Исход спора был неизменен, но всякий раз каждый считал, что найдет новый аргумент, способный пробить стену непонимания.

Как-то Сергей принес домой просоветскую газету, где были фотографии столовой для рабочих на одном из провинциальных заводов. Столики накрыты тугими крахмальными скатертями; приборы сверкают; посреди каждого стола — вазочка с цветами.

— Марина, взгляните, прошу вас, это же обыкновенная заводская столовая где-то в российской провинции. Чистота! Тарелки какие!

— А в тарелках — что? А в головах — что? — закричала она, словно говорила с глухим. Разорвала газету, скомкала обрывки и швырнула в угол в мусорное ведро.

Когда оба немного успокоились, Сергей продолжил наступление:

— Мариночка, почему вы перестали верить мне? Что вам здесь? Чужбина, обочина жизни. Там вы известный Поэт!

— Здесь я не нужна, там я невозможна. А впрочем:

Мне совершенно все равно —
Где совершенно-одинокой

Быть и по каким камням
Брести с кошелкою базарной…

Марина смиренно заталкивала в мусорное ведро валяющийся на полу мусор, демонстративно исполняя свою каждодневную обязанность.

— Злое упрямство… Не во благо оно, Марина…

Сергей отвернулся к окну, словно решив посчитать истыкавшие небо фабричные трубы. Марина стала рядом, распахнула форточку, закурила.

— Значит, ты предлагаешь мне ехать в Россию? А ты представляешь, что там будет? Там Мура у меня окончательно отобьют, сделают красным пионером. И там мне не только заткнут рот непечатанием моих вещей — там мне их и писать не дадут. Уверена! И не спорьте! Не спорьте со мной! — последние слова Марина выкрикнула сорвавшимся голосом. Схватила мусорное ведро и помчалась во двор.

В спорах они оба заостряли свои аргументы. Но оба даже не представляли, как далеки от реальности самые злые «наветы» Марины.

Беспощадная трезвость ее взгляда на Советский Союз противостояла намеренной слепоте Эфрона — она это понимала, он — нет. И оба не представляли, какой окажется плата за право вернуться.

Он жаждал искупить свою вину, жаждал принести пользу родине и вернуться туда достойным сыном. Он убеждал свою семью принять его правду и ехать вместе с ним. Внутренне Цветаева была категорически против, она была убеждена, что возвращаться — некуда и незачем.

С фонарем обшарьте
Весь подлунный свет.
Той страны на карте —
Нет, в пространстве — нет.
Можно ли вернуться
В дом, который — срыт?

Вернуться нельзя, жить здесь совершенно невыносимо. Бесконечные задворки, недоброжелательство эмигрантских кругов, тоска… На Цветаеву косятся и обходят стороной — прокоммунистические взгляды Эфрона не вызывают симпатии. Ситуация не способствует творчеству. Марина поступила с нарочитой «бессмысленностью» — через 10 лет после начала

продолжила работу над поэмой «Перекоп», когда «сам перекопец… к Перекопу уже остыл», да и публика не ждала возвращения к этой теме. Как и Поэмы о Царской семье, которую Цветаева затеяла. Марина упорно работала над заведомо непопулярными вещами — вдохновляло чувство долга и полной свободы от «заказа» — потребы момента, настроения.

«Моему дорогому и вечному добровольцу» посвятила она уже ненужный ему «Перекоп». Может, ей хотелось напомнить Сергею те дни, могилы Добровольческой армии, которые он решил переступить? Ведь и в своей новой, чуждой ей деятельности он оставался для нее добровольцем. «Добровольчество — это добрая воля к смерти» — так истолковала это понятие Цветаева, выбирая эпиграф к «Посмертному маршу». Вероятно, она предчувствовала, куда ведет эта дорога…

С 1931 года Эфрону уже было известно, что он является официальным сотрудником Иностранного отдела НКВД в Париже. Подписав необходимые документы, он стал выполнять задания как групповод и наводчик-вербовщик. Существуют документы, согласно которым Эфрон лично завербовал 24 человека из числа парижских эмигрантов и десятками отправлял «добровольцев» воевать в Испанию, где «республиканцы вели справедливую борьбу с мятежниками кровавого диктатора Франко». Что изменилось в его положении? Сергей понял, что творит скрытую подлость? Решился искупить «вину добровольчества» сделкой с совестью? Нет, нет и нет. На это он был не способен. И указания должности в своей секретной анкете как «наводчика-вербовщика» не видел. Действовал по совести и тем же путем, каким поступили и с ним: рассказывал о сетях заговоров, окруживших Россию, о потребности в честных людях для выявления скрытых врагов. Особенно эта деятельность подходила тем, кто надеялся своим трудом завоевать право возвращения на родину. Бедный, бедный патриот Эфрон — наивный простодушный чудак. Он отказывался долгое время от зарплаты НКВД, так как считал свою работу не службой, а служением.

Можно ли было жить и писать в такой обстановке? Можно ли уйти из грязной кухни, от унизительной ссоры в другой мир: шагнуть — из ложного, уродливого — в свой собственный — верный, подлинный? Марина все еще владела золотым ключиком, обеспечивающим побег к себе. Потребность писать стихи не уходила. «Страшно хочется писать. Стихи. И вообще. До тоски». «Мой же отдых и есть моя работа. Когда я нё пишу — я просто несчастна, и никакие моря не помогут».

В тридцатые годы были созданы «Красный бычок» (1928), «Перекоп» (1928–1929) и, наконец, Поэма о Царской Семье (1929–

1936). Эти вещи диктовались ее долгом перед историей и собственным прошлым; она писала их уже не в уединении, а в одиночестве, ибо читателя для них не было, и даже Сергея Эфрона, их вдохновителя и героя, ее постоянного преданного читателя, они должны были раздражать. Потом еще родился «Пушкин», «Сонечка», «Тоска по родине», «Два письма о гомоэротической любви» и множество стихов — откликов на неожиданные увлечения.

Как ни странно, но из всей семьи именно Цветаева больше всех тосковала по России. Не той — с демонстрациями и знаменами, а своей — рябиновой, тарусской, золотящейся кремлевскими куполами. Все семь лет до смерти Бальмонта (также осевшего с женой в Парижском предместье и по-прежнему нищенствовавшего) Цветаева неизменно ходила с больным стариком к Пасхальной службе, которую они отстаивали плечо к плечу за неимением места в маленькой Трубецкой домашней церкви в большом саду, под молодой листвой, под бумажными фонарями и звездами. Он рассказывал о Воскрешении Христовом так, что сомнения не оставалось — он был там. Сквозь прозрачную листву и пучки ясеневых сережек Марина видела сразу и Древнюю Иудею, и весеннюю Москву, в которой церковь теперь запрещена. Именно в гонимые храмы Марина ходила бы, несмотря на все запреты. И Храм Христа Спасителя, над официозной громоздкостью которого посмеивалась, взорванный, поруганный, любила нежно. За жертву, За муку, за расставание.

В начале 1937 года Ариадна Эфрон получила советский паспорт и 15 марта уехала в Москву. Ехала навстречу с мечтой, с настоящей родиной, своей юностью, любовью. Смеялась, вспоминая и пересказывая всем слова Ивана Бунина:

— Ну куда ты, дура, едешь? Ну, зачем? Ах, Россия… Куда тебя несет?.. Тебя посадят…

— Меня? За что?

— А вот увидишь. Найдут за что. Косу остригут. Будешь ходить босиком и набьешь верблюжьи пятки!

— Я?! Верблюжьи?!

А на прощанье:

— Христос с тобой, — и перекрестил. — Если бы мне было столько лет, сколько тебе, пешком бы пошел в Россию, не то, что поехал бы, и пропади оно все пропадом!..

И пропало бы…

Друзья и знакомые нанесли Але множество подарков, она уезжала вся в нарядных обновках. Цветаева подарила дочери граммофон. Смотрела — одна мрачная среди веселых, — как втаскивают в купе громоздкий футляр:

— Нельзя ж без музыки… — Виновато покосилась на дочь. Нырнула в ее сияющие глаза и почувствовала, как вмиг все прошло — непонимание, глупые обиды, стычки самолюбий — раны несовпадений. Ее Аля, часть ее души, ее тела, ее жизни всегда была рядом. И вот — уезжала… Господи, куда? Как страшно. Марина молчала и согласно кивала. В вагоне быстро сняла с себя и надела на Алю любимый серебряный браслет, брошку-камею — ту самую, мамину и еще — крестик — «на всякий случай». Как хотела Марина радоваться с Алей, как хотела для нее этого пошлого, невероятно нужного счастья… Но почему все лились и лились слезы?

— Да ладно вам заливаться, мадам, — сказала проходившая мимо купе сгорбленная старушка. — Не хороните же.

Аля достала пудреницу и провела пуховкой по гордому носу матери.

«Отъезд был веселый, — писала Цветаева подруге, — так только едут в свадебное путешествие, нанесли подарков — настоящее приданое: у нее вдруг стало все и белье и постельное белье и часы и чемоданы и зажигалки — и все это лучшего качества… я в жизни не видела столько новых вещей сразу, да и то не все».

18 марта нагруженная чемоданами, элегантная, красивая, полная надежд и веры в счастливое будущее, Аля ступила на перрон московского вокзала — из репродукторов рвалась боевая «Марсельеза», звучали марши, звонкие голоса.

— «Я знала, когда приехать. В праздник Парижской коммуны — день моего приезда — всегда будут вывешивать красные флаги!»

От встречи с Москвой у Али кружилась голова. И ведь не в гости приехала — домой!

Ей вспомнился чудесный фильм «Цирк» с гордой поступью атлетов «Ши-р-р-р-ока срана моя родная!» РОДНАЯ! «Родная»… — повторяла Аля, чувствуя холодок восторга в животе. По наивности приняла станцию метро Арбатская за Мавзолей (ведь там во всю стену сверкало грандиозное мозаичное панно вождя — в белом мундире и лаковых сапогах), но никому об этом не рассказывала… Друзьям в Париж взахлеб написала: «Все — своими глазами, своим сердцем, нашими глазами, нашими общими сердцами!» «Была на Красной площади — я ваша Алища, та самая, с обмороками, капризами, голодовками, аптеками, я — неряха растяпа, я — ваша парижская несносная и так хорошо вами любимая — ваша!»

Меньше чем через две недели от Али пришло первое письмо родителям. Она сообщала, что живет в Мерзляковском переулке у

тети Лили Эфрон. Получила предложение сотрудничать в журнале «Revue de Moscou» и в издательстве, даже с перспективой оформления постоянной работы. Писала, что живет с чувством, как будто никуда не уезжала из Москвы.

«Ну, и слава Богу…» — подумала Марина, а увидела, что с отцовской иконы смотрит на нее не темный лик Николы Чудотворца, а спокойная морда Мышастого. Безразличная, равнодушная и от того — страшная.

* * *

«По вечерам на кремлевских башнях горят звезды и все так же, как в нашем детстве, бьют часы…» — Сергей с замиранием сердца перечитывал письма Али. Марина слушала без слез умиления, подмечая другие детали:

— Аля пишет, что мужа ее молоденькой подруги арестовали. Как это арестовали? За что? Он же был коммунистом!

— Вы не представляете, Марина, сколько врагов у СССР! Зачастую скрытых, глубоко законспирированных. В среде коммунистов засели особо опасные.

— И в этот кошмар вы рветесь ехать.». — Марина не могла удержаться от иронии.

Лето 1937 года прошло благополучно, письма от Али, хоть звучали слишком идиллически, все же успокаивали. Девочка, несомненно, светится радостью — это очевидно. А раз так — уже слава Богу.

Во второй половине 1930-х гг. бремя жизни тяготит Цветаеву. Она больна. Больна, как Поэт. Неприятие жизни и времени — лейтмотив стихотворений в это время.

Уж лучше на погост —
Чем в гнойный лазарет
Читателей корост
Читателей газет!

Это кусочек из длинной, едкой отповеди читателям газет — «гнойных корост».

Поколенье, где краше
Был — кто жарче страдал!
Поколенье! Я — ваша!
Продолженье зеркал.

Это отрывок из обращения «Отцам».

«Век мой — яд мой, век мой — вред мой,
Век мой — враг мой, век мой — ад

— из стихотворения «О поэте не подумал».

Она завершает «Повесть о Сонечке», готовит к печати «Стихи к Сонечке», без малого двадцать лет пролежавшие в тетради. Недавно возникший журнал «Русские записки» принял и повесть, и стихи. Но радости нет, нет почвы под ногами. И надежды нет.

Летом 1937 года в Париже сенсация — открылась Всемирная выставка искусств и техники. Крупнейшими были советский и немецкий павильоны. Советский представлял собой галерею длиной 150 метров, возвышавшуюся на холме Шайо. Спроектированное Б. Иофаном здание облицовывал самаркандский мрамор и венчала знаменитая 24-метровая скульптура рабочего и колхозницы, созданная по проекту В.И. Мухиной. В воздетых руках металлических колоссов скрещивались серп и молот — эмблема советского государства. Внушительно. И как в маршах Дунаевского — летучая радость мелодии накладывается на гипнотически-подчиняющий ритм, так и гармоничный созидательный порыв изваяний не скрывает увесистой стальной мускулатуры, лишь подчеркивает мощь. Как раз напротив возвышается павильон Германии. Много мрамора, угрожающей увесистости, а на шпиле над входом массивный орел со свастикой в когтях. Павильоны стояли словно дуэлянты, и ни один не уступал другому ни сантиметра — ровно 160 метров в высоту. Главный приз советский и немецкий павильоны, в результате, поделили. Расстановка сил в мире определилась.

Марина обошла светлые залы с гигантскими снопами пшеницы, горами румяных яблок, душистых глянцевых мандаринов, корзинами винограда и башнями из бутылок крымского вина (вспомнился эпизод разгрома винных складов в Феодосии). На огромном панно, сделанном из уральских самоцветов, была изображена умельцами выплавка стали в доменной печи могучими сталеварами, ковер во всю стену, сотканный руками освобожденных женщин Востока, изображал во весь рост любимого вождя в белом мундире, с трубкой в руке. А сколько фоторепортажей, макетов, скульптур! Во всем демонстрация мощи и мирного созидательного труда. Как Марине хотелось верить Але и всем этим мило улыбающимся школьникам с белыми бантами за партами на фотоснимке первого сентября, крепеньким физкультурницам перед Мавзолеем, гигантскому хороводу красавиц в сарафанах и

кокошниках на огромной сцене. Верить ликующим лицам, демонстрации! Люди несли детей по Красной площади, и те махали яблоневыми ветками Мавзолею. Слава Великому Октябрю! А цветы бумажные. Банты на девочках гигантские — показушные — и красные галстуки отутюжены на славу. Вот девчушка-карапуз с букетом обнимает товарища Сталина. Мудрый и добрый вождь приподнял ее на руки, а за спиной «отца народов» блестит пенсне его ближайшего сподвижника с умильной улыбкой на гадючьих губах… Марину передернуло. Неужели так глубоко въелась вражда, что человек, поблескивающий из-за плеча Сталина узкими очками, вызывает омерзение исключительно по тому же принципу, что и любая бандитская шайка, устроившая шабаш у незаконно, насилием и кровью захваченного Кремля? А что законно? Взрывать Государя батюшку Александра II было ой как героически! А они с Сережей боготворили народовольцев. И о революции мечтали — молокососы! «Не хочу, не хочу думать об этом!!» Ощущая подступающий рвотный спазм, Марина быстрым шагом вышла из павильона, глубоко вдохнула, подняв лицо к небу, — серп и молот с германской свастикой явно состязались, мерились силой. Больше угрожали друг другу и утверждали собственную мощь, чем убеждали в мирных намерениях.

— Теперь вам понятно хоть что-то про эту страну? Не варвары же они, правда? — подошел к жене Сергей. В залах он следовал на шаг позади Марины, дабы не вызывать своим восторженным видом вспышку раздражения.

— Затаившиеся варвары. «Потемкинская деревня» — вечный российский трюк. Трюк выполнен отлично. Девочек этих с бантами почему-то жутко жаль! Радуются… — Марина быстро зашагала на боковую дорожку и села на лавочку среди подстриженных кустов.

Обхватила голову, сморщилась. — Стучит… — быстро закурила, затянулась. Скривилась, отбросила папиросу. — Словно молотом по темени. Вон тем — она двинула плечом в сторону статуи.

— Полагаю, у вас сегодня слишком много впечатлений, — он ждал хоть слова похвалы от Марины. Ошибся.

— Слишком много, — согласилась Марина. Она все же была на редкость покладиста, Сергей возликовал — вероятно, ему удалось сдвинуть упрямицу с позиции отрицания. Искоса поглядывал на горбатый профиль, такой знакомый и некогда любимый. Некогда? И сейчас. И сейчас. Постаревшая, измученная, озлобленная, утратившая тот юношеский свет, на который, как мотылек, Сережа Эфрон бросился в Коктебеле 26 лет назад — она

все же была единственной. Позолота влюбленности почти слетела, как осенние листья в саду. Оставалось главное — «совместность». Вернее — надежда на остатки совместности. На какое-то глубинное переплетение корней, которое удержит, не даст распасться, а значит — пропасть поодиночке, непонятыми, ненужными. Что-то должно удержать. Печати клятв? Посланные в вечность слова любви? Привычность парности? Рок? Сложный узел судьбы, заарканивший жертв? Капкан, захлопнувшийся с первой минуты их встречи? Все вместе. И многое другое, смертному неведомое. Самые тонкие моменты в этом союзе не объяснить обычными житейскими категориями. Как бы близко ни подходили они к черте развода — на последний шаг не решались, цепляясь друг за друга. Или что-то держало их?

И еще вопрос — что дал каждому этот союз? Очевидно, что для Сергея — многое. Поддержка физическая, поддержка духовная — вера в единение, непреклонное восхищение и уважение. А еще поддержка ее прозорливости, воли, командной решительности. И за это за все Сергей должен был платить преданностью до последнего нерва, последнего дыхания? Прощать пытки измен, увлечений, самодурства, тяжелого характера, капризы… А она? Что ж — много выиграла? Преклонение? А бабья жертва Поэта, принесенная быту, нищенству, постоянной нужде, беспомощности мужа-недобытчика, незащитника. Марина получила мужа-дитя — с ангельской чистотой и нерушимой преданностью ей. Могла бы десять раз бросить? Не могла. В том и сила — ни уйти к другому, ни бросить Сергея, оставшись в Париже, она не смогла. Узел высшей сложности, с вплетением редких по прочности понятий чести, ответственности, любви. Настолько неразрывных, что все разумные аргументы против оказались досужей, пошлой мелочью.

Выставка не помогла переменить убеждения Марины насчет СССР, как и Алины восторженные письма. Жизни супругов катились врозь, расходясь все дальше. Эфрон подолгу не бывал дома, временами жил отдельно от семьи: в большой квартире «Союза возвращения» на улице де Бюсси была комната, которой он теперь как руководитель «Союза» мог пользоваться. И пользовался, стараясь поменьше сталкиваться с Мариной. Она чувствовала, что отстранена, что потеряла не только влияние, но и доверие, а значит — возможность помочь. А то, что Сергей постоянно нуждается в руководстве — в вожаке, — Марина не сомневалась. Не она — найдутся другие: приручат, заманят. Не в Эдемский сад — в волчью яму. Нельзя его оставлять без надзора! А надзирать она разве считает для себя приемлемым? Только одно решение — отстраниться. И все же попытки сблизиться с

Сергеем Марина не оставляет совсем.

— Постойте! Я снова не увижу вас несколько дней? — Марина успела остановить уходящего Сергея в передней. — У меня впечатление, что вы избегаете меня.

— Я потерял надежду найти с вами общий язык. — Сергей в нетерпении мял шляпу, стоя у двери.

— Ваша жизнь для меня сейчас — потемки. Вы отстранились. Приносите деньги, говорите, что они получены от мецената. Я не спрашиваю, кто и за что вам платит, я вообще стараюсь не вмешиваться — мое вмешательство лишь разжигает вражду. Но… Сережа! Мне страшно! Вы наивны, от этого и страх за вас, за ваше рыцарское безрассудство.

— Мне надо уехать. — Он старался не встретиться с ней взглядом. — Там может быть опасно.

— Понимаю, понимаю… Разве вы можете сидеть дома? Если бы все остались, вы бы один пошли, если опасно. Потому что вы безупречны. Потому что вы не можете, чтобы убивали других… Потому что вы беззаветны и самоохраной брезгуете, потому что «я» для вас не важно, потому что я все это с первого часа знала! — выкрикивала она, и по искаженному лицу текли слезы. Как же часто она стала плакать! — Я боюсь за вас, за вашу доверчивость, отзывчивость. Я должна, должна, должна что-то сделать! — Марина взяла его за плечи, с силой встряхнула, пристально посмотрела в глубину зрачков. — Скажите честно, уверены ли вы, что не изменяете себе? Своим понятиям чести? Что, увлекшись химерами, не лжете своей совести? Что не заманиваете других ложными мечтами?

— Вы знаете: ложь для меня — смерть. — Сергей опустил глаза. — Но разве я могу быть откровенным с хитрым врагом, стремящимся уничтожить меня? Разве я могу быть до конца правдив, рассказывая о достоинствах страны, которую не видел?

— Вы только рассказываете о достоинствах? — Ее льдистые умные глаза высохли, и Сергею померещилось, что она знает куда больше, чем он предполагает.

— Марина, я не имею права разглашать все, что касается моих дел. Поверьте, это в интересах и вашей безопасности, а также Мура и в первую очередь — Али.

— Конечно, конечно… Идите, вы, кажется, спеши-) ли… — Марина отвернулась, сгорбилась, опустилась на табурет… — Я и не прошу рассказывать. Но когда вы подбиваете меня вернуться, я боюсь оступиться и попасть прямо в грязь. Грязь — это слишком благовонно. Есть и другое слово, но оно уж совсем дурно пахнет, — ее злоба нарастала и готова была выплеснуться истерикой.

Он застыл у входной двери, окрашенной облупленной коричневой краской, уронил голову. Робко протянул к ней руку, словно боясь удара, тронул плечо:

— Марина… Прошу вас, будьте снисходительны.

Выражение было такое, словно он просил прощения и молил не добивать его расспросами. Марину пронзила острая жалость:

— Сережа, вы мой рыцарь, вы были и остаетесь для меня образцом чести, верности, но почему, почему мое влияние оказалось таким ничтожным? Почему я не смогла оградить вас от опасности обмана?

Он повернулся к ней, и лицо его стало непривычно жестким:

— Наверно, я бы не ушел в дебри политики, если бы вы были со мной. Это вы бросали меня, Марина. Я чувствовал себя таким мелким, ничтожным, когда вы рвались к другому…

— Простите… Так я устроена. Раня вас, поверьте, ранилась сама… Приросла всей кожей, всеми изгибами души… А потом — рванулась! И что осталось? Сплошная разбитость, осколочность… Простите… Да что я прошу невозможного! Я и сама не способна простить себя… Сама во всем виновата, — она встала, шагнула к двери в комнату, остановилась, прислонившись к притолоке. Повторила тяжело: — Са-ма…

— Не стоит теперь выяснять, кто и в чем виноват. Так уж случилось. Ведь это только одна причина. Допустим, женские измены — можно забыть и простить. Но если я не ваш друг, любовник, соратник — настоящий, неизменный, то кто тогда? *Муж поэта* Цветаевой? *Я* не занялся бы общественными делами, если был бы по-настоящему талантлив в чем-то другом. Вы преувеличиваете мои литературные или актерские способности, но я могу дать себе верный отчет — это слабенький дилетантизм. Мое дело — политика. Да! По-вашему — «грязь». Россия в кольце предательства. Надо пройти через грязь, чтобы суметь вернуть прежнее. Выходит — я кем-то «приговорен» к «грязи».

— Милый мой, дорогой, родной человек, нельзя вернуть прежнее, — она сжала его предплечье. — «Той России — нету…» — той, в которой мы жили, которую мы любим, по которой тоскуем, в которую мечтаем вернуться… Ах, все попусту… Вся наша «грызня» — только трепка нервов. Пусть каждый идет избранным путем. Я верю, что на дурное дело вы не способны, какие бы «верные» друзья не тащили в омут. И клятва моя в силе — я не брошу вас, учтите — даже на эшафот я поползу за вами. Как собака.

* * *

В конце сентября 1937 года Париж потрясло известие об исчезновении председателя Русского общевоинского союза (РОВС) генерала Е.К. Миллера. Это был второй случай: в январе 1930 года советские агенты похитили его предшественника — генерала А.П. Кутепова. Генерал Миллер бесследно исчез 22 сентября, на следующий день стало ясно, что и он похищен чекистами.

Неизвестно, с какого момента Эфрон понял, что действия НКВД не сводятся к одной лишь агитации и защите от антисоветской клеветы. Скорее всего, момент прозрения можно приурочить к похищению генерала Кутепова, а нападение на Миллера подтвердило догадки. Разумеется, в НКВД хорошо знали, что разведчик из Эфрона никогда не получится. Его можно было использовать только в качестве ширмы. Или — обманув доверие, манипулировать, как Петрушкой в кукольном театре. Кроме того — им не жаль пожертвовать. Доверять ему, естественно, было нельзя. Только «купить». И только за одну цену — возвращение на родину.

О похищении Миллера Эфрон услышал мельком от шофера служебного автомобиля Союза, но ничего не понял — генерала должны были отвезти на срочное совещание. На следующее утро из газет Эфрон узнал, что Миллер был похищен чекистами и, вероятно, убит. Весь день он в отчаянии бродил по окраинам города. Поздним вечером, вернее — ночью, с безумными глазами смертника, чуть опьяневший от выпитой в каком-то баре рюмки коньяка, измятый (видимо, лежал на скамейке в парке), Эфрон пришел на явочную квартиру к своему Куратору.

— Да вы сума сошли, Эфрон! В таком виде шатаетесь по городу в то время, когда вся полиция поднята на уши! — элегантный поджарый господин в велюровом халате с бранденбурами осторожно выглянул за полузадернутую плотную штору. Снял наусники, мизинцами поправил безупречную форму «вильгельмовских» — концами вверх — усов. — Повезло, хвоста не привели. Три часа ночи — вы хотя бы в курсе?

Эфрон пятился к двери:

— Н-н-нет… Часы… потерял где-то… Понял! Я должен уйти!

— Да сидите вы, черт бы вас побрал) «Ветеран»! Юнкер, сопляк! — он налил полстакана виски: выпейте немедленно.

Сергей выпил, и после того, как пошла кругом голова, понял, что к Марине он уже не пойдет. А ведь раздумывал, гадал весь день — куда повернуть, как решить свою судьбу? Утопиться? Да, нет — к Марине! Она придумает, она все поймет, она найдет выход… Она — самая надежная и преданная. В лиловых сумерках постоял у двери знакомого подъезда, посмотрел на огонек в окне

(Марина писала) и заплакал, озаренный правдой: поздно каяться, он запутался, потянет за собой и ее… Ив этот момент только осенила его замутненное утопической мечтой сознание догадка — обратного пути нет! Ни в рыцари, ни в Лебединый стан, ни к Мариниому доверию, ни к себе самому — прежнему. Да и родины — такой, как намечтал себе, — нет!

Перед Мариной лежало Алино письмо, С ним она спорила — буквы на листке отбивали мажорный марш, и каждой хотелось орать: «Опомнитесь!»

Да не поклонимся словам!
Русь — прадедам. Россия — нам.
Вам — просветители пещер —
Призывное: СССР —
Не менее во тьме небес
Призывное, чем SOS.

SOS СССР — призыв к помощи гибнущему. «Спасите наши души!» Спасите Россию! Это единственный лозунг для Марины. Сергей, Алечка — отдалившиеся, заблудшие — услышьте же!

Он, стоявший под окном в жалкой нерешительности, не слышал SOS ни себе, ни своей мечте. Отвернулся и медленно побрел подальше от дома. Как он попал к куратору, не помнил сам.

«Тоска по родине — разоблаченная морока! Мне совершенно все равно, где совершенно одинокой быть…» — бубня засевшие в памяти строки Мариниого стиха, Эфрон задремал на диване в чужой комнате. Ее строки застряли в памяти Сергея намертво, будто сочинил сам. Некоторые Маринины поэтические признания, посвященные другим, пытали его, не желая забываться. Но наслаивались новые, и он прокручивал их в голове тысячи раз, забивая обиду. Потом Куратор с несколько брезгливой насмешкой растолкал Эфрона и велел умыться и привести себя в приличный вид. Приличный… Интересно, что за смысл он вкладывал в это понятие? Наусники, бранденбуры, старомодный прононс? И этого достаточно? «Приличный» мужчина может затолкать в багажник политического врага. Только должен сделать это элегантно, не замарав пальто и перчатки.

Обтерев выбритое лицо с кровоточащими порезами — бритва дрожала в руке, — Сергей вышел на кухню. Куратор ждал его с чашкой крепкого кофе. Знакомый аромат нежащего благополучия, теперь уже недостижимого, снова защипал в носу. Глаза набрякли слезами.

— Там на полке тальк — присыпьте порезы, а то кажется, что я вас пытал, — куратор был уже одет в серый элегантный костюм с галстуком. Густые с сединой волосы влажно расчесаны на косой пробор. От крыльев носа к уголкам рта спускаются две глубокие, жесткие складки — как раз к завиткам усов — продуманный архитектурный ансамбль. Он был похож на Родзиевича. Вероятно, благодаря скрытой насмешке в глубине глаз — насмешке победителя. Он снисходительно наблюдал за тем, как Эфрон механически отхлебывает кофе, и пододвинул к нему вазочку с сухариками и бисквитами. — Перекусите, у вас голодные глаза… Да возьмите вы себя в руки, наконец. Налить в кофе молоко? Ладно, пейте черный. И объясните, в чем, собственно, дело? Жена ушла к Сувчинскому? Обокрали кассу Союза?

— Что они сделали с Миллером?

Не знаю и не интересуюсь, — куратор налил себе кофе с молоком. Аккуратно намазал серебряным ножичком масло на круглый бисквит. — Эту операцию вела не моя группа. У нас законы военные. Надеюсь, не надо объяснять? Наша организация, подчиняющаяся лишь одному правилу; пользе дела. Дело — работа на СССР. Работа жестокая, грязная, в которой допустимы любые методы. Есть понятие — классовый враг. Миллер — матерый враг. По-вашему надо церемониться с тем, кто собирается вцепиться вам в глотку? Вы же воевали, Эфрон. Должны понимать!

— Но сейчас мирное время, и есть другие методы убеждения.

— Часто они бесполезны. Я, например, с огромным трудом убедил вас стать полноценным членом нашей организации. Теперь вы числитесь в рядах наших сотрудников и Даже получаете деньги. Знаете, сколько человек, завербованных вами, указано в вашем послужном списке? 24. А скольких «добровольцев» вы лично через «Союз возвращения» завербовали воевать в Испанию в Интербригаду? Между прочим, вопреки запрету французского правительства. А слежкой за сыном Троцкого занималась, насколько я помню, тоже ваша группа?

— Но мы не убивали его!

— И не вербовали агентов?

— Вербовал? — растерянно моргнул Сергей. — Я лишь разъяснял, что враждовать с СССР — бессмысленно.

Надо стараться помочь стране, которую считаю родиной. А Троцкий — это враг. И когда речь идет о реальной опасности Родине…

— Так вы, Сергей Яковлевич, как я понимаю, тоже готовы прийти на помощь? Вот и поможете. Вам поручено ответственное задание в новой операции. Задание, правда, самое простое. Вы

знаете Игнатия Рейсса?

— Заносчивый тип. На многое способен.

— Именно! Сволочь исключительная! Передал сотруднице нашего посольства письмо, адресованное лично товарищу Сталину. Бросает в его адрес чудовищные обвинения. Ну, и самым хамским образом объявляет, что порвал с советской властью…

— Обвиняет товарища Сталина?! Порвал… — Эфрон даже привстал. — Не может быть…

— Прочтите сами, что пишет Сталину наш проверенный сотрудник. — Куратор протянул Сергею листок.

«Близок день суда международной общественности над всеми вашими преступлениями…» — Листок выскользнул из дрожащих пальцев Сергея. Покачнувшись, он почти рухнул в кресло.

— Простите… у меня с детства бывают приступы. От сильного потрясения. Сосуды…. Это невероятно! Судить Сталина! Как… как можно так ошибаться? Последняя книга товарища Сталина — это же гениальное указание пути! Сталин определяет две главных задачи — оборона и развитие, охрана прав и благ человека-гражданина — в жертву им все и приносится. Разве это не понятно? Разве каждый честный гражданин не должен подписаться под этими словами?

— Но вы, как человек чести, упускаете мотив личной корысти, нечистоплотной борьбы за власть. Боюсь, Игнатий Рейсс не остался в стороне от затевающегося заговора.

— Заговора?! — Сергей побледнел, облизал пересохшие губы. Отношение Эфрона к Сталину было более, чем трепетным. Главу социалистического государства он считал залогом будущего развития страны, ее мирного, созидательного существования. Неизвестно, сколько специально состряпанных «агиток» просмотрел Сергей вместе со своими подопечными в «Союзе возвращения», но его вера в кристальную чистоту личности Сталина и его талант государственного вождя была неколебима. Сергей Яковлевич Эфрон принадлежал к типу людей, нуждавшихся в кумире и беззаветном служении идее, персонифицированной в конкретном человеке. Над этой чертой, видимо, унаследованной от родителей-народовольцев, тайно посмеивался Константин Родзиевич.

Как-то, еще в Константинополе, между ними состоялся такой разговор:

— Я — человек без принципов! — весело сообщил Константин. — Вернее — принцип только один: прожить жизнь по касательной. То есть так, чтобы пораниться как можно меньше. И вроде получается.

— А моя жена утверждает, что обладает свойством расшибаться обо все углы с детства. Я, кстати, тоже. На этом и сошлись. — Сергей улыбнулся Родзиевичу. — Понимаю, что ты шутишь. А вот я всерьез. (Как я тогда не сумел увидать хоть тень грядущей опасности? Почему не дан нам дар предвидения? — пронеслось в голове. И ответ: узнал, убил бы еще тогда.)

— Уже заметил. — Глаза Константина смеялись. — Вы отличная супружеская пара. Но! Послушай меня — на долгожителей вы не потянете. Этак расшибаться без разбора… Может, все же, соломку подстилать?

— Понимаю: хитрить, лавировать… — Сергей, глянул на друга виноватыми ясными глазами. — Не умею.

«И верно — не протянет он долго на этой стезе», — подумал Родзиевич. Его собственная жизнь среди опасностей разведслужб, войн, интриг закулисной борьбы была спокойнее и на четыре десятилетия длиннее, чем жизнь Сергея и Марины.

— Не удивлюсь, если Рейсс готовит заговор против товарища Сталина. Вовремя сбежал, опытный волк…

— Как же так? — растерялся Сергей. — Как упустили? Его надо немедленно найти и передать руководству.

— Именно. И срочно. Это мы и поручаем вам. Есть сведения, что он может прятаться в Лозанне. И, вероятно, вступит в контакт со своей давней соратницей по подпольной борьбе — Гертрудой Шильдбах. Она работала с ним в Берлине, вы с нею мельком знакомы по делам евразийцев.

— Чистый, преданный делу человек.

— Разыщите, объясните ей, какие метаморфозы произошли с Игнатием. Подчеркните его опасность. Постарайтесь, чтобы сложность задачи она поняла. Гертруде надо лишь пригласить Рейсса в загородный ресторанчик.

— Отличная идея! Вполне возможно, Гертруда сможет переубедить Рейсса.

Куратор расхохотался:

— Слышал, вы были неплохим актером, Эфрон. Комедия — ваша стихия. — Серые глаза стали серьезными:

— Это тот случай, когда переубедить не сможет никто. Она должна заманить его в ловушку!

— Заманить в ловушку? — Эфрон растерялся: — Это шутка?

— Серьезнее не бывает, — жестко ответил Куратор. — Вы же сами едва не рухнули без сознания, узнав про заговор. Разве заговор против Сталина не ловушка? А маневр для поимки главного врага вас смущает нечистоплотностью? Да..» — Куратор приблизился к Эфрону и почти выкрикнул: — В ловушку! Именно: заманить Рейсса в ловушку!

— И я должен это ей предложить?

— Найдите любую мотивацию. Заставить! Угрожать, в конце концов! Действуйте, Эфрон, действуйте! Но дама должна пригласить старого друга пообедать и прогуляться в тихий лесопарк. Остальное наше дело. Вот инструкция — прочтите, запомните и сейчас же сожгите, — куратор достал из папки листок и протянул Сергею.

— Готово, у меня хорошая память! — Прочтя записку, Сергей поджег ее и проследил, как почернел и рассыпался на металлическом подносе скрючившийся листок.

— Повторите порядок действий.

— После разговора с Гертрудой, в котором я убеждаю ее заманить Рейсса в ловушку, мы разрабатываем план, — Эфрон нарочито отчетливо выговорил омерзительные слова. Еще большее омерзение он испытывал к себе. Но ведь Рейсс — гадюка!

— Эй, геноссе Эфрон, в облаках витаете? — вернул Сергея на землю Куратор.

— Гертруда приглашает Рейсса на дружеский обед в их любимый ресторан, я вызываю такси по телефону и еду к ресторанчику «Пеликан» на окраине Лозанны к обозначенному Гертрудой сроку завершения их обеда. Выхожу, расплатившись. Слежу, чтобы Гертруда и Рейсс сели именно в эту машину.

— А далее идете по шоссе к отелю. Вас подберет наша машина. Все!

— Что с ними будет?

— Ну, к ордену мисс Штильбах, думаю, не представят. Рейсса будут судить по законам военного трибунала! — У Куратора потемнело лицо, словно он взял на себя сразу всю печаль мира.

— И когда только мы научимся жить по-человечески? Жить с чистыми руками… — горестно прозвучало уже в темной передней. Затем за Сергеем захлопнулась дверь и прогромыхала цепочка.

С письмом Игнатия Рейсса Сталину не все сходится. Очевидно, оно было состряпано самими агентами НКВД. Не мог Игнатий Рейсс — опытный разведчик — не понимать, что своим письмом Сталину с обвинениями в злодеяниях невиданного масштаба он ставит себя в положение мишени. Возможно, письмо адресовалось доверенному лицу из правительства, которому Рейсс хотел открыть глаза на происходящее в СССР? Ему было совершенно необходимо, чтобы-те, кто еще заблуждался, те — из старой армии, к которой принадлежал сам Игнатий, узнали правду. Наивно? А если суметь открыть глаза, и бойня невинных овечек, «по ошибке» уезжающих в черных воронках, прекратится? Россия больна. Россия в паутине лжи, а паутина из стальных

тросов. В центре — кровавый безжалостный монстр, жертвующий миллионами ради власти. Рейсс видел кинохронику: вымирающие деревни, случаи каннибализма — безумный голод спровоцировал Сталин. Об этом знали очень многие — но молчали. Однако среди недовольных зрел заговор. Вот им, возможно, и предназначалось письмо, отправленное Рейссом по конспиративному каналу. Но старый вояка невидимого фронта просчитался — его предали.

Улизнув от своих коллег в Лозанну, он чувствовал давно забытую легкость и молодцеватую удаль — впереди новая жизнь. И Гертруда вдруг нашлась — чудесная встреча с юностью. У цветочницы на углу он купил белые астры и по привычке, глянув в стекло витрины, заметил мужчину с газетой. О, этот тип НКВДешников он отличал безошибочно. Значит — хвост. Значит — затея с письмом провалилась. Слежку не постарались скрыть. Гертруду подставили. Значит — обложили со всех сторон. И… вытекает из этого всего, что жить осталось часа три. Не густо для обеда с дамой и лирической прогулки… Мгновенно в голове Игнатия пронеслись все варианты спасения — и все кончались одинаково — переиграть своих бывших коллег Райссу в этой ситуации не удастся. Выкурив сигару в номере гостиницы, он позвонил Гертруде и пригласил ее пообедать в их любимый ресторанчик, куда они заглядывали в те счастливые годы, когда она была юной курносой блондиночкой в очках, а он стройным «соратником по делам идеологии».

Они уже приступили к десерту, когда Игнатий решился сделать то, для чего и хотел встретиться с бывшей подругой:

— Гертруда, ты давно была в СССР? Что ты о них знаешь? Ты знаешь о миллионах арестованных невинных людей? Слушай, я написал обо всем этом человеку, связанному с антиправительственной группировкой.

Гертруда постарела за эти годы, ее круглые кукольные глаза сквозь очки смотрели растерянно:

— Я что-то слышала… — пролепетала она неуверенно. — Написал?! А ты не боишься? Игнатий, тебе необходимо срочно бежать в Америку. Здесь ты долго не продержишься. У меня есть знакомые в американском консульстве. Я могу завтра же получить для тебя визу.

Игнатий положил крепкую смуглую руку на ее худенькую в пигментных пятнах лапку и почувствовал, как рука Гертруды подрагивала, словно хотела вырваться.

— В Америку — так в Америку! Спасибо, дорогая…

— Игнатий! — она что-то хотела сказать, но осеклась… — Жаль, мало поговорили…

— Ты помнишь дуб у дороги в Данциг… Там за поворотом, где пустынный отрезок дороги, мы прозвали его Мартин, как столяра с Берлинерплатц. Нам было весело, детка…

— Не смущай меня, прошло тридцать лет, — Гертруда обхватила руками лоб. Казалось, она сейчас заплачет. Вполне естественно при воспоминаниях о юношеских забавах. — Он, наверно, совсем старый, этот Мартин.

— Сто лет для дуба — не возраст. Думаю, Мартин еще пыхтит. Едем, я хочу постоять под его ветвями. Когда-то я думал, что так же силен, как он, и черпаю от него силу. Во всяком случае, ты не жаловалась?

Расплатившись, Игнатий вышел и тут же поймал такси. Гертруда села.

— Едем к Данциг, — сказал Рейсс шоферу.

Эфрон в черной машине, снявшейся тут же со стоянки у ресторана и последовавшей за такси с Рейссом, сидел на заднем сиденье рядом с молчаливым молодым брюнетом. Больше всего он боялся, что предстоит борьба, ему придется выворачивать Рейссу руки или совать под нос ватку с эфиром. Или укол? Он не мог унять дрожь, опасность нервного приступа была близка.

— Можно включить музыку? — спросил он у шофера, надеясь сбить нервное напряжение.

Тот хохотнул:

— Любите Брамса? Си-бемоль мажор. Звучит к случаю…

Сергей ничего уже не понимал. Увидел стоящее на отдалении знакомое такси, ближе к дороге мощный дуб, совершенно зеленый, темный, глянцевый, полный сил, шелеста и довольства собой. Под ним — одинокая фигура мужчины в сером плаще с поднятым воротником. Он смотрел прямо на подъезжающую машину и улыбался! Сергей зажмурился. В мозгу забубнило Маринино:

Деревья! К вам иду! Спастись
От рева рыночного!
Вашими вымахами ввысь
Как сердце выдышано
…лечите
Обиду Времени —
прохладой Вечности…

Резко взвизгнули тормоза разворачивающейся машины. Сергей успел увидеть, как сидевший рядом с ним блондин прячет пистолет. Под дубом, слегка прислонившись к стволу спиной, стоял мужчина с лицом, словно залитым красной краской. На

войне все было другим — даже цвет крови.

Позже стало ясно, что Игнатий не разрешил Гертруде выйти из такси, заявив, что хочет «попрощаться с дубом один». Она не сопротивлялась. Боялась сорваться. Игнатий же, ждавший, что приговор будет приведен в исполнение, опасался, что Гертруда не выдержит, расскажет ему все, выдаст себя. А тогда… Тогда ее ждал тот же конец.

В общем, операция была проведена удачно.

«Можно ли вернуться, в дом, который срыт?»

Симпатий Цветаевой под влиянием восторженных писем Али к Союзу не прибавлялось. Она негодовала, когда Аля из Москвы прислала статью для публикации в парижском журнале «Наша родина», издававшемся на деньги советского постпредства. Марину возмущал Алин восторг и особенно то, что никаких недостатков в жизни на родине та не замечала. Даже со скидкой на цензуру щенячий восторг дочери раздражал.

И вдруг — гром среди ясного неба — в газетах появились сообщения, что евразиец Сергей Эфрон причастен к убийству советского чекиста-невозвращенца Игнатия Рейсса. Убийство Рейсса произошло в Швейцарии в ночь с 4 на 5 сентября 1937 года. Идя по следу убийц, швейцарская полиция обратилась за помощью к французской. Нити вели к «Союзу возвращения» и, в частности, к Эфрону. В процессе расследования открылось также, что Союз — и он лично — вербовал среди эмигрантов добровольцев для отправки в Испанию в Интербригаду, что было запрещено французским правительством, и служил прикрытием целой сети агентов НКВД.

Зловещая тень московских спецслужб накрыла Париж. Еще не прошло потрясение от исчезновения председателя Русского общевоинского союза (РОВС) генерала Е.К. Миллера и его предшественника генерала А.П. Кутепова, случившегося несколькими месяцами раньше. И вдруг — Рейсс! Очевидно, что существовала связь между убийством Рейсса и этими похищениями.

Вызванный на допрос в парижскую полицию Эфрон категорически отрицал свою причастность к убийству и от знакомства с Гертрудой Штильбах наотрез отказывался. Свидетелей причастности Эфрона к делам НКВД не было, но самого факта сотрудничества «Союза возвращения», руководимого Эфроном, с советской разведкой было достаточно для ареста.

Беседа с Куратором испугала Эфрона. Не за себя испугался

он, за семью.

— Вы понимаете сами, Сергей Яковлевич, что в сложившейся ситуации вам необходимо скрыться. Уехать куда-то подальше. Как можно скорее покинуть страну, пока они не нашли свидетелей.

— А семья? — Сергей обмер, он так надеялся, что наградой за причастность к уничтожению злейшего врага будет возвращение в Москву.

— Это вопрос не первостепенной важности. Насколько нам известно, члены вашей семьи не в курсе вашей деятельности. И ни к чему не причастны. Опасности для Марины Ивановны нет.

— Клянусь! — с горячностью заверил Эфрон. — Но что будет с ними и куда я должен ехать?

Куратор затянул паузу, наблюдая за мукой Эфрона. Нарочито долго раскуривал сигару, менял пепельницу. Этот чудак отвоевывал право вернуться на родину и сейчас дрожал, понимая, что колесо Фортуны может повернуться совсем в другую сторону. А что, если пугануть его, с радостью сообщив, например: «Вас посылают в Латинскую Америку!»

— Нас запрашивали о присылке опытного агента в Аргентину. Но руководство вынуждено отозвать вас в Москву, — наконец сообщил Куратор. — Естественно, местная полиция должна быть уверена, что вы бежали в Испанию.

— Понял! — Эфрон ликовал.

— Десятого октября вас проводят до Гавра. Вот паспорт… Каюта на пароходе «Мария Ульянова». В Москве вас встретят. А дальше — не моя епархия.

Сергей не мог сказать ни слова. Радость была так огромна, что слишком смахивала на беду. «Так не может быть! — детское опасение спугнуть нечаянную радость трепыхалось внутри. — Так не бывает, только не со мной…»

— Марина, я уезжаю. — Сообщил он с порога и, не глядя в глаза жены, достал свой дермантиновый чемоданчик. — Не беспокойся, я сложу вещи сам. И умывальные принадлежности.

— Паспорт, деньги, — напомнила Марина машинально.

— Есть. Я еду в Испанию из Гавра — это для полиции. Вас непременно спросят на допросе. На самом деле я еду в Москву!

— Боже!.. — Марина уронила мокрую тряпку, которую отжала в ведре, чтобы нацепить на швабру. По заданию какой организации и зачем едет Сергей, теперь можно было не спрашивать — все нити вели к НКВД.

— Как вы поедете?

— До Гавра на авто, потом на пароходе «Мария Ульянова».

— Мы с Муром проводим вас до Гавра.

— Не надо, Марина, прошу вас.

— Не спорьте, мне лучше знать. — Ее прежний тон, которому Сергей не мог не починиться.

Марина поплелась бы за машиной, если бы ей не разрешили проводить мужа. Огромное черное облако беды накрыло это прощание. Она не могла понять, что видится в недалеком будущем?.Что происходит сейчас? Расстаются навсегда? А коли так, значит — прощанье? Та самая разлука — выбранная еще в юности и нависшая чугунным крестом над хрупкой радостью Бытия?

Исплаканная Цветаева с Муром провожали Сергея на машине в Гавр.

Двенадцатилетний Мур, чрезвычайно возбужденный сюжетом, столь похожим на любимые им детективы, открыто ликовал, задавал вопросы, «выдавая свою осведомленность».

— Надеюсь, у тебя другой паспорт? Ты будешь жить на конспиративной квартире?

— Георгий, помолчи. — Сергей прижал голову сына к груди. — Я все потом объясню тебе.

Машина поравнялась с колонной грузовиков. От шума задребезжали стекла. Сергей сжал руку Марины. Они долго смотрели друг другу в глаза.

— Это прощанье? — спокойно выговорила Марина сквозь сплошной поток слез.

— Нет. Я обязательно заберу вас. Только потерпите. Деньги будете получать регулярно…

Помолчав, он решился:

— Марина, одна мольба — простите меня. Я — слабый человек. Простите за все. И умоляю, не считайте меня предателем. Меня купили — за разрешение вернуться на родину. Это моя идея-фикс. Очевидно, я не могу жить на другой земле. И без вас. — Он обнял ее голову, уткнулся в ее затылок, поцеловал распухший нос. Затараторил, спеша успеть высказаться под шум грузовиков:

— Может случиться и такое, что мы больше не увидимся. Мне надо знать, что я прощен. Поймите — ничего против своей совести я не сделал. Если только… Я боролся с врагами. С опасными, угрожающими счастью моей родины. Это была война.

— Оставьте вы ваши лозунги! Оставьте ваши прощения… Все серьезней. — Выцветшие глаза Марины смотрели в глубь его души:

— Все гораздо серьезней. Вы поняли?

Он лишь покачал головой:

— Понял, что вы и моя семья — самое ценное мое достояние.

— Господи, Господи! Не понял… Я молила за сохранение жизни, а за спасение души не радела. Знала — она у вас кристальная. — Марина заглянула прямо в глубь его зрачков. — Умоляю, запомните мои первые и последние слова — они неизменны: я — ваша жена в вечности. Если заключенный тогда в Коктебеле союз оказался не для рая, знайте, я вместе с вами пойду в ад…

Полиция явилась к ней домой 22 октября в семь утра. Провели обыск, забрали все бумаги Эфрона, а затем ее с Муром пригласили в полицейский участок.

Допрос длился целый день. Самая отчетливая формулировка Марины вошла в протоколы и в историю:

— Мой муж никакого отношения к убийству иметь не может. Я в этом уверена. Мой муж глубоко порядочный человек — самый благородный и самый человечный из людей, которых я знала. Если он, возможно, и оказался причастен к чему-то, то лишь из-за своей исключительной доверчивости. Я допускаю, что его доверие могло быть обмануто.

— Каковы ваши политические симпатии? — спросил следователь.

— У меня лишь глубочайшее отвращение к политике, которую всю, за редчайшим исключением, считаю грязью. Мы с мужем живем разными жизнями, не задаем друг другу вопросов. Он часто уезжал, и я не спрашивала куда. Кажется, он сказал, что едет в Испанию.

Измученная женщина, которую следователь счел абсолютно по-женски непривлекательной, вдруг преобразилась, вздернув подбородок, выпрямив спину и, к глубочайшему изумлению полицейского, начала читать стихи. С прекрасным парижским произношением, уверенно, без пафоса:

В его лице я рыцарству верна,
— Всем вам, кто жил и умирал без страху! —
Такие — в роковые времена —
Слагают стансы — и идут на плаху.

— Вы можете идти, мадам Цветаева… вот пропуск. — Следователь протянул ей подписанный листок и не удержался от вздоха. Говорят, у Цветаевой — талант. Говорят — огромный талант и известность. Но почему несчастье преследует наиболее достойных? И почему наиболее талантливые непременно должны быть так некрасивы?

Газеты были похожи на растревоженный пчелиный улей, и всякий норовил ужалить побольнее. Заметка в «Возрождении» от

15 октября 1937 с подзаголовком «К убийству Рейсса» была озаглавлена «Агенты Москвы», этим определением справедливо объединяя убитого и убийц. Только после обыска в «Союзе возвращения» 22 октября, через две недели после бегства Эфрона — эмигрантская общественность обратила взоры на «возвращенцев».

Мур внимательно следил за газетами, ожидая продолжения детектива. Мальчишеская психология, так не сочетающаяся с его внешней солидностью и взрослостью, раздражала совершенно измученную Марину. Мур с удовольствием взял на себя миссию ознакомления матери с последними новостями. У нее не хватало сил прекратить эту пытку. Смиренно лежала, закрыв глаза и вытянув по швам руки. Просмотрев газеты, Мур готовил изложение наиболее интересных мест:

— Большая часть материала газеты «Возрождения» от 29 октября, занимающего две газетные полосы, посвящена «возвращенцам» и, в частности, С.Я. Эфрону. Коротко осветив историю раскола евразийства, автор проводит знак равенства между его «левым» крылом и «Союзом возвращения», «одним из руководителей» которого считает Эфрона, — говорил он бесстрастным дикторским тоном. — Не забыв подчеркнуть, что Эфрон «по происхождению еврей», газета обзывает его «злобным заморышем». Вот, что они пишут: «Всю свою жизнь Эфрон отличался врожденным отсутствием чувства морали. Он отвратительное, темное насекомое, темный делец, способный на все…»

— Прекрати! Это же невыносимо! Зачем нам знать всю эту сочиненную подлецами пакость?

— Нет, вы послушайте, это даже смешно: «Евразийцы будто бы называли Эфрона «верблюдом», смеялись над тем, что в нем «сочетается глупость с патетизмом». Не только деятельность Эфрона как советского агента, но сам его человеческий облик подвергался уничтожению…»

— Когда топтали меня, это было хотя бы глупо. А тут — массивная подлость. Ты сам знаешь, каковы моральные качества твоего отца, — Сильным взмахом руки Марина сбросила на пол с колен Мура газеты. — Выкинуть немедля эту грязь!

— Погодите, тут про вас! — Мур достал нужный лист: «Как известно, он женат на поэтессе Марине Цветаевой. Последняя происходит из московской профессорской семьи, была правых убеждений и даже собиралась написать поэму о царской семье. Ныне, по-видимому, ее убеждения изменились, так как она об откровенном большевизме своего мужа знала прекрасно».

— Мур, ты все отлично понимаешь. Ты — чрезвычайно умный

мальчик. Почему ты не можешь понять, что сейчас злобно и методично мучаешь живое существо — свою мать?!

— Это же не я писал…

— Но ты читал. А значит — вы заодно.

Двенадцатилетний Мур не способен был понять серьезность случившегося. Зато Марина открыла для себя истину: сын очень развит интеллектуально и совершенно инфантилен душевно.

Увы, этот диссонанс станет для Марины причиной постоянного мучения. Одно лишь спасало: ее безумная любовь к сыну, оправдывающая и перекрывающая все.

Первые дни после скандала Марина металась в панике, она была уверена, что все друзья от нее отвернутся. Многие, в самом деле, демонстративно отходили, но самые преданные не бросали.

Оставаться во Франции представлялось Марине бессмысленным: эмигрантское общество от нее отвернулось, остались лишь самые близкие; не было заработков — негде было печататься. Да и была ли она в состоянии писать?

Она и прежде — в спорах о возможном возвращении на родину — понимала, что остаться в Париже одной с Муром для нее практически невозможно. Тогда была утопическая идея уехать в Чехию. Навсегда. Теперь у Цветаевой путь был один — в Советский Союз. Аля расхваливала свою московскую жизнь и уговаривала мать приехать. Их общие друзья Лебедевы постоянно пересказывали ее письма. «От Али приходят сообщения очень бодрые. Она очень довольна, работает, переводит, рисует книги и зовет вас к себе!»

О том, звал ли в Москву Марину Сергей, неизвестно. Во всяком случае, вся их переписка шла через посольств во и, без сомнения, содержала лишь хорошо отредактированные сведения.

Почти нет сомнения и в том, что советские «представители» предложили ей вернуться: Цветаева являлась женой провалившегося агента и потому была нежелательна за границей. Советское постпредство ее «опекало». Приходилось жить по указке постпредства: восстанавливать советское гражданство, оформлять документы, получать визы; из советских рук переписываться с мужем… Мур оставил школу — отчасти это было связано с делом его отца и просоветскими высказываниями мальчика; он стал заниматься с учителем.

Цветаева начала готовиться к отъезду. Самое важное было разобрать и привести в порядок свои бумаги. Она знала, что многое из рукописей, писем, книг невозможно взять с собой; надо было решить, что, где и кому оставить. Цветаева просмотрела все свои рукописи, кое-что доработала, стихи, написанные после «После России», переписала в отдельную тетрадь; «Лебединый

Стан» и «Перекоп» тоже. В старых тетрадях появились ее теперешние пометки: иногда она поправляла прежние стихи и делала к ним замечания. Она заново проживала свою жизнь. Работа растянулась на год. Одновременно Цветаева ликвидировала свое имущество: распродавала и раздаривала книги, мебель, утварь. В июле 1938 года они с Муром выехали из квартиры в Ванве, в которой прожили четыре года, конец лета провели на море в Див-сюр-мер (Dives-sur-Mer), осенью поселились в дешевом отеле в Париже — «хозяйство» им было уже не нужно.

Погруженная в свои дела и хлопоты, о событиях в мире Цветаева узнавала по радио и еще больше от Мура. Стихи не писались. Сентябрьские события 1938 года вывели Цветаеву из творческой немоты. Нападение гитлеровцев на Чехию вызвало негодование, и хлынула лавина антифашистских «Стихов к Чехии»:

О слезы на глазах!
Плачь гнева и любви!
О, Чехия в слезах!
Испания в крови!
О черная гора,
Затмившая — весь свет!
Пора — пора — пора
Творцу вернуть билет.
Отказываюсь — быть,
В Бедламе нелюдей
Отказываюсь — жить,
С волками площадей
Не надо мне не дыр
Ушных, ни вещих глаз.
На твой безумный мир
Ответ один — отказ.

В сущности, она прощалась с жизнью. А прощания с Парижем не было: «Здесь от меня не останется ни нитки». свои силы, она вдруг почувствовала себя слабой, неспособной справиться с обстоятельствами. Какой-то мелкой, бабски-суетливой, недоверчивой, бестолковой. И совершенно одинокой! Целыми днями она взвешивает «за» и «против» отъезда, разбивая в пух и прах преимущества обеих вариантов. Повторяла, как заклятье, шевеля бледными губами:

Можно ли вернуться

В дом, который — срыт?
Той, где на монетах —
Молодость моя,
Той России — нету.
— Как и той меня.

Но ведь вся семья намерена твердо жить только в Союзе! А если такой вариант: Сергей с Алей там, а мать с сыном здесь? Какая будущность ждет мальчика в эмиграции? На какие средства существовать? В Москве живет любимая сестра Аська, там образовался «круг настоящих писателей, не обломков»… Откуда было знать Цветаевой, что Анастасия арестована, сослана и сестрам больше не суждено встретиться? Что никаких «писательских кругов» вне идеологического официоза Союза советских писателей в Москве давно нет. Есть изгои, жертвы и те, кто пытается хоть как-то подстроиться к режиму и выжить. А уж прочее, прочее… О прочем и в страшном сне присниться не могло.

Париж не был любим Цветаевой никогда, даже в дни увлечения Наполеоном, теперь он превратился в осиный улей жалящих, презренных людишек, унижавших жену чекиста, город неприятия, нищенства, оскорблений, город чужого богатства и преуспевания. Чертова ловушка, изломавшая хрупкое нутро ее мужа, отнявшая дочь, способность вдохновенно и регулярно работать. А Россия? «Дом, который срыт»? Не просто срыт, спален. Да и не пепелище там, а нечто инородное, зловещее — гибельная трясина. Друзья старались смягчить страхи Марины, цитировали звонкие Алины письма. Нет, Марина не заблуждалась. Одаренная высшим зрением, она яснее всех понимала, на что идет. Ее несовместимость с большевиками фатальна: «мерзость, которой *я нигде* не подчиняюсь, как вообще никакому организованному насилию». «Организованное насилие» — точная формула, выведенная аполитичной, плохо информированной литературной женщины. Поразительно безошибочная.

Итог однозначен: ехать. К чертям все раздумья — «выбора нет: нельзя бросать человека в беде, я с этим родилась». Так, оказывается, все просто.

Удивительный «стальной хребет» нравственности. А как же бесконечные увлечения, душераздирающие романы? — Условия игры в Поэта. Сценические обстоятельства, силой воображения переводимые в жизненные. Пожар души, рождающий творчество. Она умела генерировать в себе это напряжение всех чувств. А тут

— только тревога. Какие увлечения, если Сергей в беде? Письма от него так гладки и однотипны: «живу в деревне», «сосны, домики, белки», «полное одиночество, как на островке», что сомнения нет: они писаны для человека в погонах, с неистребимой скукой перлюстрирующего чужие послания в надлежащем отделе известного учреждения.

Обдумав метафору «одинокого островка», Марина решает, что означает она полузаключение, возможно, арест. А уж если, к тому же, парижские «начальники» Сергея постепенно выпроваживают их с Муром в Москву, значит, дело серьезное.

В сентябре 1938 года Цветаева с сыном поселились в Париже в отеле «Иннова», под фамилией Эфрон. Но отъезд откладывался раз за разом на неопределенное время по необъяснимым причинам. Вот уж каторга — ежеминутно ждать телефонного звонка, сидя на чемоданах. Цветаева изобретательно противостояла пытке ожидания, заполняя время заботами: смущая закройщиков экстравагантностью требований, сшила в ателье пальто из толстой замши «покрепче», с надежным поясом и большими, «чтоб как сумки», карманами, раздала верным людям дорогие ей вещи. «Устроила икону Николая Угодника», с педантичной аккуратностью приводила в порядок рукописи, покупала подарки москвичам, паковала багаж. На нервной почве сделала перманент! Вместо привычной челки появились серенькие бараньи завитки, которые приходится зализывать и прикалывать «невидимками», Жуть, что такое. Теперь спасет только бритье наголо. Но не пугать же погранконтроль тюремным фризуром?

Мур маялся без дела, изредка помогая матери. Он рвался в Москву и злился, если Марина, то осторожно, то на последней грани озлобленности, высказывала опасения относительно перспектив жизни в Союзе:

— Не еду! Хоть веревкой пусть тащат! Насильники, мразь, вшивые диктаторы! — Она расшвыривала листы из только что упакованной коробки.

— Во-первых это бурный психоз, — спокойно констатировал Мур, возвращая бумаги на место. — Во-вторых: отказываюсь понимать вас! СССР — передовая страна! Лучшая в мире! А вы ведете себя, как деревенская неграмотная старуха! И своим кислым лицом все время нагоняете тоску!

Тон общения 14-летнего подростка с матерью, души в нем не чаявшей, возмущал многих, считавших Мура высокомерным, грубым. Но ведь Марина растила его именно таким — царственным, пренебрежительным, без сантиментов и привязанностей. Суперэгоистом. Может, полагала, что ввиду ее

беззаветной любви сын сделает для нее исключение, «короновав» самоотверженной сыновей любовью? Но все произошло наоборот: больше всех Мура раздражала именно мать со своими бесконечными заботами и опасениями. С ее стихами, манией величия, ссорами с коллегами по цеху. Тщеславного Мура, благосклонно отнесшегося бы к знаменитой матери, пренебрежительное отношение к стихам Цветаевой бесило: в литературе он разбирался и в отношениях литераторов тоже. Однако тон сына не слишком угнетал Марину — видимо, голос взрослого мужчины, его безапелляционность, наглость, давали ощущение некой поддержки, иллюзию надежности, в которых она так сейчас нуждалась.

11 июня ночью под дверью обнаружилось письмо, сообщавшее, что отъезд состоится утром. Спешные сборы, нервные перепалки, последние письма остающимся…

Их никто не провожал: все было устроено так, чтобы прощание Цветаевой с Парижем прошло незамеченным. «Посидели с Муром, по старому обычаю, перекрестились на пустое место от иконы (сдана в хорошие руки…)» Цветаева писала это уже в поезде, увозившем их в Гавр на пароход, идущий в Ленинград. Писала Тесковой — одному из вернейших своих здешних друзей. Это было последнее «прости» прожитой жизни: «До свидания! Сейчас уже не тяжело, сейчас уже — судьба».

«Россия, моя Россия, зачем так ярко-горишь?»

…В поселке Болшево по Северной железной дороге недалеко от Москвы, где поселили Эфрона, находилась ведомственная дача НКВД. Под старыми соснами зеленел симпатичный домик с верандой. Дом выстроен основательно — белые перильца, резные штакетины у крыльца, крепенький забор, большая гостиная с камином. Вот с удобствами хуже — все во дворе. Есть керосинки, дрова, погреб — жилье приспособлено для проживания двух семей: Эфронов и Сеземанов-Клепининых. У каждой семьи по две комнаты и терраса. Гостиная и кухня — общие. Николай Андреевич Клепинин — историк, бывший «доброволец», затем «евразиец», чекист, прошел ту же эволюцию, что и С.Я. Эфрон. Клепинин и его жена Нина (Антонина) Николаевна Сеземан-Клепинина были давними друзьями и «сослуживцами» Сергея Яковлевича. Об их бегстве из Парижа парижские «Последние новости» сообщили 20 октября 1937 года.

Жизнь в Москве и в Болшеве до приезда семьи давала возможность Сергею обдумать и оценить происшедшее. Операцию с устранением Рейсса он завалил — так определил парижский Куратор. Но здесь складывалось впечатление, что начальство удовлетворено деятельностью Эфрона в Париже. Его обеспечили жилищем, дали возможность лечиться в специальной поликлинике и направили в одесский санатории. Аля работала в престижном журнале. Сергей испытывал лишь чувство тревоги за Марину и Мура. Был неизменно мил и доброжелателен с окружающими, очаровал без исключения всех гипнотическим светом сказочно-добрых голубых глаз. Даже свирепый пес Клепинина по прозвищу Жирняга («боксерской» породы) подползал к Сергею на брюхе, завороженный — ласковым голосом и вкусными подачками.

Аля и сын Нины Клепининой Алексей Сеземан работали в журнале «Revue de Moscou» и большую часть времени проводили в Москве. Аля бывала в Болшево наездами — светящаяся, звонкая — она полюбила в первый раз, и ее избранник Муля (Самуил Давыдович Гуревич) — коллега по издательству — отвечал ей взаимностью. Он часто приезжал с Алей на дачу и стал почти членом семьи: остроумный, эрудит, шутник, интеллигент. Сергей Яковлевич вспыхивал короткой радостью — очаровывал шутками, мягким обаянием. Все видели, как ждал он приезда жены и сына, как гордился Муром, его письмами и рисунками. Балагуря, Сергей считал дни до приезда Марины. До утра не мог уснуть, продумывая ситуацию и так и этак. Но выхода не видел.

Все время, до приезда Марины, Аля заботилась об отце, старалась сделать его жилье уютным: повесила занавесочки из ситца, вязаные коврики, украсила лампы цветными абажурами — в отличие от матери она умела украшать быт мелочами. Может, потому он и не так свирепо изводил ее? Сергей радовался обновкам, Трепал ее по затылку, как в детстве. Но однажды что-то случилось: Сергей Яковлевич захворал, пролежал носом в стену дня три, а поднявшись, погрузился в глубокую скорбь. Чувство беды и вины больше не оставляло его, даже если усилием воли не удавалось изобразить веселье.

Все началось с того памятного вечера, который Нина Клепинина запомнила очень ярко. Эфрон (по паспорту ныне Андреев) пережил, очевидно, очень сильное потрясение. Нина увидела чужое лицо входящего в калитку мужчины — за несколько часов своего отсутствия он основательно поседел и постарел на десяток лет — его неизменно мальчишеская внешность сменилась старческой. Словно загримировался.

С утра он уехал «по делам» в Москву, вернулся поздно — чужим и страшным. Долго молчал, потом решился:

— Коля, Нина… простите! Я погубил вас, завербовав там, в Париже. Да! Не спорьте — завербовал. Поступил так же, как некогда поступили со мной — соблазнил жизнью в новой России. Обманул. Но я же не знал сам! Сам обманулся! Какой же дурак! Маленький, глупый паяц, которым можно поиграть и выкинуть… — он зарыдал, вцепившись руками в волосы, словно намереваясь вырвать их. — Я погубил вас всех!

— Сережа — ты не прилагал никаких усилий, чтобы «совратить» нас, мы с Ниной сами рвались поработать во благо родине, Николай вздохнул. — Да и не мы одни.

— Простите, что втянул… если бы я понимал! Если бы хоть чуть-чуть представлял, в какую паутину лезу! Глупая маленькая букашка! Ведь думал, что многое пережил, все понимаю… Обвели вокруг пальца… А за мной потянут всех! Всех, всех в одну яму загнал! Чем мне теперь расплачиваться, кому каяться? Жизни мало, чтобы искупить вину перед детьми, Мариной, вами… — Сергей уронил голову на стол, плечи затряслись от рыданий.

Нина никогда не видела, чтобы сдержанный Сергей Яковлевич впадал в истерику. Она тихо успокаивала его, отпаивала каплями. Николай принес водки и тарелку с любительской колбасой.

— Не ел ведь с утра? Ты и так кандидат в святые мощи — кожа да кости. Давай, Сергей, перехвати кусочек, запьем «Московской» — вон бутылка какая красивая… По идее, в ней должен быть цианистый калий, — он невесело хохотнул. — К

сожалению, нет! — Забулькало в стаканах.

Сергей жевал механически, потом вдруг выскочил в палисадник, склонился в кусты — его стошнило. Вернулся с бешеными глазами, шарахнул кулаком по столу так, что звякнула посуда и посыпались со стола вилки:

— Сволочи! Подонки! Ведь какая же мерзость, мерзость!

— Эх… — Николай поднял упавшие вилки. — Ты лучше спокойно изложи нам все. Обсудим.

Сергей рассказывал долго, перебивая рассказ покаяниями и проклятиями в свой адрес.

Эфрона пригласили на Лубянку к главному начальнику группы возвращенцев и аккуратно, но строго заявили: отпираться не стоит. «Вы известны как человек чести и запутывать следы не станете. Тем более, что мы и так про вас все знаем. Возьмите перо, бумагу и подробно опишите свои связи с зарубежными разведками».

— И не таких раскусывали, — добавил мрачно человек в штатском, сидевший в темном углу.

— И про Марину Ивановну, и про Клепининых, пардон — Львовых и, главное, про Ариадну Сергеевну. Подробно, точно, с именами, датами… Ну, вы же образованный человек. Нас интересует все — где, когда, с кем, с какой целью встречались…

Сергей Яковлевич смотрел, не веря своим глазам, потом понял, искренне рассмеялся:

— Уф-ф! Напугали! Честное слово, чуть сердце не остановилось! Это проверка, товарищи, да?

— Шутить тут никто не расположен, — металлическим голосом предупредил первый, сидящий за большим столом. — И нечего шута выламывать, не в кино! Понимаю, так сразу вы не восстановите порядок событий. Мы не станем вас арестовывать, живите, думайте, встречайте семью. Советуйтесь. Ну, а мы, сами понимаете, присмотрим за вами, во избежание недопонимания…

Вечером, сидя на крыльце, Эфрон и Клепинины постановили: об инциденте забыть: проверка — это ясно. И покруче бывают. Видать, кто-то здорово очернил всех участников, вот и проверяют. Главное, детей и Марину пугать не надо. Остановить их приезд все равно уже нельзя. Нельзя поддаваться панике, метаться в растерянности и страхе. Никто не виновен перед страной — чего тут мельтешить? Разберутся.

Все вроде уладилось. Внешне. Но у Эфрона что-то сжалось внутри и не отпускало. Можно, конечно, было валять дурака и делать вид, что все забыто, но сердце не обманешь: чувство такое, что проглотил ледышку, а она не тает, стоит колом в груди и еще в руку тянет. Да и озноб потряхивает. Не мог он забыть лица и

голоса говорившего с ним «товарища». Какая уж тут проверка! На столике возле кровати Сергея стояли лекарства — для легких, для сердца, для успокоения нервов. Нет, он вовсе не был трусом, это слабенький от рождения мальчик. Те, кому приходилось воевать с Эфроном, знали: Сергей Яковлевич — настоящий герой, до глупости, до самопожертвования. И друга прикроет, и от врага прятаться не станет. Знал это и Клепинин, побывавший с Эфроном в непростых ситуациях в Испании.

18 июня 1939 года «Мария Ульянова» пришвартовалась в Ленинграде. Прибывший с Цветаевой немалый — 13 мест — багаж должен был пройти таможенный досмотр. В основном книги, архивы рукописей, домашний скарб, пустячные мелочи, новый гардероб. Подруги Марины набрали по знакомым костюмы «в стиле» Мура — изысканно нарядные, почти новые. Сама Цветаева, ходившая в перештопанных лохмотьях, получила вполне приличные вещи и даже, скупленные кем-то на распродаже, моточки цветной пряжи — для любительницы вязанья Али.

Солнечным июньским днем Мур в светлом костюме и начищенных до блеска элегантных туфлях бродил у приемной Портовой таможни и делал вид, что пожилая тетка в перманенте с огромным багажом не имеет к нему никакого отношения. Цветаева долго ждала мучительной процедуры оформления багажа, который так и не выдали. Оказывается, все еще должно быть проверено не раз и могло быть оформлено только на Алю. Лица у совслужащих были злющие, с оттенком тюремного презрения. А разве Марина ждала встречи с оркестром? Пожатий мягких литераторских рук, поздравлений? Хорошо хоть полиция с наручниками не встречает. Ведь» она приехала не как Марина Цветаева — известный русский писатель, а как жена своего мужа Сергея Яковлевича Эфрона — провалившегося на Западе советского агента. Что, естественно, не располагало к официальным приветствиям и доверию таможенных служб. А багаж из Парижа? Что еще за «архивы» в картонных ящиках? Выдать без проверки под «честное слово»? — Да за кого вы нас, гражданка, принимаете?

В поезде в Москву вполне уютно, если бы не нестерпимый дух туалета. И под ногами мокро… Марина с отвращением глянула на себя в туалетное зеркало. И какой черт дернул ее постричься и впервые в жизни сделать модный перманент — прическа не шла, раздражала, как и хлюпанье под ногами. «Так тебе и надо, старая кляча, соблазнять советских писателей намылилась!» Мутное зеркало хотя бы скрашивало разруху искуренных зубов и заледеневшую тоску в глазах. Марина улыбнулась криво:

«Кажется, я впишусь в местный пейзаж…»

— Нам не повезло, купе прямо возле уборной! — Вернувшись, Марина закрыла дверь в коридор. Мур хмыкнул:

— Привыкайте, Марина Ивановна — это запах родины. Уверяю вас, он сохраняется даже в дорогих ресторанах. Меня предупредили друзья.

— Ах, вот для чего мы тащим штабеля каких-то початых бутылочек одеколона…

— Ну, если вы предпочитаете запах сортира, не тащите.

В Москве их встретила возбужденная, вся светящаяся Аля и «товарищи» в серых костюмах и шляпах и проводили в машину, проследив, чтобы были прихвачены самые необходимые носильные вещи. Любезные, неразговорчивые. Марина и не расположена к общению. От напряжения, переизбытка впечатлений (Родина же!), волнения (Что с Сергеем, куда везут?), от встречи с какой-то неестественно веселой Алей, она потеряла дар речи и только теребила нитку корявого темного янтаря. Зато Мур со знанием дела выспрашивал шофера про строительные объекты, мелькавшие по дороге.

— Я не была в Москве 17 лет. Не вижу грандиозных строек! — ворчала Цветаева, еще не зная, как трепещет Аля, предчувствуя следующий вопрос матери:

— Анастасия нас ждет? Мы сто лет не виделись.

— Марина… — Аля набрала воздуху и быстро проговорила. — Тетю Асю арестовали…

Вот и «дома»! Поселок среди сосен — типовые темно-зеленые дачи с застекленными верандами. Не успел раздаться гудок машины, как из калитки бросился им навстречу Сергей.

«Это того стоило!» — решила Марина, простив за минуты общего счастья встречи все мучительства и унижения, пережитые обиды. Сразу же сразили два обстоятельства — соседство с чужими ей людьми и все тот же ненавистный деревенский быт. Клепинины — интеллигентные, образованные людьми — одного круга с Эфронами, знавшие стихи Цветаевой, симпатии у последней не вызвали. «Чекисты» — вроде чесоточных, хочется посторониться и помыть руки.

«Той России нету, как и той меня»

Надо было обживаться на новом месте, входить в хозяйственные дела. Денежных затруднений не возникало: Сергей Яковлевич получал зарплату в НКВД. «Болшево, — записывает Цветаева, — неизбывная черная работа, неуют…»

А как тяжко стало остальным обитателям! С приездом

Марины Ивановны обстановка на болшевской даче обострилась и помрачнела. Дмитрий Сеземан вспоминает: «Не знаю, нужно ли рассказывать, каким невозможно трудным человеком была М. И. «в общежитии», как принято говорить. Как человек с содранной кожей, она чрезмерно — чрезмерность вообще отличала ее поведение и, шире, ее личность — реагировала на все то, что, по ее мнению, сколько-нибудь задевало цельность ее духовного существования…» Увы, далеко не только духовного. Цветаева была не из лучших соседок; могла взорваться и взрывалась по пустякам. «Трудный характер» Цветаевой расцвел на почве общего беспокойства, озлобленности, неопределенности этого дачного коммунального существования: Арест? Полуарест? Что же дальше? В сущности, все они здесь были узниками и догадывались об этом. Но ни часа расправы, ни степени ее жестокости не знал никто. Откуда взяться терпимости и спасительной силе духа? Тем более «человеку с содранной кожей»?

А было ли легче Сергею Яковлевичу? Груз, давивший его душу, постоянные недомогания, страх перед будущим и особенно — обостренное чувство вины за все, что привело их в этот дом, — достаточный список для тяжелого душевного расстройства. Но тщедушный человек, на исходе физических сил, находил в себе мужество не паниковать, не ныть, поддерживать мир в доме. И, как это ни странно звучит — он ухитрялся наслаждаться мгновениями тихого счастья, ценя последние крохи их общего бытия, которые-то и в «благополучии» последних лет выпадали редко.

Когда спадала жара, по усыпанной сосновыми иглами дорожке к станции шли трое: высокий болезненный мужчина лет 45 в белой рубашке с отложным воротничком, смуглый от загара, с красивой седой головой и легкими движениями. Рядом твердо шагала его спутница — порывистая, худая, коротко стриженная. В этой женщине с папиросой во рту, в темном ситцевом платье никто не узнавал гениальной Цветаевой. Пухлый неуклюжий парень — всегда безукоризненно одетый и причесанный, всегда скучающий и равнодушный к закатам, — старался идти чуть поодаль сомнительной парочки. Садящееся за елки солнце окрашивало мир идиллической розовостью покоя и радости. Позолота и нежность небесно-клубничного на всем — даже на ветхом, загнившем, умирающем. Щедрый дар. Семья отправлялась на станцию встречать Алю. Они гуляли по платформе, пропуская электрички, пока не появлялась, наконец, нагруженная коробками, свертками, авоськами сияющая Аля, часто в сопровождении стройного брюнета. Ее венецианские глаза

драгоценно сверкали, светились золотыми паутинками разметанные ветерком волосы…

«Никогда я не буду уже так счастлива…»

Смеясь и шумя, расходились дачники, встретившие своих, их Ждали оранжевые абажуры на верандах, самовар, чай с ватрушкой и глупые разговоры о завязях кабачков и нашествии муравьев… Какое невероятное счастье!

«Неужели в этой стране хоть кто-то не дрожит, не прислушивается к шуршанию шин по дорожкам?» — думала Марина.

«Неужели я один умудрился влезть в самый омут и погубить всех?» — думал Сергей.

«Сказочное везение, что мы встретили друг друга и впереди огромная жизнь!» — думали вместе обнявшиеся Аля и Муля.

Мур прокручивал русский вариант стиха Рембо. Он решил стать филологом и заниматься переводами.

Пес Жирняга встречал всех еще у поворота, виляя обрубком хвоста и высоко подпрыгивая.

Он вовсе не был толст — что делать, фигура такая!

Они умудрялись найти радость в издевательски тягостной атмосфере — «у бездны страшной на краю». Были вечера и разговоры у камина, Цветаева читала свои стихи и пушкинские переводы, а знаменитый актер Д.Н. Журавлев отрывки из «Войны и мира» Толстого. Цветаеву согревали прогулки с Эмилией Литауэр (Милей), «возвращенкой», сотрудницей и другом Эфрона и Клепинина. Она запомнила яркую радость поездки на только что открывшуюся Сельскохозяйственную выставку. Так и застыла в памяти картинка: у водяного хоровода золотых теток, под радугой брызг смеющаяся Аля в красном чешском платке, подаренном Мариной, и держащий ее за руку молодой мужчина с мокрым кудрявым чубом и ослепительно-счастливой улыбкой. Благослови их, Господи…

Эти месяцы Цветаева пребывала в замкнутом кругу родных, соседей, нескольких знакомых. «Живу, никому не показываясь» — она не делала попыток выйти в литературный мир, получить работу, опасаясь навредить людям контактами со своей опороченной персоной. Но желание вопреки всему встретиться с Пастернаком — заноза в сердце, не дающая покоя. Она позвонила, он обещал приехать, но друзья Борису Леонидовичу отсоветовали. Марина поняла, что посещение дачи НКВД и впрямь опрометчивый поступок для поэта. Но встреча все же состоялась. В тесной комнатке Елизаветы Яковлевны Эфрон, отважно принимавшей у себя опальную родственницу.

Внешность Марины удивила золовку — «она была

совершенно иная, дамская. В нормальном платье, гладкая (без челки, вся в «невидимках»), аккуратная, седая. И сын как будто вырезанный из розового мыла». Борис Леонидович — огромный, уже в дверях и совершенно немыслимый в тесной двухкоечной «каюте», чувствовал себя неловко. После 13-летней эпистолярной дружбы-любви-страсти — поразительной по интенсивности, взлетам, провалам, уникальной по качеству литературного мастерства — случилась встреча реальная. На столе синие чашечки с золотыми донышками. На подоконнике скудная герань. А у окна — нога на ногу — юноша с презрительным лицом листает какую-то старую книгу на английском языке.

— Собрались все же приехать, — Борис Леонидович поцеловал трудовую руку Марины и положил на стол букет изрядно привядших ромашек. — Полем шел, они так весело стояли… Поздно… — Он сел на резко взвизгнувшую кровать и повторил: — Поздно… — Очевидно, не только про ромашки.

— А мы их оживим! — забрав цветы, Елизавета Яковлевна исчезла на кухне.

— Если б не моя подлая дочь… — Марина осеклась, умерила накал злости. — Аля заманивала хвалебными письмами. Уговорила вернуться… Не сказала даже, что сестра арестована.

— Марина Ивановна, здесь теперь много вещей, о которых не принято говорить и писать, — мягко напомнил Пастернак.

Они помолчали, все еще ощущая ту связь, что позволяла не объяснять, сколько всего — глупого, умного, звездного, земного, обидного и прочего — целиком мирозданческого — скрыто в коротком «поздно».

Она коротко взглянула в его лицо туземного бога, взглянула, как выстрелила, и он понял немой вопрос: «Что же ты молчал?» И так же взглядом ответил: «Не мог…» Л поговорить надо было так о многом! О том, что Марина Ивановна после семнадцати лет эмиграции оказалась в родной Москве. Но это место не было Родиной. Это место не было даже пепелищем родины. Опухоль — злокачественная, хищная, затягивала жертв. А Сережа? Да разве он мог противостоять жесткой, отлаженной машине?

А литература? Писали о другом, писали по-другому. Писали передовики производства и малограмотные строители. Зачем? О чем? О победах народа и партии, которые едины. О международной солидарности и успехах соцсоревнования… Все было другим: представления о нравственности (замененной понятием «партийный подход») и отношениях между людьми, новый, уже установившийся быт, новая лексика и фразеология. Выросла особая среда, враждебная человеку. Защищающая одну ценность — собственную власть… Власть гегемона.

Молчали долго, «выкрикивая» без слов весь этот сумбур мыслей… Прощаясь, Марина видела кричащий вопрос в виноватых глазах Бориса: «Зачем?!!!»

— Я не могла бросить Сережу. Это не выбор. Это судьба.

Первой забрали Алю. Только через год после того раннего утра, когда Аля в вязаной цветной жилетке выбежала по дорожке с желтыми сосновыми иглами к ждавшей ее черной машине, Марина смогла записать пережитое: «Возобновляю эту тетрадь 5-го сентября 1940 г., в Москве, возобновляю — с содроганием. Между последней строкой и этой, первой — 18-го июня 1939 г. приезд в Россию, 19-го — в Болшево, свидание с больным Сережей. Болшево: неизбывная черная работа, неуют, опаска, мои слезы. «Коммуна» (за керосином); Сережа покупает яблоки. Постепенное щемление сердца. Навязчивые созвучия. Мытарства по телефонам. Отвратительное соседство: сцены. Энигматическая Аля: ее накладное веселье. Живу без бумаг, никому не показываюсь — кто´ я? Кошки. Мой любимый неласковый подросток — кот. Обертон, унтертон всего — жуть. Обещают перегородку — дни идут, дрова — дни идут, Мурину школу — дни идут, бумагу — дни идут. И — отвычный деревянный пейзаж, отсутствие камня: устоя. Болезнь Сережи. Страх его сердечного страха. Обрывки его жизни без меня, — не успеваю слушать: полны руки дела, слушаю на пружине. Погреб: 100 раз в день, Когда — писать? Безумная жара, которой не замечаю: ручьи пота и слез — в посудный таз. Не за кого держаться. Все уходит из рук. Начинаю понимать, что Сережа — бессилен, совсем, во всем. (Разворачиваю рану. Живое мясо. Короче.) 27-го в ночь, к утру, арест Али. — Московский Уголовный Розыск. Проверка паспортов. Открываю — я. Провожаю в темноте (не знаю, где зажигается электричество) сквозь огромную чужую комнату. Аля просыпается, протягивает паспорт. Трое штатских. Комендант. (Да, накануне, молодой человек, стучавший в окно в 5 часов утра — спрашивает, кто здесь живет…) — А теперь мы будем делать обыск. — (Постепенно — понимаю.)

Аля — веселая, держится браво. Отшучивается. Ноги из-под кровати, в узких «ботинках». Ноги — из-под всего. Скверность — лиц: волчье-змеиное. — Где же Ваш альбом? — Какой альбом? — А с фотокарточками. — У меня нет альбома. — У каждой барышни должен быть альбом. (Дальше, позже: — Ни ножниц, ни ножа… Аля: — Ни булавок, ни иголок, ничего колющего и режущего.) Книги. Вырывают страницы с надписями. Аля, наконец, со слезами (но и улыбкой): — Вот, мама, и Ваша Colett поехала! (Взяла у меня на ночь Colett — La Maison de Claudine.) Забыла: последнее счастливое видение ее — дня за 4 — на

Сельскохозяйственной выставке, «колхозницей», в красном чешском платке — моем подарке. Сияла. Хочет уйти в «босоножках» (подошвы на ремнях) — Муля убеждает надеть полуботинки. Нина Николаевна приносит чай и дает ей голубое одеяло — вместо шали. Всех знобит. Первый холод. Проснувшийся Мур оделся и молчит. Наконец, слово: Вы — арестованы. Приношу кое-что из своего (теплого). Аля уходит, не прощаясь! Я — Что ж ты, Аля, так, ни с кем не простившись? Она, в слезах, через плечо — отмахивается. Комендант (старик, с добротой) — Так — лучше. Долгие проводы — лишние слезы…»

Аля выйдет на свободу только через 16 лет — седая, больная, потерявшая всех близких. «Счастливой я была — за всю свою жизнь — только в то лето… До этого счастья я не знала, после этого узнала несчастье».

В записях Цветаевой почему-то совсем не упомянут Сергей Яковлевич. Может ли быть, что он не вышел из своей комнаты? Или сердце сжало настолько, что он побоялся усугубить сцену своей безвременной кончиной?

На следующий день Сергей Яковлевич отправился на Лубянку, добился приема у высокого начальства. Там требовал, чтобы немедля освободили его дочь, и сказал в начальственное лицо как плюнул:

— Ни одна разведка в мире так не поступила бы!

Ответа не последовало. Теперь естественно было Ждать ареста его самого, Клепининых, а возможно, и Марины.

Ночью у болшевской дачи затормозила машина. Собачье ухо сразу уловило тихо подкатившую машину, скрип калитки, чужие шаги.

10 октября на рассвете по той же самой дорожке, засыпанной ржавыми иглами, по которым уходила Аля, уходил и Сергей Яковлевич. Марина, кутаясь в самовязанную серую шаль, с порога широко перекрестила его спину. Оглянулся, посмотрел с душегубной виною, подмигнул. И ушел. Теперь уже навсегда.

По ночам морозило, надо было топить печь. Мать и сын собирали на участке хворост, сухие ветки. Молчаливые, сгорбленные, потерянные. Мур, потрясенный случившимся, упрямо твердил одно: ошибка, разберутся, там же не дураки сидят… Рано темнело, долго тянулась бесконечная мучительная ночь. За лиловыми окнами веранды мерещились мелькавшие силуэты. Ежесекундно всем настороженным нутром Марина ждала: придут за ней, увезут, Мура бросят, раздавят, растопчут все, что еще сберегалось: память, честь, любовь. Давящий, неизбывный страх доводил до бешенства. Знала — не отпустят. Знала — пропали.

И снова ночью у калитки затормозила машина. Заливается, предостерегая хозяев, пес. Шаги на скрипнувшей лесенке, стук в окно, в двери… Приехали под праздник 7 ноября — в 22-ю годовщину Великого Октября — милый обычай напоминать гражданам, за что боролись.

Вызвали Клепинина, выволокли из спальни. Нина была в Москве, Андрея Сеземана арестовали там же.

Пока шел обыск, Николай сидел в кресле в растерзанной на груди пижаме, уставившись в одну точку. Безучастный, равнодушный ко всему — уже отсутствующий. Он судорожно прижимал к себе последнее любимое существо — верного пса, дрожавшего теплой шкуркой. Пес взгромоздился на колени хозяину, в предчувствии разлуки подвывал, лизал ему лицо, шею, уши… Чекист в черной кожанке схватился за ошейник, попытался оттащить собаку от арестованного. Ощерившись, пес дал понять, что будет защищать хозяина до последнего — тяпнул «кожаного» за рукав.

— Сволочь иностранная! Ишь, разожрал харю! Счас ты у меня поймешь, на кого кидаешься! — в руке с разорванным рукавом оказался пистолет.

— Не надо! Я уведу его. — Клепинин быстро поднялся и, уговаривая упиравшуюся собаку, отволок ее в соседнюю комнату. Щелкнул замком. — Прости, дружище…

Машина с арестованным скрылась. Запертый пес еще долго выл, скребся когтями, билась о дверь своим несчастным преданным телом.

Марина и Мур остались одни. Марина Ивановна не заходила в комнаты Али и Сергея. Не подходила к калитке, даже днем.

— Я всех боюсь, всех… — говорила она, и глаза у нее дико блуждали. — Не могу здесь…

Они ушли с этой проклятой дачи 10 ноября, захватив с собой из вещей только то, что могли унести.

На твой безумный мир ответ один — отказ!

Их много раз разлучали, и не раз — под угрозой смертельной опасности. Они молились друг за друга, не зная, на каком свете суженый. Судьба могла бы разлучить их значительно раньше — военные пули, тиф, бедствия Ледового похода, нападки туберкулеза пощадили воина Сергея. Спаслась в мясорубке Гражданской войны и революции Марина. Довольно! Выстояли. Хватит!

За этот ад
За этот бред
Даруй мне сад

На старость лет.
На старость лет
На старость бед;
Рабочих — лет,
Горбатых лет.
На старость лет
Собачьих — клад;
Горячих лет —
Прохладный сад.

Сад! — Молила Марина. Сад у моря с вечно цветущими акациями и каштанами. Заслужили. Не тут-то было. «Слепая» судьба нащупывала своим посохом самую тернистую дорожку и упорно вела их — то вместе, то разлучив (теперь уж намертво), к последнему пристанищу, не переставая искушать, испытывать на прочность. Прочность человеческих сил? Верность заветам и клятвам? — На верность самому себе — тому, кто ты есть.

В кругах Лефортовского ада не пожалели для Сергея изощренных пыток, физических, моральных. Ломали-ломали, да не сломали — Эфрон не предал ни других, нм себя, ни своего дела. Даже своей злосчастной веры в мудрость защитников родины с погонами ОГПУ.

До последнего момента (а может, и после?) Сергей не мог понять, что имеет дело с жестокими и бессмысленными палачами. Не сомневался: ошибка! Оболгали, запутали не только его, но самого вождя, который и знать не знает о творящихся ужасах! Злодейски исказили всю политику партии. Предательство, заговор. Цель массовых процессов — уничтожить честных преданных соратников партии, получивших клеймо «врагов народа». Признать себя виновным — значит, подыграть заговорщикам. Этого Сергей Яковлевич — кожа да кости, крупные кисти на тоненьких длинных руках, свет глаз в багровом месиве разбитого лица — допустить не мог. Неисчерпаемы возможности человеческого духа! Душа Эфрона была особенной — с примесью юродивого и святого. Именно этой, озаренной свыше, мощи Сережиной души навеки присягнула Марина на Коктебельском пляже. Ее крылатой инакости. Она умела видеть.

Жизнь Ариадны Сергеевны сохранило ее упорство. Аля долго не признавала своего участия в «деле отца», даже пройдя через страшные пытки. Неделями, раздетую, ее держали в холодном, в узком, как гроб, карцере, в котором нельзя было даже присесть. На голову размеренно падали капли холодной воды, она потеряла счет времени. Ее мучили, били, инсценировали расстрел и, в

конце концов, заставили еле живую дать показания против нее самой, отца, Клепининых, Алексея Сеземана. И хотя в дальнейшем ходе следствия Аля от своих показаний отказалась — это не имело значения: колесо уничтожения крутилось в заданном направлении. Законного суда над Ариадной Эфрон не было, 2 июля 1940 года ее судило Особое совещание при НКВД по статье 58.6 — шпионаж — и приговорило к восьми годам лагерей. После восьми лет последовало «ограничение» мест жительства, недолгое время в Рязани, затем повторный арест и пожизненная высылка в Туруханск.

Сергей Яковлевич Эфрон проходил по «групповому» делу, что всегда служило отягчающим вину обстоятельством. То, что все сотрудники «Союза возвращения на родину» были тайными агентами НКВД, следствие не интересовало, «Союз возвращения» считался изощренным прикрытием для подрывной антисоветской деятельности.

На первом же допросе Эфрон подробно, С исчерпывающей откровенностью изложил следователю историю своего духовного перерождения из белогвардейца в советского патриота и секретного агента советской разведки. Он старательно пытался разъяснить существо дела. Но не этого добивались следователи, отрицавшие каждое его заявление.

— С 1931 года, подав прошение о возвращении на родину, я полностью перешел на советскую платформу и начал выполнять задания советской разведки.

— Следствие вам не верит. — Этой фразой завершались все признания Сергея. Потом побои и те же вопросы. Те же ответы. И снова — «Следствие вам не верит» — замкнутый круг, насколько хватит сил. Сил оказалось не много — он терял сознание, с трудом приходил в себя. После первого же допроса, ничего не добившись, Эфрона увезли в самую страшную Лефортовскую тюрьму.

В следственном деле зафиксированы семнадцать или восемнадцать допросов Эфрона с «физическими методами воздействия». 24 октября его пришлось перевести в психиатрическое отделение больницы Бутырской тюрьмы. Во врачебной выписке сказано, что заключенный «в настоящее время страдает частыми приступами грудной жабы, хроническим миокардитом, в резкой форме неврастенией. Требует щадящего режима». Щадящего? Можно подумать, что речь шла о санатории. Допросы не прекращались. От Эфрона добивались признания вины в шпионаже, измене родине, проводили очные ставки с Клепиниными и другими «союзниками». Несчастные подследственные, доведенные пытками до невменяемости,

соглашались со всеми обвинениями, называли вымышленные «контакты» Эфрона с зарубежными разведками. Полуживой Николай Клепинин просил Сергея соглашаться со всеми обвинениями, дабы избежать дальнейших пыток. Ведь ясно уже — разыгрывается некий безумный спектакль. Каков бы ни был его замысел — конец один. Компромиссы никогда не принимались Эфроном. Из его разбитых губ продолжало звучать лишь короткое: «Нет».

6 ноября даже тюрьму охватило предчувствие праздника. Гогочущие в коридорах голоса, шуточки! А совсем рядом орет репродуктор: «Мы рождены, что б сказку сделать былью…» Что-то шарахнуло в коридоре, грянул хохот и весь набор тюремной лексики в праздничном, приподнятом исполнении. А затем удар неживым по живому — и страшный, нечеловеческий вопль.

Дремавший от слабости Эфрон резко поднялся с нар и рухнул на цементный пол.

— Марину убивают! — он попытался подняться, выкрикивая все громче сорванным горлом: — Марину! Пустите меня к ней! Пустите! — Он старался оттолкнуть накинувшихся на него сокамерников и пришедшего врача: — Она умирает… Я видел! Я только что все видел! Она не виновата! Клянусь! Клянусь…

Психа успокоили. Тюремному начальству было не до него. Завтра демонстрация, украшенный иллюминацией город готовится к гуляниям, из всех репродукторов льется разливанная удаль — «Широка страна моя родная», веселая перекличка автомобильных гудков напоминает о предпраздничном оживлении. С портретов смотрит мудрое лицо вождя… В «приемной» пополнение — «праздничный набор» — аресты любили проводить под праздники — «чистили город». У лубянского начальства в отделанном красным деревом кабинете сияют люстры, пахнет лиловыми примулами, стоящими в горшках под портретом Сталина. Богатый стол, элегантные дамы в чернобурках на холеных плечах:

— Сплошная сказка! Все же сделали сказочки былью, причем — своими мозолистыми руками! За это стоит выпить, товарищи! — Человек в штатском с профессорским пенсне на носу налил шампанского. Присутствующие засмеялись, оценив юмор: мозолистые руки если тут у кого если и были, то от ударов и пыток.

…Рвавшемуся из последних сил к жене Сергею сделали укол и — о чудо — не нашли закатившуюся под нары пустую ампулу. Махнул рукой, поспешил «медбрат» к своему празднику! Нашел ампулу Сергей. С изумлением ощутил в изодранной, израненной душе забытую уже радость подарка: прозрачная стекляшка с

острыми краями — дорога в вечность) Он сможет сбежать отсюда, сбежать к Марине! Она же звала!

Только что он видел сон — и не сон вовсе — картину из другой, их общей реальности. Марина — полненькая, розовощекая, в смешном пенсне, сидела одна в заброшенном крестьянском доме. С серого потолка свисала веревка с петлей. Она сидела на табурете, как всегда в кухонном фартуке, закинув ногу на ногу, с папиросой и смотрела с тоской в закрытое, задернутое рябым ситцем окно. А петля качалась, замешивая. Сергей рядом, но она не видит его. Загасив папиросу, читает, не разжимая губ:

Писала я на аспидной доске,
И на листочках вееров поблеклых,
И на речном и на морском песке,
Коньками по льду и кольцом на стеклах, —
……
Как я хотела, чтобы каждый цвел
В веках со мной! Под пальцами моими!
И как потом, склонивши лоб на стол,
Крест-накрест перечеркивала — имя.

Но ты в руке продажного писца
Зажатое! Ты, что мне сердце жалишь!
Непроданное мной! *внутри* кольца!
Ты — уцелеешь на скрижалях.

— Понял, понял, Марина! — у Сергея на холодной ладони лежало Маринино обручальное колечко с его именем, выгравированным внутри. И шнурок с генуэзской бусиной. Ее самой не было. Веревки у потолка тоже. В распахнутом окне колотилась ситцевая занавеска, а за ней — теплой гладью расстилалось море… нет, скорее — река…

— Понял! Понял, Мариночка! — Он раздавил ампулу и острым краем долго, неумело, зло резал взбухшие синие вены, хлеща кровью, теряя силы… — Иду к тебе… Я иду…

С 7 ноября Эфрона переводят в психиатрическое отделение больницы Бутырской тюрьмы «по поводу острого реактивного галлюциноза и попытки самоубийства». В истории болезни записано: «ему кажется, что его жена умерла, что он слышал стихотворение, известное только ему и его жене. Тревожен, мысли о самоубийстве, подавлен, ощущает чувство невероятного страха и ожидания чего-то ужасного…»

«Пора-пора-пора творцу вернуть билет»

Марина проходила свои круги ада. И были ли у Сергея галлюцинации, или послание из других источников информации посетило его сознание — не известно. Ведь она кричала ему, упрямо сжав губы, сквозь враждебное, злобными ветрами вымороженное пространство:

Чем с другим каким к венцу, так с тобою к стеночке,
Что за тебя в Хвалынь! В Нарым! В огонь!..
Что нет тебе второго в мире всем!..

Написано это было тогда, когда Сергей — Доброволец, брал свой Перекоп. Написано «радугой небесной» — на века. А слова про колечко с его именем, что донеслись до Лефортова, родились только что. Она стояла в московской чужой комнате перед голым темным окном, выходящим в глухую стену противоположного дома. И старалась стихами заглушить звенящие фальшью радиоголоса, доносящиеся из соседской комнаты: «Это в три раза больше, чем в прошлом году!.. Трудовыми успехами встречают праздник Октября трудящиеся Закарпатья».

Чем с другим каким к венцу, так с тобою к стеночке,
Что за тебя в Хвалынь! В Нарым! В огонь!

Но деревенский дом, что видел Сергей, уже стоял не один десяток лет в городишке Елабуга. Ждал. И река текла, и ситчик выгорал на окне, и табуретка, плохо подбитая хозяином, покачивалась. Даже веревка валялась уже среди прочего хлама. Но, как актеры из разных трупп, они пока не собрались вместе, чтобы сыграть последний, главный свой спектакль.

После ареста Сергея Яковлевича у Цветаевой остался только Мур, совершенно потрясенный происшедшим. Цветаева приобщилась к опыту миллионов советских женщин — стоянию в огромных тюремных очередях в окошки, где давали справки о заключенных и принимали передачи. В морозных ранних электричках, с сумками Марина Ивановна спешила в тюремную очередь. Дремала у замерзшего окна, леденея изнутри все больше, и лишь мертвой хваткой держалась за один, данный себе приказ: Доехать!

Бубнила, засыпая:
Пора снимать янтарь,

Пора менять словарь,
Пора гасить фонарь
Наддверный…

Она теперь часто думала стихами, цеплялась за них, чужие, свои, юношеские или еще не сочиненные. Стихи — поддержка, посох. Главное — доехать!

В сущности, процедура передачи определяла все: если приняли — человек жив! Не приняли — вычеркнут. Аля и Сергей Яковлевич содержались в разных тюрьмах, «окошки» для них работали в разных местах и в разные дни, и стоять в очередях приходилось часто и невыносимо долго. «Рулетка» затянувшегося ожидания «да» — «нет» убивала внутри все живое. Марина чувствовала, как натянутая струна воли, державшая все ее существо, становилась все слабее. Сгибалась «стальная выправка хребта»…

Она жила ради этих ниточек связи с родными, ради Мура, которого надо было кормить, одевать, учить. Большой, с виду крепкий мальчик, чрезвычайно одаренный от природы, на скудном питании быстро исхудал и начал болеть. Сбивал с ног ненавистный Марине быт. Исхитрившись, быт захватил границы литературы. В него вошли и пригретые властью литераторы, составлявшие потенциальных «кормильцев» отверженных. С наслаждением начальственные «инженеры человеческих душ» давали понять просительнице Цветаевой ее место — место изгоя и чуждого элемента. Коварно заманивали возможностью публикации и лихо уничтожали уже подготовленную Мариной со святым старанием книгу. Она и сама многого не понимала. Как составить сборник? Что пройдет *теперь, здесь,* а что лучше и не показывать? Не понимала элементарного — разве такая поэзия нужна была стране Советов? И все же в Москве нашлись люди, для которых Цветаева была Поэт. Цветаеву помнили, читали наизусть, звали «почитать», знатоки хранили ее книги, ею восхищались, ее обогревали, опекали (к примеру, написавшая впоследствии прекрасную книгу о Цветаевой Мария Белкина с мужем Тарасенковым — в то время молодым литератураным критиком). Помогали найти угол, поддерживали дружбой, работой. Героически не отстранился от помощи опальной и лишь по-сестрински близкой ему теперь женщине Пастернак. Благодаря ему она получила заказы на переводы советских поэтов, дававшие возможность избежать голода. Она все еще сильна, выносliва и все еще хочет жить, а значит — любить! Жаждет испытать жар души — спастись им. Спасти поэзию. Но понимает — не

сработает привычный механизм — поздно.

— Пора! для *этого* огня —
— Стара!
— Любовь — старей меня!
— Пятидесяти январей
— Гора!
— Любовь — еще старей
……
Но боль, которая в груди, —
Старей любви, старей любви.

Мало-помалу жизнь брала измором, и Марина с ее физической выносливостью и стальным стержнем воли начинала сдавать. Ведь каждый день знать, что своего угла нет и погонят на улицу, а Мур такой болезненный. Ведь подбирать гнилую луковку на суп и высиживать очереди за копеечным гонораром… Ведь не знать, живы ли муж и дочь, а если да — то что с ними творится сейчас? — нелегко.

Родная, любимая Москва не приняла Цветаеву, ничего ей не дала, кроме горя, холода и унижений. Многие из высокопоставленных лиц, к которым она ходила вымаливать угол, высокомерно спрашивали Марину: что дает ей право претендовать на «жилплощадь» в Первопрестольной?

— Вы-то сами, Марина Ивановна, что такого дали Москве, чтобы претендовать? Жили по Парижам — и нате — явились!

Цветаева ответила только один раз — всем:

«Что «я-то сама» дала Москве? «Стихи о Москве» — «Москва, какой огромный Странноприимный дом…» — «У меня в Москве — купола горят…» — «Купола — вокруг, облака — вокруг…» — «Семь холмов — как семь колоколов…» — много еще! — не помню, и помнить — не мне. Но даже — не напиши я стихи о Москве — я имею право на нее в порядке русского поэта, в ней жившего и работавшего, книги которого в ее лучшей библиотеке. Я ведь не на одноименную мне станцию метро и не на памятную доску (на доме, который снесен) претендую — на письменный стол, под которым пол, над которым потолок и вокруг которого 4 стены. Итак, у меня два права на Москву: право Рождения и право Избрания. И в глубоком двойном смысле — я дала Москве то, что я в ней родилась».

Она написала это в заявлении в Союз писателей, а надо бы в передовицу «Правды», по всем радиостанциям Советского Союза, по всем звонницам с небесными голосами…

Скитания, унижения, новая ступень нищенства, положение

приблудной побирушки при Союзе писателей ломали Марину — она падала и падала со своего пьедестала. Разрушение Поэта (стихи ушли), разрушение личности — стержня ее царственной — от Света и Тьмы инакости. Держаться не за что. Место, которое занимали стихи, занял СТРАХ. Страх безличным анонимом подстерегал близорукую женщину в безумии незнакомого города. Она шарахалась от машин, лифтов, телефонов, перебегала с замиранием сердца улицы, скользила по лицам невидящим взглядом. Жизнь била Цветаеву упорно и беспощадно. Она устала, постарела, изменилась внешне. «Мама, ты похожа на страшную деревенскую старуху!» — негодовал Мур, а ей нравилось, что он назвал ее деревенской. От прежней Цветаевой оставались худоба, стремительная походка и серебряные запястья.

Нарастающий ужас усилило то, что и вообразить было трудно: фашисты наступают! Москву бомбят! Мур на крыше ловит фугаски!

Эвакуация писателей в Ташкент! Попасть с ними на пароход! Цветаева с Муром покидают Москву. Пороходик переполнен. Кого-то высаживают в городке Чистополь, где будет основная писательская база, кого-то — помельче — везут дальше. Какой ужас — эта абсолютная беспомощность и одиночество. Цветаева кидается ко всем с мольбой: «Не оставьте: жилье! работа! Не будет их, брошусь в Каму».

Ей пытаются помочь — но она уже потеряла ориентиры. Как ребенок, долго кружившийся на дворовой карусели и сброшенный в пыль. Он нетвердо держится на ногах, пытаясь остановить, поймать в фокус, несущийся мимо, расплывающийся, ускользающий мир.

Цветаева с некоторым трудом узнает знакомых людей, плохо понимает, о чем говорят, шарахается в разные стороны, меняя ежеминутно решения» Незрячие, остановившиеся, лишь страхом наполненные глаза смотрят в пространство. Она словно сосредоточена на чем-то своем, боится потерять важную мысль. Мысль — вернее — одержимость уже была: она видела открытую к спасению дверь и торопилась выскользнуть в нее.

Цветаеву с сыном поселяют в пыльном прибрежном городке Елабуга. Угол за перегородкой в избе. Но ужас не оставляет: где взять работу? Где найти школу для Мура? Ужас уже захватил ее целиком, и ничем помочь нельзя: все страшит, все превращается в пытку. Марина Ивановна мечется из последних сил: едет в Чистополь, где для нее добиваются места посудомойки в писательской столовой, которая неизвестно когда еще будет открыта! Есть за что уцепиться. Доброжелатели обещают приютить ее в Чистополе, Мура берутся пристроить в школу.

Вроде, поняла, благодарила. Обещала незамедлительно вернуться. Смотрела странно, ушла внезапно, не попрощавшись.

Какие-то женщины видели на палубе пароходика, идущего в Елабугу, старуху с исплаканным одеревеневшим лицом — она пыталась продать клубочки яркой шерсти.

Колесный пароходик на мутно-глинистой Каме, заплеванная палуба, мешочники, блеющие бараны. Высокий красивый блондин в белом костюме и безукоризненных туфлях похож на ряженого опереточного графа. Чуть поодаль невысокая женщина торгует шерстью. Клубки рассыпаются по палубе. Кинувшись на колени, она старается поймать моточки, догоняя их на четвереньках. Нелепая, испуганная — не упали бы за борт! Ей помогают. Парень в белом отошел к парапету, словно его это не касается, повернулся спиной. А потом небрежно, нехотя, взял у женщины лепешку с сыром, которую она выменяла на шерсть. В углу за мотками канатов ел жадно — всегда был голоден, а она смотрела. Как смотрела? Он решил, что когда станет великим писателем, непременно опишет это КАК. В нем не одна жизнь. В нем жизни всех их — Мейнов, Цветаевых, Эфронов, все грандиозное, невероятно-нелепое прошлое, неописуемый кошмар настоящего, — все, что человек может, должен свершить. Что было и что скоро случится. Может, открытая рана материнского сердца лучше, чем льдисто-зеленоватые глаза Марины, смотрящие, как ест самое любимое существо в мире, видела сейчас тень того весеннего дня 1944 года, когда ее сын, ее Георгий — солдат Красной армии — будет убит в сражении за русскую деревеньку? А с ним уйдет трагическая, никогда уже не написанная повесть душевного вызревания в муках сиротства исключительно одаренного, так рано «отозванного» от земных свершений юноши?

31 августа в воскресенье, когда все ушли из дома, Марина Ивановна повесилась в сенях елабужского дома. Давно шутила: «Хожу, везде примериваюсь». Мысль о самоубийстве казалась ей уродливой. Исчезнуть, не быть — так надлежит покидать мир человеку. А тут сразу — без примерки. Всерьез.

И записки на столе: Асеевым в Чистополь, чтобы взяли к себе Мура. «Я для него больше ничего не могу и только его гублю… у меня в сумке 450 р. В сундучке несколько рукописных книжек стихов и пачка с оттисками прозы. Поручаю их Вам. Берегите моего дорогого Мура, он очень хрупкого здоровья. Любите как сына — заслуживает. А меня — простите. Не вынесла».

«Мурлыга, прости меня, но дальше было бы хуже. Я тяжело больна, это уже не я. Люблю тебя безумно. Пойми, что я больше не могла жить… передай папе и Але, что любила их до последней

минуты и объясни, что попала в тупик».

Сюда можно присовокупить и слова, написанные Мариной немного раньше:

> «Меня жизнь за этот год — добила. Исхода не вижу. Взываю к помощи.
>
> Прощанье, наверно, самое прекрасное и самое грустное чувство. Потому что вмещает всю любовь сразу — и которая есть, и которая могла бы быть, но никогда не случится».

Хоронили Цветаеву 2 сентября на средства горисполкома. Могилы ее не существует. Есть камень с эпитафией, которую она себе придумала: «Здесь хотела бы лежать Марина Цветаева».

«Твое лицо, твое тепло, твое плечо — куда ушло?»

Эфрон еле держится, но допросы продолжаются. На каждом из них он снова и снова повторяет, что был секретным сотрудником НКВД и ни с какой иностранной разведкой не связан. Удивительная твердость в отстаивании своей правды. Перед кем, вынося мучения, «сохранял лицо» это убиваемый, замученный человек? Перед следователем — недочеловеком? Смутный феномен. Но Эфрон с невероятной стойкостью выдерживает принципы личной чести, не отступая от нее, превозмогая сердечную болезнь, галлюцинации, психическую подавленность, пытки — и даже страх за близких.

Он почти прозрачен, только глаз — страшный глаз в покрасневших веках (второй заплыл от удара), светился на исхудалом лице. Побелевшие волосы, мерцавшие серебром, слипались от крови. Тонкая шея не могла держать крупную голову, когда он терял сознание после очередного удара — свисала голова, выставляя острый кадык. Казалось — еще немного и оторвется, покатится по цементному полу.

Вода из ведра — в глазах появляются проблески сознания. Эфрон, утирая рваным рукавом с губ кровавую пену, не поднимая век:

— Повторяю сотый раз с иностранной разведкой не был связан…

— Смотреть в глаза! Говорить правду! — злобный окрик, тычок в челюсть, луч ослепительного света в лицо, окрик: — Кто помогал вам? Имена!!!

Допрашиваемый тряхнул головой, выпрямился, поднял лицо. Сквозь слепящий поток, заливший его лицо, на мучителя смотрел

глаз. Смотрел долго, не мигая в непереносимом свете, не шевелясь, не пытаясь опустить веки.

Следователь дернулся, отвел взгляд от страшного лица заключенного, хотел уже крикнуть, чтобы уволокли немедля этот окончательно свихнувшийся полутруп. Но тот разлепил губы. Присвистывая сквозь темные прорехи выбитых зубов, проговорил четко, медленно, прямо в лицо утаенного темнотой монстра:

— Я говорю правду. Я могу ошибиться в ответе, потому что память мне может изменить, но сознательной неправды я не говорил и говорить не буду.

Следствие продолжалось девять месяцев. 2 июня 1940 года Сергею Яковлевичу Эфрону предъявили протокол об окончании следствия. Приговор для всех был одинаков: «Подвергнуть высшей мере наказания — расстрелу, с конфискацией всего лично им принадлежащего имущества».

16 октября 1941 года — день страшной московской паники. Немецкие войска стояли уже в пригородах, городские власти практически бросили Москву на произвол судьбы. Правительство по совету Матроны Московской спряталось в бункере глубоко под землей. По пустым улицам летали секретные бумаги из покинутых учреждений, хлопали распахнутые окна брошенных домов, мародеры громили магазины и сберегательные кассы.

НКВД продолжал работу. Именно в этот день в Бутырскую тюрьму поступило распоряжение: «Выдайте коменданту НКВД СССР осужденных к расстрелу ниже поименованных лиц:

1. Андреев-Эфрон Сергей Яковлевич…» и список — еще 135 фамилий.

Их вывели во двор всех сразу — времени на церемонии не было. Совсем рядом свистели и рвались снаряды. Не один из смертников, наверно, подумал о том, как упростил бы дело один шальной снаряд, залетевший сюда.

Стояли в четыре ряда вдоль кирпичной стены, исшарканной выбоинами от пуль.

Эфрон в предпоследнем. Ему полагалось быть застреленным во вторую очередь, когда упадут, расчищая путь пулям, первые ряды. А значит, пережить три «Пли!».

Первый залп грохнул, гремящим эхом облетел дворик. Отозвался и затих. Второго не было, не было и третьего, и четвертого. В прозрачной тишине Сергей слышал трижды повторенное Мариной: «Сергей! Сергей! Сергей!!!»

* * *

Он поднял голову к небу и всем своим существом, потянулся к нему. Сухим листком, подхваченным ветром, взмыл над мотками проволоки, уходившими все ниже, над очертаниями стен, словно влипавшими в землю. То, что осталось внизу — больше не мешало. Перед ним открывалось необъятное белое пространство неба. Оно состояло из сплошною мельтешения частичек светящейся белизны — корпускул света, снежинок? Нет, метель цветов акации — наверно, из Феодосии и порывы новогоднего коктебельскою бурана? Сергей поднимался асе выше, становясь невесомым, освобожденным от боли, страха, вины… Остался внизу дворик, здание тюрьмы, похожей отсюда на макет вместе с улочками, домами, метелками голых деревьев. Тишина… Невиданная белизна и неслыханная тишина окутывали его. Что-то вспыхивало внизу, домик у набережной стал распадаться и оседать целыми кирпичными стенами. Рвались снаряды, а самолетов с черным крестом нигде не было. Сергей узнал свой дом в Борисоглебском — стоял целехонький. И Музей цветаевский, окутанный пегой маскировочной сетью тоже. Ладонь Сергея, протянутую в полете, подхватила знакомая рука:

— А, батюшка вы мой! Вот так встреча… — Иван Владимирович Цветаев в шитом золотом белом, летучем мундире помог Сергею набрать высоту. — Оказия вышла. Вас не убили. Просто остановилось сердце. Оно и так проработало лишних 45 дней. Что поделаешь, везде неполадки со сроками. Я-то как торопился с открытием музея! Неуч деревенский! Времени-то оказывается — нет! Часы есть, а ВРЕМЕНИ — нет! Вот какое дело, милостивый государь! Зато всяческого иного, чего и помыслить не могли — не перечесть. Ну, начать с тою, что и пространства нет… — Иван Владимирович опасливо глянул на Сергея. Сразив его этим сообщением. — Только вы уж извольте не принимать близко к сердцу… Пардон, к душе.

— Где же тогда Марина? Она попала сюда раньше?

— Бросьте, Сергей Яковлевич: «Раньше, позже» — какое это имеет теперь значение.

— Верно… Как верно! Имеет значения только любовь.

— А с этим тут все в полном порядке: и семья моя, и ваша, и Мариночка — все на месте. Были с ней трудности, она во всем призналась, подписала данные о содействии с неким Мышастым… Покаялась в гордыне своей, непомерном сластолюбии, злоупотреблении поэтической похотью… Все на себя взяла… Но ведь и за нее как стояли! Константин Бальмонт очень сердечно выступил в защите…

— Что? Суд?.. Простите, я лучше вернусь, — Сергей схватился за грудь. — Сердце! Я падаю… — Да не торопитесь вы! Вечно

торопитесь! Во-первых — у вас уже нет сердца, во-вторых — здесь все понарошку — театр теней. А главное — у вас общий приговор! ВЕЧНАЯ! Вечная любовь… И без всякой там «Инакости»! Вот еще выдумали: все люди как люди, а эти — избранные…

— Простите, Иван Владимирович… — Сергей обхватил руками кружащуюся голову. — Не понимаю!

— И до меня не сразу дошло! То, видите ли, Мариночке «Дар в колыбель», то «Поэт», а то бух: «обычный человек!» Жестко решили, на мой взгляд. Но Марина, да и вы, батюшка мой, столько, извините уж, понаворотили!..

Шею Сергея обвила нежная рука, блеснуло пенсне и розовая щека:

— Сереженька! Да пусть их приговаривают! Мы же вместе, вместе направлены в исправительную ситуацию. А значит, все начинается сначала!

Они скользнули сквозь белое мельтешение, омывающее тело — каждое перышко отдельно.

«Напоминаем! Исправительная ситуация вступила в силу!» — Раздалось со всех сторон с явной на — сметкой, как цирковое объявление «смертельного номера» на детском представлении.

— Вот и отлично, что вступило! — Марина заглянула в его глаза. — А сейчас я буду безумно, совершенно безумно в тебя влюбляться… — И она распушила белоснежные перья.

…По жестяному подоконнику кабинета в Борисоглебском, ходили два сизаря. Ерошили перья, гулили, гордо переступали красными лапками, а потом начали толкаться у горсти крошек, брошенных из окна детской рукой.

— Марина! — окликнул он, раздувая призывно крылья. — Кушать подано!

— Это черные ржаные сухари. Мои любимые! — рубиновая бусина глаза заметила крошку, клюв метко долбанул в лакомство.

— Аля! Закрой окно, просквозит! — раздалось в глубине комнаты.

— Я голубей кормлю. Тех самых, наших любимых — сизого и беленькою со шнурочком на шее. А на нем — бусина, ее в перьях не видно. Это главный голубь — волшебный. Они точно жених и невеста. Напиши про них стихотворение, Марина!

— Лучше уж ты сама. Иди за стол — отец ждет…

Окно закрылось, пробежав солнечным зайчикам по голубиной паре. И в этот момент исчезло все, что помнилось, а лица и имена сгладились в сплошной синеве весеннею дня…

P.S.

Эфрон пережил Цветаеву на 45 дней. В годы массовых реабилитаций Сергей Яковлевич Эфрон и Ариадна Сергеевна

Эфрон были реабилитированы «за отсутствием состава преступления». Но Цветаева об этом никогда не узнала.

Основные даты жизни и творчества Марины Цветаевой

1892, *8 октября* (26 *сентября ст. ст.)* — В доме профессора Ивана Владимировича Цветаева и его жены Марии Александровны (урожденной Мейн) родилась дочь Марина.

1894 — Рождение сестры Анастасии.

До 1902 — Жизнь между Москвой и Тарусой на Оке.

1902 — В связи с болезнью матери жизнь за границей: Италия, Швейцария, Германия.

1905 — Возвращение в Россию. Крым.

Первая русская революция. Революционные стихи (не сохранились).

1906 — Переезд семьи в Тарусу. Смерть М.А. Цветаевой. Москва.

1907–1910 — Марина сменила три гимназии и совсем оставила учебу после 7-го класса.

1910 — Выход сборника стихов «Вечерний альбом».

1911 — Первое лето в Коктебеле у Волошиных. Встреча с Сергеем Эфроном.

1912, *27 января (ст. ст.)* — Венчание с С.Я. Эфроном. Выход сборника «Волшебный фонарь».

31 мая (ст. ст., 13 июня — н. ст.) — Торжественное открытие Музея изящных искусств им. Императора Александра III — дела жизни И. В. Цветаева.

5 *сентября (ст. ст.*) — Рождение дочери Ариадны (Али).

1913 — Выход сборника «Из двух книг». Смерть И.В. Цветаева.

1913–1915 — «Юношеские стихи» (сборник опубликован в 1976 г.).

1914 — Начало Первой мировой войны.

1916 — Поездка в Петербург. Знакомство с литературным Петербургом.

1917 — С. Эфрон мобилизован.

27 февраля (ст. ст.) — Государственный переворот в Петрограде.

2 марта (ст. ст.) — Отречение императора Николая П от престола.

13 апреля (ст. ст.) — Рождение у Цветаевой дочери Ирины.

25 *октября (ст. ст.)* — Захват большевиками власти в Петрограде. Прапорщик Сергей Эфрон принимает участие в уличных боях и защите Кремля в Москве.

После победы большевиков С. Эфрон уезжает в Крым.

1918 — С. Эфрон вступает в Добровольческую армию.

Знакомство Цветаевой со Студией Евгения Вахтангова. «Театральный роман».

1918–1919 — Романтические драмы: «Червоный Валет», «Метель», «Приключение», «Фортуна», «Каменный Ангел», «Феникс».

1920, 2 *или 3 февраля* — Смерть в приюте младшей дочери Ирины.

Стихи Цветаевой напечатаны в первом номере парижского журнала «Современные записки», сотрудничество с которым продолжалось до 1938 г.

1917–1920 — «Лебединый Стан» (сборник издан в 1957 г.).

1921 — С. Эфрон жив: первое письмо от него из эмиграции.

Смерть А. Блока, расстрел Н. Гумилева, слухи о самоубийстве Анны Ахматовой.

Выход сборника «Версты» (стихи 1917–1920 гг.).

1922, *11 мая* — Отъезд из Советской России.

Встреча в Берлине с С. Эфроном после более чем четырехлетней разлуки.

Начало эпистолярного романа с Борисом Пастернаком.

В Москве выходят книги М. Цветаевой: «Конец Казановы», «Версты. Выпуск I», «Версты» (стихи 1917–1920 гг.), 2-е изд.; «Царь-Девица».

В Берлине выходят книги М. Цветаевой: «Разлука», «Стихи к Блоку», «Царь-Девица».

1 августа — Переезд в Чехословакию.

Начало сотрудничества в журнале «Воля России».

1923 — В Берлине выходят сборники «Психея» и «Ремесло».

Роман и разрыв с Константином Родзиевичем. «Поэма Горы».

1924 — «Поэма Конца».

В Праге выходит поэма-сказка «Молодец».

Работа в редколлегии сборника «Ковчег».

1925, *1 февраля* — Рождение сына Георгия (Мура).

Лирическая сатира «Крысолов».

1 ноября — Переезд в Париж.

1926, *6 февраля* — Первое выступлением. Цветаевой в Париже.

Сближение с евразийцами. Эфрон входит в редколлегию сборника «Версты».

Цветаева сотрудничает в сборниках «Версты» и «Благонамеренный».

Весна и лето в Сен-Жиль-сюр-Ви. Переписка с Б. Пастернаком и Р.М. Рильке.

Смерть Р.М. Рильке.

1927 — Стихи и проза, обращенные к Р.М. Рильке: «Новогоднее», «Твоя смерть», «Поэма Воздуха».

Трагедия «Федра».

Визит в Париж Анастасии Цветаевой — последняя встреча сестер.

Подготовка сборника «После России».

1928 — Лето в Понтайяке в кругу евразийцев.

С.Я. Эфрон — один из редакторов еженедельника «Евразия».

Поэма «Красный бычок».

Выход в Париже «После России» — последней прижизненной книги М. Цветаевой.

1929 — Знакомство схудожницей Н.С. Гончаровой. Эссе «Наталья Гончарова. Жизнь и творчество».

Поэма «Перекоп» (опубликована в 1957 г.).

Начало работы над Поэмой о Царской Семье.

Раскол в евразийском движении. Закрытие газеты «Евразия».

1930 — Самоубийство В. Маяковского. Стихи «Маяковскому».

Перевод на французский язык поэмы-сказки «Мблодец».

1931 — Эссе «История одного посвящения» (опубликовано в 1964 г.).

«Стихи к Пушкину» (частично опубликованы в 1937 г.).

1932 — Литературно-философские эссе: «Поэт и Время», «Искусство при свете Совести», «Эпос и лирика современной России. Владимир Маяковский и Борис Пастернак».

Смерть М. Волошина в Коктебеле. Стихотворение «Ici-Haut (Памяти Максимилиана Волошина)».

«Стихи к сыну», «Тоска по Родине! Давно…».

С.Я. Эфрон подает прошение о получении советского паспорта.

1933 — Автобиографическая проза: «Дом у Старого Пимена», «Музей Александра Третьего» «Открытие Музея» и другие эссе: «Живое о живом (Волошин)», «Поэты с историей и поэты без истории» (опубликовано в сербском журнале «Русский архив»).

1934 — Смерть Андрея Белого. Эссе «Пленный дух (Моя встреча с Андреем Белым)».

С.Я. Эфрон работает в Союзе возвращения на родину.

1935 — Конгресс писателей в защиту мира в Париже. Встреча с Б. Пастернаком.

Обострение отношений в семье: все, кроме Цветаевой, стремятся вернуться в Советский Союз.

1936 — Перевод на французский язык стихов А. Пушкина. Окончена Поэма о Царской Семье (сохранилась в отрывках).

«Стихи сироте».

Ариадна Эфрон сотрудничает в просоветском журнале «Наш Союз».

1937 — Окончены работы «Мой Пушкин» и «Пушкин и Пугачев».

15 марта — Отъезд Ариадны Эфрон в Советский Союз.

Известие о смерти в Москве С.Е. Голлидэй. «Повесть о Сонечке».

4 сентября — Убийство советского невозвращенца Игнатия Рейсса, одним из организаторов которого был С.Я. Эфрон. Эфрона допрашивает французская полиция.

Между 27 сентября и 29 октября — Бегство С.Я. Эфрона в Советский Союз.

Цветаеву допрашивает французская полиция.

1938 — Цветаева начинает готовиться к отъезду в Советский Союз: разбор архива, переписка рукописей, раздача домашней утвари.

Передача большой части архива М.Н. Лебедевой в Париже (пропал во время немецкой оккупации).

Передача части архива профессору Базельского университета Е.Э. Малер.

Мюнхенское соглашение о разделе Чехословакии. Начало работы над «Стихами к Чехии» (цикл «Сентябрь», опубликован отдельными стихотворениями в 1956,1961, 1965 гг.).

1939 — Оккупация Чехословакии войсками Гитлера. «Стихи к Чехии» (цикл «Март», опубликован по частям в 1956 и 1961 гг.).

12 июня — Отъезд с сыном из Парижа в Советский Союз.

18 июня — Приезд в Советский Союз. Жизнь с семьей в Болшеве под Москвой.

28 августа — Арест Ариадны Эфрон.

Перевод стихов М. Лермонтова на французский язык.

10 октября — Арест Сергея Яковлевича Эфрона.

Бегство из Болшева.

1940 — Хлопоты об арестованных муже и дочери. Стояние в тюремных очередях.

Работа над переводами поэм грузинского классика Важа Пшавелы (опубликованы в 1947 г.).

1941, *22 июня* — Начало войны между Советским Союзом и Германией.

8 августа — Отъезд с сыном в эвакуацию.

17 августа — Приезд в Елабугу на реке Каме.

31 августа — Самоубийство Цветаевой в Елабуге.

16 октября — Расстрел С.Я. Эфрона.

1944 — Гибель Георгия Эфрона на фронте.

1956 — Возвращение Ариадны Эфрон после лагерей и

ссылок.

notes

Примечания

1

В некоторых источниках Родзевич *(ред.)*